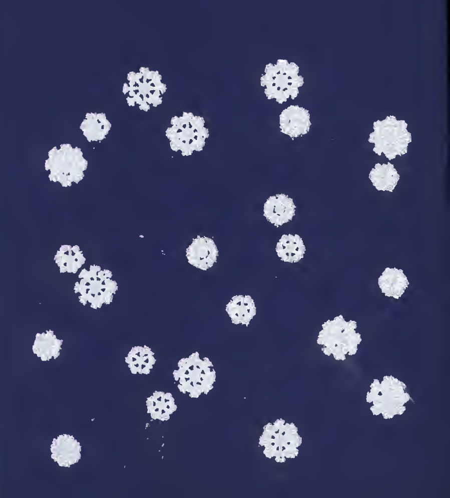
ЮРИЙ АВДЕЕНКО

СКОЛЬКО ЗИМ...



ЮРИЙ АВДЕЕНКО

СКОЛЬКО ЗИМ...

Повести

МОСКВА, «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ», 1975

Р2
А18

Юрий Авдеенко — автор пяти книг прозы. «Молодая гвардия» в 1972 году выпустила в свет его роман «Этот маленький город», посвященный героической обороне Туапсе в 1942 году. Читательский интерес, внимание литературной критики вызвал и второй роман Юрия Авдеенко «Дикий хмель» (1974 г.), рассказывающий о рабочем коллективе одной из обувных фабрик Москвы. Судьбы героев новой книги Ю. Авдеенко связаны с Северным Кавказом. В центре повестей «Последняя засада» и «Полковник из контрразведки» — образы людей, боровшихся с кулацкой бандой в начале тридцатых годов и с фашистской агентурой во время Великой Отечественной войны. Тема войны, воспоминания о партизанских годах звучат в третьей повести сборника — «Сколько зим...».

А $\frac{70302—167}{078(02)—75}$ 232—75

ПОСЛЕДНЯЯ ЗАСАДА







Земля лежала под инеем, тонким и чуточку сизым от хмурого рассветного неба, нависшего над горами. Дорога белесой лентой разматывалась вдоль склона, по которому вниз, к оврагу, сбегали каштаны с широкими безлистыми кронами, тоже прихваченные инеем, но не такие светлые, как дорога.

Впереди на взгорке маячило подворье. И дым валил из трубы, пригибаемый ветром к длинной, одетой в железо крыше.

Четверо бойцов красного кавалерийского эскадрона — Иван Поддувайло, Семен Лобачев, Борис Кнут, Иван Беспризорный — ехали на лошадях и вели негромкий разговор.

— Это тот дом, — сказал Поддувайло. Он был старшим группы. — Здесь окрест километров на пятнадцать другого жилья нету. Нужно заслонить егерю путь к югу. Пужнуть его выстрелом в случае чего...

— Верно, — согласился Кнут. — Если он смоется в заповедник, тогда амбец. Тогда можно разматывать портянки и сушить их на солнышке.

— Почему? — пробурчал Лобачев.

— Потому, что Северокавказский заповедник он знает лучше, чем ты свои грабли.

— Некультурное сравнение, — вмешался Беспризорный. — Огрубел ты, Борис. Можно сказать, знает лучше, чем ты свои пять пальцев.

— Это тебе для стихотворений культурные сравнения нужны. А жизнь на них плевать хотела. Она со всякими дружит — и с культурными и с бескультурными.

— Прекратите чепуху молоть, — строго сказал Поддувайло. — Слухайте приказание. Красноармейцы Лобачев и Кнут, ступайте в овраг и как можно швыдче выходите вон к тому карьеру. Ясно? Мы с Беспризорным пойдем прямо в хату...

— Опасно, — заметил Лобачев.

— Все равно вражину брать нужно. Прикрывайте.

Борис Кнут и Семен Лобачев слезли с лошадей.

Было раннее-раннее утро. Дул резкий ветер. Тучи, лохматые и седые, лениво надкусывали горы. И горы стояли без вершин, словно люди без шапок. И тишина была белой и немного сладкой от запаха прелых листьев.

Опустив морду, лошади с большой осторожностью ступали по скользким листьям, под которыми дремал овраг. И голые прутья кустарников мокро хлестали их по ногам и по крупам.

— Как ты думаешь, Семен, — спросил Боря Кнут, — у этого старого паршивца самогон есть?

— Заботы у тебя несерьезные, — ответил Лобачев укоризненно.

Боря Кнут не смутился. И не без хвастовства заявил:

— Я и сам несерьезный. Таким меня папа с мамой сладили.

— Среди людей живешь.

— Люди разные встречаются... Человек, он, понимаешь, Семен, как арбуз. Его же насквозь не видно. Это только в бутылке все ясно и прозрачно.

— Болтун ты, Борис... Уж лучше что-нибудь про любовь бы рассказал, про женское сердце...

— У кого что болит, тот про то и говорит, — усмехнулся Боря Кнут. — Относительно Марии сомневаешься. А ты плюнь на сомнения. К сердцу прислушайся. Там и ответ найдешь. Тем более не спец я по женской части. Женщины любят красивых и серьезных.

Овраг круто уходил вверх. Узкие камни лежали один на другом долгими желтыми пластами.

— Нам здесь не выбраться с лошадьми, — сказал Боря Кнут. — Лошадей привяжем в овраге. Им тут спокойней будет и безопасней. Вдруг тот псих стрелять начнет. Он птица непростая. Связным в банде Козякова был...

Семен Лобачев вздохнул:

— Места, конечно, необжитые. И даже жуткие.

— В том-то и заковырка. Как сказал бы Поддувайло: «Я тебе бачу, а ты мене ни». Может, старый черт нас давно на мушке держит. И наши молодые жизни от его фантазии зависят.

...Привязав лошадей, они выбрались наверх и, пригнувшись, пошли прямиком к карьеру. Дом егеря Воронина был отсюда на расстоянии полусотни метров. И они

хорошо видели, как Иван Беспризорный, вскинув винтовку, присел за забором, а Поддувайло поднялся на крыльцо. Он недолго стучал в дверь. И ему открыла женщина в ярком сине-красном переднике. Он что-то сказал ей, а потом они скрылись в доме. Вскоре в дом пошел Иван Беспризорный. Было впечатление, что Поддувайло позвал его, выглянув в окно.

Семен забеспокоился:

— Может, нечисто там. И помощь наша требуется.

— Не дети они. Знак дадут. Криком или выстрелом.

— Знака нет — все спокойно. Так я понимаю?

— Правильно понимаешь, Семен. Кажется, старый хрен без боя сдался. Или дурака валяет, овечкой прикидывается.

— Закурим?

— Не грех.

Они не успели закурить. Из дома егеря Воронина вышел Поддувайло. Позвал их.

— Взяли? — спросил Кнут.

Поддувайло покачал головой:

— Утек. Старуха, значит, жена евонная, бачила, что в ночь он подался. Собрал жратвы, ружье, патронташ...

— Да, — подтвердила старуха, — собрался как для большого обхода. Только сказал: не жди, а поспешай к дочке в Курганную.

Она произносила слова без страха, но как-то злобно, словно едва сдерживала себя.

— Складно очень говоришь, мать, — прищурился Боря Кнут. — Точно молитву читаешь. А я скажу: обыскать прежде дом следует. Все закоулки, погреба, кладовки проверить.

Лицо у старухи не дрогнуло и взгляд не потускнел. Она продолжала говорить быстро. И все так же — с ожесточением. Точно избавлялась от тяжести.

— Воля ваша. Господь свидетель, правду сказываю. И утруждать себя обыском вам не нужно. Сама покажу. Склад тута есть. С оружием и припасами. На банду мой хозяин работал, чтоб ему, царица небесная, пути не было. Помогите мне горку сдвинуть.

Горка с посудой стояла в первой большой комнате, которая могла считаться и прихожей, и гостиной, и столовой, и залой. Из этой комнаты вправо и влево вели по две двери. Таким образом, в доме имелось пять комнат.

В одной из них, где нежно пахло хорошими духами, Кнут увидел на смятой постели иностранную книгу. И очень удивился, хотя и не понял, на каком языке она написана.

— Чья? — спросил он. — Кто у вас в доме по-буржуазному читает?

— Анастасия.

— Родственница?

— Сам-то велел называть ее племянницей. Только мы в родстве с полковником Козяковым не состоим. Дочкой она ему доводится, — ответила старуха.

— Где же теперь прячется эта Анастасия?

— Ушла. — Хозяйка посмотрела на Борю так, что у него мурашки на спине выступили. Боря винтовку крепче сжал. Семену Лобачеву шепнул:

— Ты выдь, посиди возле дома. А то вдруг нас здесь как котят передавят. Сомневаюсь, что старый черт далеко смылся.

А в это время Поддувайло и Беспризорный возились с горкой. Она была вделана в пол. Закреплена, видимо, на винтах. И хотя трещала, но не двигалась.

— Под горкой лаз в погреб, — словно шипя, говорила старуха. — Он меня выгонял, как собаку, ежели туда спускался. Ну да окна в доме есть.

— Секрет тут какой-то, — сказал Беспризорный.

— Полки пробуйте. В полках хитрость, — подсказала хозяйка.

Тогда Поддувайло обратил внимание, что ребро левой полки, второй снизу, залапано и что на полке ничего не стоит. Он двинул полку ладонью, и весь левый нижний отсек пополз в стену. Из черной пасти погреба дохнуло сыростью.

Старуха зажгла керосиновую лампу. Подала ее Ивану Поддувайло, который уже стоял на лестнице, спустившись в погреб больше чем наполовину. Пламя, изогнувшись, лизало стекло, и копоть убегала вверх длинной, расширяющейся книзу дорожкой.

Иван принял лампу. Держа ее над головой, спустился в погреб.

Вначале он молчал. Наверно, осматривался. Потом громко сказал:

— Хлопцы! Под нами целое богатство.

Боря Кнут крикнул:

— Иван, я к тебе!

Через несколько секунд он стоял рядом с Поддувайло в низком, но широком и длинном погребе. И считал вслух:

— Три пулемета. Винтовок... Раз, два... Семнадцать, восемнадцать... Двадцать четыре винтовки. А это, конечно, гранаты. И в ящиках гранаты.

— В ящиках патроны, — ответил Поддувайло, который успел сорвать крышку с одного ящика. Патроны лежали по пятнадцати штук в небольших коробках из промасленного картона. Поддувайло разорвал коробку, и патроны заблестели у него на ладони.

— Девять ящиков — это много, — сказал Боря Кнут. — Это тебе не хулиганство. А настоящая контра... Я вот одного, Иван, не пойму. Ведь сейчас не восемнадцатый год и не двадцатый... Тридцать третий, можно сказать, свое оттопал. И вдруг саботаж. И бандиты, как грибы после дождя, повылазили. Ты, Иван, коммунист. Ты и сведи мне концы с концами...

Поддувайло нахмурился, крякнул, бросил патроны в ящик. Сказал Кнуту:

— Подойди поближе. Глянь, на каком языке написано. А эти гарные винтовки? Что их, на Кубани или в России сработали? Догадываешься, как они сюда попали?

— Ясно.

— То-то и оно...

И Поддувайло показал рукой на темную, обшитую дубом стену. Затем, повернувшись лицом к Борису, продолжал:

— Зерно в этом. Но брось ты зерно на каменный шлях, и оно погибнет. А урони в огороде — оно поросль даст. Вот Кубань и оказалась огородом. Кулачья здесь было — хоть пруд пруди. И пришлась им коллективизация ножом к горлу! Конечно, шпионы разные воспользовались... А народ бандитов не поддержал. Вот они и лютуют...

Поддувайло резко повернулся и зашагал к лестнице. Сказал:

— Возьми лампу.

...Минут десять они держали военный совет. Обсуждали создавшуюся ситуацию, которая не была предусмотрена приказом. Стало ясно, что приказ был отдан наспех, когда кавалерийский эскадрон вышел на преследование банды Козякова. Командир взвода, уже сидя в седле, по-

дозвал к себе Поддувайло и велел взять трех бойцов и отправиться за несколько десятков километров, чтобы задержать егеря Воронина. О том, что егеря может не быть дома, никто не подумал. Обнаруженный склад боеприпасов и оружия еще больше усложнил ситуацию. На четырех лошадях они никак не могли увезти все. С другой стороны, вполне можно было предположить, что бандиты очень рассчитывают на склад. И придут сюда. Это может случиться и завтра и послезавтра... Но может случиться и сегодня, через час, через два. Или даже через несколько минут.

Было принято решение, показавшееся самым разумным. Лошадей укрыть в конюшне егеря. Семену Лобачеву отправиться в штаб эскадрона. Трое же — Иван Поддувайло, Борис Кнут, Иван Беспризорный — останутся в доме егеря — в засаде.

Семен Лобачев вскочил в седло...

Поддувайло и Кнут снимали смазку с «максима», который они вытащили из погреба. Иван Беспризорный, наблюдатель, сидел у окна.

Старуха сказала:

— Сынки, я вам картошки наварю. И мука у меня есть. Оладьи пожарить можно.

— Спасибо, товарищ мамаша, — ответил Поддувайло и поинтересовался: — Скажите, как вас зовут?

— Матрена Степановна.

— Спасибо вам, Матрена Степановна. Мы про ваше хорошее участие командирам доложим.

Боря Кнут улыбнулся. Озорно спросил:

— Нескромный вопрос. Я понимаю. Но чего это вы на своего дражайшего муженька зуб имеете?

— А это уже наше между ним дело...

Матрена Степановна ушла к печи. Некоторое время никто ничего не говорил. И только было слышно, как позвякивали детали пулемета да гремела конфорками хозяйка.

Потом Кнут подмигнул Поддувайло, кивком головы указал на Беспризорного:

— Опять Иван стихи пишет.

Беспризорный положил карандаш на подоконник. Ответил:

— Первую строчку придумал. «Жестокое слово «засада»...»

— Верно, — согласился Кнут. — Слово такое, что кровью от него пахнет, как... Ищу культурное сравнение. Как из ствола порохом.

— Слово обыкновенное, — отозвался Иван Беспризорный. — Только очень старое. Придет время, и оно умрет.

— А разве слова умирают?

— Конечно. Только не так легко, как люди.

— А я не верю, — возразил Кнут. — Что их, чахотка поедает?

— Время хуже чахотки. Вот пример. Ямщик — мертвое слово. Потому что нет на Руси ямщиков. Последний, может, уже полвека в земле лежит.

— Значит, когда-нибудь и последняя засада будет?..

— Выходит, так.

Боря Кнут лицом посветлел, точно небо на рассвете:

— Братцы, кто знает: вдруг наша засада и есть самая последняя.

— Все может быть... Гадать не время, — ответил Беспризорный, всматриваясь в окно, и с тревогой добавил: — Лобачев вернулся.

Они услышали цокот копыт во дворе. А вот уже и Лобачев вбегает в комнату:

— Бандиты!

— Много?

— Десятка три. В километре от оврага. Двигаются в нашем направлении.

Поддувайло выпрямился. Руки ниже пояса. Пальцы в смазке.

— Лобачев, мигом прячь лошадей в конюшню. Пулемет на чердак. Занимаем круговую оборону. Кнут — север. Беспризорный — восток. Лобачев — юг. Они двигаются с запада. Я встречу их пулеметом. Раньше меня никто огонь не открывает. Подойдут близко, встречайте гранатами. К бою, товарищи! Кнут, помоги мне втащить пулемет.

Возможно, осторожность и не родная сестра победы. Но все равно они в близком родстве. И это понимают бандиты. И без нужды не рискуют.

Они сосредоточились в овраге. Вперед выслали только одного. И он не шел, а трусил мелко, как побитая собака, точно чувствовал, что всадят ему сегодня промеж костей несколько граммов свинца. И жизнь кончится, и страх

тоже... Он был совсем молодой. Может, шестнадцати лет, может, семнадцати... Чей-то кулацкий сынок... И вот он двигался к дому егеря Воропина с обрезом наперевес. И, конечно, очень боялся. Он не упал, а плюхнулся па землю, когда раскрылась дверь и вышла Матрена Степановна. А потом, увидев старую женщину, он сообразил, что ему, казаку, не к лицу лежать перед ней на пузе, поднялся, подтянул штаны и крикнул:

— Тетка! Хозяин дома?

— Шоб тебя, проклятый, лешак побрал вместе с моим хозяином.

Парень осмелел:

— Тетка! А ты одна?

— Отвяжись, окаянный... Нешто в мои годы полюбовников приваживать?

— Эй! — закричал парень, повернувшись лицом к оврагу, и замахал над головой рукой.

Из оврага стали выбираться бандиты, и конные и пешие. Гурьбой, наперегонки устремились к дому, силясь опередить друг друга, чтобы разжиться жратвой.

Иван Поддувайло очень удивился этому. Он не знал, что кавалерийский эскадрон жестоко потрепал бандитов. И преследует их буквально по пятам, что полковник Козяков уже несколько часов лежит мертвый и что бандиты очень торопятся...

Очередь вышла смачной. Бандиты падали, как в кино. Извивались, корчились, раскрывали рты в крике... Здорово! Ой как здорово! Еще десяток секунд, и все будет кончено. Им же, гадам, некуда деться. Они как оглашенные бегут к оврагу. Да только не успеют. Не успеют!..

И вдруг — тишина. Нет. Внизу стонали, и кричали, и топали. Но Иван ничего не слышал. Пулемет молчал. Заело ленту. Или что-то стряслось в механизме подачи... Иван стал на корточки. Откинул крышку затвора...

Его увидели из оврага и убили.

И если бы они тотчас вновь бросились в атаку, дом пал бы.

Но бандиты не бросились. Они не знали, сколько людей засело в доме. И потому повели себя так, как вели осаждающие во все времена. Они окружили дом. И только потом поняли, что количество защитников невелико.

Но бандиты очень торопились. Они даже кричали:

— Эй вы! Большевики! Отдайте нам три ящика патронов. И мы уйдем...

Боря Кнут ответил на это предложение крепким словом.

Беспризорный стрелял редко. Он видел, как выглянуло солнце, как схлынули тучи, обнажив золотистые вершины гор. И подумал, что еще очень рано, наверное, часов восемь утра. Он бросил гранату, когда увидел группу бегущих на него небритых людей. И еще он бросил вторую гранату. А третью не успел... В последнюю секунду он не думал о стихах. Но лицо выстрелившего в него бородатого человека показалось Ивану похожим на веник. Такой узкой была голова, а борода, наоборот, расходилась веером.

Частил Семен Лобачев. Попадал редко. Но двое уже лежали возле конюшни. Неподвижно лежали. А остальные не смели подойти. Стреляли редко. Берегли, сволочи, патроны. Ему показалась подозрительной тишина. И он распахнул дверь в большую комнату. Увидел лежащего на спине Борю Кнута и кровь, вытекающую из него. Он шагнул к товарищу... Пуля встретила Семена Лобачева.

А бандиты уже бежали прочь, бежали сломя голову. К дому егеря выходили цепи кавалерийского эскадрона...

Матрена Степановна спустилась с чердака, обошла комнаты. Перекрестилась. Но вдруг увидела живое лицо лежащего на спине Бориса Кнута. Красноармеец пошевелил губами и тихо сказал:

— Мать...

Она решила, что он просит пить. Принесла ему ковш воды. Он припал губами к холодным краям. И вода текла по подбородку на гимнастерку и смешивалась с кровью. Отстранив ковш, Боря Кнут сказал:

— Мать, у тебя нет, мать, самогончику? Хоть стакан или половину. Я тебе отдам. Честно. Мне один поп четверть должен. За библию. За такую красивую. Но тяжелую, как кирпич...

Она побежала в чулан, где под скамейкой стояла бутыль в плетеном чехле. Но когда вернулась со стаканом, Кнут был мертв.

— Царство тебе небесное, — сказала Матрена Степановна, перекрестившись торопливо.

Во дворе красноармейцы обыскивали пленных бандитов...

Так закончилась операция по уничтожению банды полковника Козякова. Но заключительная точка во всей этой истории еще не была поставлена.

Давайте вернемся на три месяца назад и проследим за событиями, предшествовавшими последней засаде Ивана Поддувайло и его боевых друзей.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

«ПАРИЖСКИЙ САПОЖНИК»

1

Большие жилистые руки лежали поверх малинового одеяла. И пальцы были сжаты в кулаки со страшной силой, отчего линии сосудов проступали, словно татуировка. Перебинтованная голова вминала подушку, прислоненную к низенькой спинке голубой узкой кровати — единственной в палате, с большим выходящим во двор окном. Над окном трепетали накрахмаленные занавески. И Каиров, войдя в палату, сразу обратил внимание на эти занавески. Вернее, на то, что ветер колышет их. Значит, рамы открыты!

Каиров подошел к окну, посмотрел вниз. Он увидел асфальтированную кромку возле стены, гаревую дорожку, а за ней рыжеватый подстриженный газон. Нетрудно было догадаться, что во все палаты первого этажа можно легко проникнуть с улицы через окно, ступив ногою на маленький карниз, возвышающийся в полуметре от земли, а затем подтянуться до подоконника.

Проведя по подбородку ладонью, словно проверяя, не зарос ли, Каиров строго спросил:

— Кто распорядился поместить раненого на первом этаже?

— Я, — тихо ответил дежурный врач. — Сотрудники, доставившие его, потребовали отдельную палату. Эта была единственной. В больнице на втором этаже ремонт.

Каиров нахмурился, достал из кармана толстовки папиросу. Остановился возле кровати, глядя в затылок Челни — седенького милицейского доктора. Выпрямившись, поправив пенсне, Челни обернулся к дежурному врачу, напуганному происшествием, и спросил:

— Где у вас умывальник, коллега?

— Вторая дверь направо... Я вас провожу.

— Одну минутку... Ваше слово, доктор Челни, — сказал Каиров.

Челни вынул большой, в половину газеты, носовой платок и, вытирая руки, предложил:

— Мирзо Иванович, вчера за визит я получил ведро картошки. Это же богатство! У меня есть вяленая ставридка. И немного чачи... Поехали ужинать.

— Интеллигентный вы человек, Семен Семенович. Слишком интеллигентный для нашего сурового времени. — Каиров скептически улыбнулся. — Ну, а теперь о деле...

— Смерть наступила мгновенно. Четверть часа назад, в результате ножевого ранения в область сердца.

Челни снял пенсне, убрал его в футляр и сказал дежурному врачу:

— Пойдемте, коллега.

Каиров вышел вслед за ними. Стоявший у двери милиционер вытянулся. Каиров назвал его по фамилии и велел вызвать инструктора с собакой, чтобы тщательно обследовать газон и прилегающие к нему дорожки.

Рывком распахнув дверку, Каиров втиснулся в машину. Через минуту пришел Челни. Положил на колени портфель. Сказал:

— Как же насчет ужина, Мирзо Иванович?

— Настойчивый вы мужчина, необыкновенно... — ответил Каиров. Он говорил с незначительным кавказским акцентом, и буква «е» через раз у него звучала, как «э».

— Настойчивый... Представьте... Нет, не отмахивайтесь, а только представьте... Молодая кубанская картошка. Розовая. Одна в одну. Такую и за большие деньги не купишь.

— У кого они есть, эти большие деньги?

— Думаете, нет... Прикиньте, сколько здесь на побережье в восемнадцатом году золота осело.

— Торгсин свое дело делает...

— Товары не только в торгсине. Французское мыло предлагали моей жене не далее как вчера. Этакий ароматный желтый квадратик с выдавленной надписью: «Париж».

— Где предлагали?

— У скобяного магазина на улице Полетаева.

— Кто?

— Мужчина.

— Какой он из себя? Приметы?

— Женщина есть женщина. Даже если она и жена милицейского доктора.

— Многие женщины очень наблюдательны.

— Моя супруга не такая.

Машина ехала медленно. Улицы были узкие, без тротуаров. И люди ходили по проезжей части. И не спешили сторониться, услышав сигнал автомобиля. Они замед-

ляли шаг. Провожали машину взглядом, не злобным, а удивленным, как если бы смотрели на слона.

— У меня прострел, — сказал Каиров.

— Нагрейте соли... А еще лучше — подкладка из собачьей шерсти.

Каиров недоверчиво покосился на доктора, но не возразил.

Вскоре машина въехала во внутренний двор трехэтажного дома, сложенного из белого кирпича. Высокий кипарис, возле которого торчала водопроводная колонка, возвышался посреди двора, покачивая узкой вершиной.

Было пять часов вечера. И небо уже отливало розовым светом. Как оно всегда отливало осенью в это время, если тучи не заволакивали солнце. Двор был не убран. На траве и около потемневшей от ветхости скамейки валялись обрывки газет. Сотрудники, разморенные за долгие часы работы в душных кабинетах, под вечер выходили подышать свежим воздухом, покурить, пожевать принесенный из дому бутерброд.

В четвертом подъезде оперуполномоченный Волгин говорил утешительные слова заплаканной вдове Мироненко — машинистке из угрозыска.

— Крепись, Нелли. Горю слезами не поможешь, — сказал Каиров. — Найдем убийцу. Верно я говорю, Волгин?

— Точно, — подтвердил Волгин.

— Пойдем. Ты мне нужен.

Каиров тщательно прикрыл за собой дверь, прошел к столу, указал Волгину на диван:

— Садись. Рассказывай, как Хмурого брали.

— Ну вы знаете, что опознали его два дня назад. Привесили хвост. Но он ни с кем не встречался. Жил в гостинице. Вещей при нем не было. Только маленький баульчик с продуктами. Во вторник и в среду с половины двенадцатого до двенадцати прогуливался на центральном бульваре у афиши кино. Ровно в двенадцать становился спиной к афише и был неподвижен в течение минуты.

— Вы не запомнили название фильма?

— «Парижский сапожник»...

— Что было дальше?

— В ночь со среды на четверг в третьем часу он пришел на вокзал к поезду. Билет купил до Ростова. За десять минут до прибытия поезда Мироненко приказал брать Хмурого... В последний момент Хмурый понял, что

попался. Бросился бежать по шпалам в сторону переезда. Оттуда и грохнул выстрел... Когда мы подбежали, Хмурый уже бредил.

— А именно, что он говорил?

— Повторял слово «нумизмат»... А может, это было какое-нибудь другое слово. Но мне показалось, что он раза три повторил именно это слово.

— Больше он ничего не говорил?

— Нет... Когда мы принесли его в медпункт вокзала, он потерял сознание. Я попросил медсестру остановить кровотечение и наложить повязку. Она сказала... Возможно, боялась... Но она хотела, чтобы я был рядом. В это время раздался еще один выстрел. А секунд десять спустя началась стрельба. Я знал, что Мироненко и два дежурных милиционера обследуют прилегающий к переезду участок. Оставив Хмурого на попечение медицинской сестры, я побежал к переезду... Мироненко был уже мертв. Милиционеры лежали возле него и палили в кусты ежевики. Буквально пять минут спустя мы оцепили пустырь со стороны шоссе и по склону Бирюковой горы... Но никого не обнаружили. Вероятно, неизвестный стрелял из револьвера. И гильзы остались в барабане. Мы не нашли ни одной. Трудно предположить, чтобы он собирал их в темноте.

— Дежурный по переезду допрошен?

— Да. Оказалось — женщина. Проверенный и надежный товарищ. Выстрелы она слышала. Но ни по путям, ни по шоссе мимо будки никто не проходил. Побывали мы и в поликлинике. Там тоже находились дежурные. А в лаборатории люди работают круглые сутки. И они слышали выстрелы, но выходить из помещения побоялись. Говорят, береженого и бог бережет.

Лохматый, как пудель, Золотухин приоткрыл дверь и, просунув голову, спросил:

— Мирзо Иванович, можно?

— Входи!

Золотухин шел плавно, словно скользил по паркету.

— Мирзо Иванович, а мы кое-что нашли.

— Неужели гильзы?

— Сразу гильзы. Пуп земли — гильзы... Кое-что поинтереснее.

И он положил перед Каировым крошечный белый лоскуток величиной с автобусный билет.

— На кустах ежевики висел.

— Ну и что? — не скрывая разочарования, спросил Каиров.

— Я высчитал условную траекторию полета пули. Линия шла под углом в тридцать пять градусов к железнодорожному полотну. Зная убойную силу револьвера, мне нетрудно было определить место, где стоял убийца. Когда я был маленький, Мирзо Иванович, физика и тригонометрия были моими любимыми предметами. Я и сам не пойму, почему позднее решил стать милиционером. Убийца стрелял с тридцати метров. Не попади он в переносицу, мы могли бы навещать Мироненко в больнице.

Каиров скептически улыбнулся:

— Милый мой, даже точные науки подчиняются законам логики. Если ты задумаешь кого-нибудь убивать осенней ночью, ты не станешь надевать ни белую блузку, ни куртку, ни халат... Или еще черт знает какую одежду, в которой будешь виден за километр.

— Однако факт налицо. Вы же первый, кто требует от нас фактов, и прежде всего фактов.

— Ты отнимаешь у меня время, — сказал Каиров со свойственной ему прямотой. — Но раз в мои обязанности входит и воспитание кадров, садись, наматывай на ус...

Каиров раздраженно поднял телефонную трубку. С усилившимся кавказским акцентом — первым признаком недовольства — сказал:

— Девушка, соедините с поликлиникой. Заведующего... Товарищ Акопов, это Каиров. Проконсультируйте меня по одному вопросу.

— Пожалуйста.

Кажется, у Акопова был громкий голос, а может, это целиком заслуга телефона, но Золотухин и Волгин отлично слышали все, что говорил заведующий поликлиникой.

— У вас в поликлинике кто-нибудь остается на ночь?

— Безусловно. Дежурный врач «Скорой помощи». Медицинская сестра. Кучер. Сотрудник в лаборатории.

— Скажите, они выходят ночью из здания поликлиники?

— Безусловно. В случае вызова «Скорой помощи»...

— И только?

— Безусловно. То есть не совсем безусловно. У нас нет канализации.

— Ясно. Людям приходится выходить ночью...

— Да... Но в туалете, если это слово здесь применимо, отсутствует электричество.

— Остается пустырь, — подсказал Каиров.

— Вероятно, так. Мне никогда не приходилось бывать ночью в поликлинике.

— Спасибо. Еще один вопрос. Ваши люди и ночью носят белые халаты?

— Безусловно.

— Как вы думаете, они снимают их, когда выходят э... на улицу?

— Думаю, что не всегда.

— Спасибо вам, товарищ Акопов.

Звякнула трубка. Каиров довольно посмотрел на Золотухина.

— Вот так, милый сыщик... Надо бы помочь докторам. Послать к ним электрика. И у нас, глядишь, время зря бы не пропадало.

Золотухин — большой артист. У него на лице одно, а про себя другое. Он сейчас не хочет раздражать начальника. И всем своим видом демонстрирует — сдаюсь, ваша взяла.

А Каиров любит, чтоб брала именно его... Вот он вышел из-за стола, заложил руки за спину и не спеша начал ходить от двери до окна... В кабинете стоял густой сумрак, но Каиров не включал свет. Он не хотел зашторивать окна. Потому что в свои пятьдесят лет был полным человеком, страдал одышкой и предпочитал свежий воздух всем другим благам.

— С личным делом Хмурого вы знакомы, — сказал Каиров. — Контрабанда. Валюта. Наркотики... Хмурый не убит на переезде, а час назад зарезан в больнице. Никто из его старых дружков на мокрое не пойдет... Все-таки появление Хмурого, которого месяц назад видели в Лабинске, и действия банды Козяка — это одна цепь... С бандой будет покончено в течение ближайших недель. Нас интересует другое... Очевидно наличие иностранной агентуры, которая руководит и помогает банде. Мы не знаем каналы связи. Но они существуют... Возможно, что Хмурый прибыл сюда как связной. Но где же тот, к кому он шел... Вот это нам и поручено выяснить. К выполнению операции приступаем сегодня же. Золотухин, устроишь побег Графу Бокалову. В десять вечера. Для приличия пусть дадут пару выстрелов вверх. С помощью Графа необходимо выявить всех, кто связан с контрабан-

дой, валютой, торговлей наркотиками. Всю операцию знаю я. И начальник краевого отделения. Кодовое название операции... Где они встречались? У какой афиши?

— «Парижский сапожник», — подсказал Золотухин.

— Операцию назовем «Парижский сапожник», — решил Каиров.

Он любил названия загадочные и необычные.

Когда Золотухин ушел, Каиров положил руку на плечо Кости Волгина и сказал:

— Тебе, Костя, предстоит выполнить самую трудную часть операции «Парижский сапожник».

2

Густая изморось. Степь, круглая, хмурая. Пирамидальные тополя — оголенные, мокрые. Они, точно странники, появляются то справа, то слева. И дорога — кашица из черной грязи, по которой едва двигается телега.

Пара усталых лошадей рыжей масти бредет медленно. Воздух холодный, и над крупами животных поднимается пар. Возница сидит на передке как-то полубоком. Искоса поглядывает на пассажиров. Он не очень им доверяет.

Пассажиров трое. Один, Владимиром Антоновичем его называют, по возрасту, видать, самый старший. В шляпе, в очках, в тонком пальто. Что пальто тонкое — это его собственное дело. Очки на Кубани многие носят, особенно кто в городе родичей имеет. А вот насчет шляпы товарищ маху дал. Не привыкшие тут до шляп жители. Раздражение такой убор вызвать может. Сомнение.

Второй, может, цыган, может, татарин. Глаза черные, хитрые. Ростом маленький. Всю дорогу руки в карманах плаща держит. Это точно — пистолеты не выпускает.

Третий — чистый жулик. В кожанке и с чубчиком.

Ящики какие-то с ними, лопаты...

— Так вы, значит, добрые люди, из Ростова будете? — заискивающе спрашивает возница.

— Бери выше, отец, — говорит жуликоватый. — Из самой Москвы. Мы, батя, геологи. Полезные ископаемые в ваших краях искать будем...

— Окромя грязи, тута ничего нету, — заявил возница.

— А мы дальше поедем...

— Дальше дальшего не бывает. Куда же это?

— В хутор Соленый... Рожкао...

Возница побелел. Повернулся к ним. Руки трясутся.

— Люди добрые, не губите...

Никакого впечатления. А коротышка рук из карманов не вынимает. Так и жди, всю обойму выпустит.

— Сынки, если шо, забирайте коней и телегу тоже... Я ходом своим до Лабинской доберусь. Я, понимаете, пять душ детей имею... Жинка на прошлой неделе ногу подвернула... В каких дворах золото есть, не знаю. В нашей семье его отродясь не было.

— Что с вами, товарищ? — спросил тот, в очках и шляпе.

— Пужливый я больно... — признался возница.

— Зачем же нас пугаться? Мы ученые, приехали сюда проводить геологоразведочную работу. Я профессор Фаворский. А это мои коллеги.

— Меня зовут Аполлон, — сказал жуликоватый. — А его Меружан...

Возница опять побледнел:

— Имена-то... странные...

— Какие родители дали, — усмехнулся Аполлон.

Меружан не улыбался, никак не реагировал, а сидел неподвижно, словно глухонемой. Не вынимал рук из карманов. И ткань плаща подозрительно оттопыривалась, точно в карманах и в самом деле торчали пистолеты.

— Может, нам документы предъявить? — спросил профессор.

— Для порядку бы, — сказал возница; никогда не ходивший в школу, он и расписывался-то крестиком.

Вид бумаги с машинописным текстом и фиолетовой печатью подействовал на него успокаивающе. Возвращая ее профессору, повеселевший возница сказал:

— Люди добры, да куда же вы едете? Вы знаете, шо здесь творится? А в тех краях особенно... Бандитов — как собак нерезаных. На прошлой неделе наши их сильно потрепали. Да вот жаль, начальника отделения в том бою убили... Добрый мужик был. С пониманием... И все кулачье проклятое...

— На этих днях бандиты не показывались? — впервые за всю дорогу сказал Меружан.

— В горах, гады, отсиживаются... Если бы жинка ногу не подвернула, я бы с обрезом...

Возница достал из-под тулупа большой промасленный обрез и положил в телегу.

— Так-то лучше, отец, — сказал Меружан. — Я эту пушку давно заприметил...

— Шо вы, добры люди... Бандюги же моего родного брата прикончили. Председателем сельсовета он был. И жинку его попоганили и зарезали. И дочку трехлетнюю не пожалели. Я их, гадов, многих в лицо знаю. Всю Малую Лабу излазию, до Псебая дойду... Пусть только жинка ногой затопает...

— Горы большие, — сказал Аполлон. — Искать бандитов будет не легче, чем иголку в стоге сена.

— У меня ниточка есть... Старый княжеский холуй егерь Воронин. Чуется, что он не побрезгует и на бандитах заработать...

Возница провел рукавом по мокрому лицу. Вскинул вожжи.

Пахло землей, лошадиным потом. Надрывно повизгивали колеса.

Одноэтажные домики станицы показались лишь в сумерках.

Гостиница стояла в самом центре. И достаточно было войти в прихожую, оклеенную состарившимися обоями, чтобы сразу представить «блага», которые ожидают путника. Вонь, холод, клопы...

Геологам отвели боковую комнату. В ней стояло шесть убранных кроватей. Наволочки на подушках свежие, но залатанные и заштопанные. Одеяла — солдатские, зеленоватого цвета.

Профессор предупредил заведующего гостиницей, что они везут ценную аппаратуру, и просил посторонних в номер не поселять.

Койки выбрали подальше от окна. Оно вытянулось чуть ли не во всю стену, с мутными пятнами на стеклах. Вторых рам не было. Шпингалеты держались на честном слове...

Аполлон вышел в коридор и спросил у дежурной, что и где здесь можно купить из съестного. Плохо одетая женщина — и, может быть, прежде всего по этой причине непривлекательная — терпеливо разъяснила, что базар в станице бывает с шести до девяти утра. Там иногда предлагают продукты: лепешки, требуху, вареную кожу. Но больше на обмен. За деньги купить почти ничего невозможно.

Пришлось терзать московские запасы...

Поужинав, геологи потушили свет и легли. Несмотря

на дальнюю дорогу, которую им пришлось сегодня преодолеть, сон не приходил.

Аполлон сел, опустив на пол ноги, и без энтузиазма сказал:

— Клопы предприняли психическую атаку.

— Ты самый толстый, — сказал Меружан. — Клопы знают, что делают.

— Не включай свет, — предупредил профессор.

— Я не кошка, я в темноте не вижу.

— Все равно не включай, — предупредил профессор.

— Может, он не придет, — возразил Аполлон.

— Не будем дискутировать, — сказал профессор. — Лежите и ждите...

— Знаете, сколько времени человек тратит на ожидание? — спросил Меружан. — Двенадцать лет, или одну пятую всей своей жизни.

— Сам подсчитал? — спросил Аполлон.

Меружан промолчал.

— Что молчишь? Стесняешься?

— На глупые вопросы не отвечаю.

— Все, — сказал профессор. — Молчок, коллеги...

Тикали часы. На улице лаяли собаки. Тараканы шуршали под обоями, словно гонимые ветром обрывки газет.

В окно трижды постучали. Профессор сбросил одеяло и оказался совершенно одетым. Мягко ступая в шерстяных носках по крашеному полу, он приблизился к окну и повернул шпингалет. Шпингалет звякнул громко, точно оброненные ключи. Скрипнув, разошлись рамы.

— Два, — сказал человек за окном.

— Восемь, — ответил профессор.

— Владимир Антонович?

— Да.

— Вам записка и привет от Кравца.

3

Светало. Вода чавкала под сапогами. Листья, и не успевшие облететь, и те, что уже несколько недель лежали на земле мягким желто-коричневым ковром, поблескивали капельками воды уныло и даже сумрачно. Потому что небо тоже было сумрачным — без низких свинцовых туч, похожих на глыбы, серое, обложное небо.

Пахло прелыми листьями, и желудями, и разными

травами, пожелтевшими и примятыми монотонным осенним дождем.

День обещал быть слезливым. Это совсем не радовало егеря Воронина, путь его ожидал длинный и в такую погоду небезопасный. Вода размочила склоны, взбодрились ручьи. Они спешили вниз, пенясь и урча, узкие и холодные, как змеи.

Егерь нес трех подстреленных на заре тетеревов. Так как считал, что с пустыми руками ему идти неудобно. Воронин же любил охотиться на боровую дичь. В пятьдесят лет у человека масса привычек, от которых поздно избавляться и которые стали характером, натурой, полноправной частью человека, как голова, ноги, борода, морщины.

Давно. Очень давно. Сколько же лет? Сорок. Или тридцать девять. Да. Тридцать девять... Отцу тогда за пятый десяток перевалило. Они забрались в шалаш еще затемно. Свежие порубленные ветки отдавали тем запахом, который можно учуять, лишь ткнувшись лицом в скошенную траву, едва привяленную, зеленую, но удивительно пахучую, как молодое вино.

Не рассвело. И в синем воздухе едва проглядывались темные деревья, когда отец схватил сына за плечо и они услышали бормотание тетерева. Вначале одного, затем двух, трех... Это было старое токовище. Отец помнил такие места. Он знал заповедник лучше, чем кто другой... Тетерева пели вначале на деревьях, потом на земле. Петухи дрались из-за тетерок как ненормальные. И Воронин-младший понял, что это глупая, похотливая птица. И у него не было к ней жалости. И нет. С того самого момента, когда он в первый раз нажал спусковой крючок и песня оборвалась...

Радость тогда переполняла его. Она не шла ни в какое сравнение с другими радостями, которые были позднее. Отец сказал, что сын прирожденный охотник. И парнишке подумалось: вот такое чувствуют, когда любят.

Но он ошибся... Любовь никогда не приносила ему удовлетворения, как охота.

Он, не задумываясь, произносил слово «люблю». Говорил «люблю» Галине. Быстрой казачке. С черными глазами и косами. Говорил Марии даже после венчания... Говорил «люблю» фрейлине Вере, когда она, нагая, как создал ее господь бог, вбежала к нему в сарай, где он чистил ружье...

Один шут ведает, что творили эти фрейлины. Великий князь Кирилл не случайно привозил их в личную вотчину.

Челяди приезжало много. Летних дач не хватало. И тогда разбивали палатки, устраивали завесы. Князь понимал толк в удовольствиях. Охота без выпивки не обходилась. И дамы не уступали мужчинам...

Воронин оступился и, упав на бок, покатился вниз по склону горы. Заросли шибляка придержали его. Егерь с трудом поднялся, присел на корточки и тупо смотрел на голые переплетенные ветви боярышника, грабинника, шиповника, держидерева. Смотрел, не думая ни о чем. Ожидал, когда пройдет боль. Терпеливо, как не однажды он ожидал секача, сидя в засаде на кабаньей тропе.

Полегчало. Воронин нашел шапку, поднял с земли тетеревов. Закурил. И неторопливо, посматривая под ноги, двинулся в гору.

Обогнув вершину, он оказался на широкой седловине, поросшей желтоватой травой. Десятка два коней бродили по поляне. Хмурый, обросший мужик с карабином навскидку выглянул из-за скалы. Узнав Воронина, сказал:

— Оне там.

Кивнул головой влево.

Шалаш был устроен под высоким грабом. Большой шалаш, похожий на опрокинутый кулек. Шипя и потрескивая, у входа горел костер. Перед костром стоял полковник Козяков в бурке и в отделанной каракулем кубанке. Лицо его было желтым, а под глазами лежали зеленоватые круги. Возможно, полковника трясла малярия.

Воронин бросил дичь, не сказав «здравствуйте». Полковник повернулся, протянул руку. Воронин пожал руку и недовольно пробурчал:

— Стар я почтарем по горам мотаться...

Он достал из кармана примятое письмо в самодельном конверте, отдал полковнику. Потом вынул из-за пазухи бутылку водки.

— Едва не угробил. Ноги чужими стали. Ревматизма...

Полковник взял бутылку. Удивился:

— Московская?

Воронин кивнул.

— Откуда?

— Постояльцы наделили.

— Что за новости? Кто такие?

Воронин неопределенно повел плечами. Закусил нижнюю губу.

— Требухов! — позвал полковник.

Юркий мужчина, с круглым, рассеченным вдоль правой щеки лицом, поспешил к костру. Полковник кивнул на дичь.

— Займись!

— Слушаюсь, господин полковник.

Осклабившись, Требухов посмотрел на Воронина, потом нагнулся и взял тетеревов.

— Пошли, Сергей Иванович, — сказал Козяков.

В шалаше на земле лежал ковер. И еще два ковра висели. Кроме постели, накрытой коричневым одеялом из верблюжьей шерсти, в шалаше был изящный столик на гнутых ножках и грубо сколоченный табурет.

— Садись, Сергей Иванович.

Егерь опустился на табурет. Полковник на постель. Читал письмо, щуря глаза. И выдох был тяжелый, как у простуженного. Повертел конверт, перегнул пополам и спрятал под подушку.

— Скучно ей, — сказал раздумчиво. — Ну да ладно! Теперь выкладывай, что за постояльцы.

— Геологами называются... Камни ищут.

— Красный конгломерат?

— Мне не докладывали.

— Много?

— Трое. Один профессор. Два чином поменьше.

— Анастасию видели?

— Пока нет... Она из боковушки не выходит. Затем и шел, чтобы посоветоваться. Может, убрать их, да и концы в воду?

— Не пойдет... Твой дом должен быть чист, как стакан, из которого пьют. Пусть девушка не прячется. Она твоя племянница, приехала из города старикам по хозяйству помогать. И смотри, Воронин, если с Анастасией что приключится. Запомни, я не господь бог. Я ничего не прощаю!

Воронин недобро усмехнулся:

— С барышней все будет в лучшем виде... О себе подумайте, господин полковник. В Курганную целый эшелон красных конников прибыл.

— Пугаешь?

— Предупреждаю... Знать, не грибы они собирать приехали.

Козяков обхватил ладонью лоб и, не глядя на егеря, спросил:

— На почту ходил?

— В среду пойду. Не могу так часто... Я человек простой. Не люблю привлекать внимание.

Положив локти на колени, Козяков согнулся, будто у него случились колики в животе. Потом резко выпрямился. Раскупорил бутылку. Крикнул:

— Требухов! Стаканы!

— Я не буду, — сказал Воронин. — Моя дорога дальняя.

— Ты сделался слишком боязливым для своей профессии.

— Моя профессия — егерь.

— Знаю, что егерь... И все же... Красных конников ты боишься. На почту ходить боишься. Хлебнуть на дорогу водки боишься!

— Лес к осторожности приучил.

Водка заполнила стаканы на треть. Но запах сразу полез в нос. И Козяков морщился, когда пил, и Воронин морщился тоже...

Похрустывая огурцом, полковник сказал:

— Я шучу, Сергей Иванович. Шучу... Иначе в твоих местах одичать можно.

— Зачем так?

— А как? Места дивные... Но зимовать здесь в мои планы не входит. Я уверен, что на белом свете есть более теплая зима, нежели в предгорьях Северного Кавказа. Да и Настенька у меня на шее висит, хоть и ночует под твоей крышей. Слушай внимательно... В субботу пойдешь на почту...

Козяков опять взялся за бутылку, на какие-то секунды задержал ее в руке, потом поставил на стол. Раздумчиво сказал:

— Меня беспокоит только одно: почему Бабляк не подал условленного сигнала? Теперь та же история повторяется с Хмурым... Если письма не будет, достань мне зимнее расписание поездов. Жду тебя в воскресенье. Понял?.. И не трусь. Со мной бедным не будешь. Я бумажками не расплачиваюсь. Бумажки в наше время только для одного дела годятся, если рядом лопуха нет.

— Я вам верю, — сказал Воронин. — Вы дворянин. Человек чести. Вы за идею маетесь. А дружкам вашим я не верю. И вы не верьте. Ворюги они...

— Тише, — оборвал его Козяков. — Прикончат. И я воскресить не сумею...

Воронин промолчал. Собрался было уходить, но вдруг сказал:

— Странный парень один из этих геологов...

Козяков вопросительно сдвинул брови.

— Вышел утром во двор. Озырился вокруг. Да и говорит мне: «Давно, дед, егерем служишь?» — «Почитай, тридцать лет», — отвечаю. «Значит, и отца моего тут видел». — «Красный командир», — говорю. Геолог, Аполлоном его зовут, усмехнулся. Да и сказал тихо: «С князем Кириллом отец, царство ему небесное, в этих краях бывал — смекаешь, дед?..» Я ответил, что с князем Кириллом много всякого люду бывало. Всех не упомнишь.

— Фамилией не интересовался?

— Спрашивал... Не сказывает. Смеется: «Называй хоть горшком, только в печь не ставь».

— Занятно. — Козяков поднялся с постели. — Посмотреть бы на этих субчиков...

— Можно устроить.

— Следи за ними... Если что, дорогу знаешь... И про расписание не забудь...

Когда Воронин ушел, полковник Козяков собрал банду, сказал:

— Четверть часа назад я получил радостное известие из центра. В ближайшие дни англичане и французы высаживаются на Черноморском побережье. От нас нужно только одно: собрать в комок нервы и силы. И быть готовым к решающей схватке. Я даю вам слово офицера... слово дворянина... что еще до первого снега Кубань будет свободной. А к рождеству, если это будет угодно богу, мы услышим звон московских колоколов...

Козяков вернулся в шалаш, вылил в стакан остатки водки.

«За ложь во спасение!» — произнес мысленно.

На душе было жутковато, точно он смотрел в пропасть.

4

Граф Бокалов узнал немногое...

Конечно же, он не мог узнать о Хмуром больше, чем знал сам Хмурый. А точнее, чем Ноздря. Потому что именно Ноздря поделился с Графом сомнениями. А Ноздря был битый-перебитый. И уже год молчал, как собака на морозе. И его никто не мог схватить за руку — ни угро, ни чека. Ноздря остерегался вынимать руки из кар-

манов. Хотя, разумеется, мелкая контрабанда не обходила его стороной. Но только мелкая и верная. Без хвоста и подозрений.

С того самого дня, когда пьяный матрос с новороссийского буксира врезал Ноздре разбитой бутылкой и лицо фарцовщика стало запоминающимся, как улыбка Моны Лизы, он предпочитал работать на дому. И у людей, знающих его поверхностно, могло сложиться обманчивое впечатление, что Ноздря исчез с «делового» горизонта, завязал. И пленился разведением парниковых огурцов. Или австралийских попугайчиков...

Граф Бокалов имел на этот счет свое мнение. Потому-то мальчики Графа и не теряли Ноздрю из виду. Хотя Ноздря никогда так не опускался, чтобы скупать краденое, но он иногда не брезговал услугами карманников и форточников, то есть основных асов Графа.

Графу Бокалову исполнилось девятнадцать лет. У него были доверчивые голубые глаза, широкие плечи. А за плечами — количество краж, вдвое превышавшее возраст. Кличку «Граф» ему преподнесла шпана, знавшая, что он щедр на синяки и шишки и раздает их с ловкостью фокусника.

К чести Графа нужно отметить, что он почти не употреблял спиртных напитков, не курил.

Каиров принес ему книжки Горького. Кто мог подумать, такой великий писатель, а босяками не брезговал...

Граф не любил сантиментов. А к хорошему отношению просто не привык. И книги Горького, и беседы с Каировым... Все это было ново, будто он в первый раз нырнул с открытыми глазами.

— Имей я такого отца, как вы, — признался Граф Бокалов, — падла буду, никогда бы не оказался на этом месте.

— Вовка, — назвал его по имени Каиров. — Ты не знаешь своего отца. А я знаю, кто был твой отец. Я все знаю, Вова, это моя специальность. Твой отец был красный командир. Его убили врангелевцы на Перекопе. Твой отец был большевик... Вова, все немножко виноваты, что ты стал тем, кем ты стал. Но ты молод. Ты еще можешь исправиться. И я буду твоим отцом, Вова.

Они все обговорили с Каировым.

Кто-кто, а Мирзо Иванович ясно представлял трудности и опасности, которые встанут перед Графом.

Бокалов вышел из огольцов — мелких воришек, молодых по возрасту, — чья фантазия не поднималась выше карманов прохожих и вывешенного на просушку нижнего белья.

Взрослые, опытные воры сторонились столь несерьезной публики, способной, к примеру, «на хапок» сорвать у женщины самые дешевые серьги. Вольные настроения, царившие среди огольцов, казались ворам верхом безответственности. Они взывали к осторожности. И не испытывали ни малейшего желания предстать перед судом по статье 35 УК РСФСР.

Между тем Граф перерос своих сверстников. И наступил тот период, когда он должен был примкнуть к клану зрелых воров. Но в этом клане были свои неписаные законы. И если среди огольцов еще существовало понятие старшинства, то к началу тридцатых годов у воров со старшинством было покончено. Всякая попытка сколотить группу и возглавить ее объявлялась «магеронщиной», что было очень опасно. Ибо знаменитый бакинский вор-карманник Костя Магерон — последний оплот старой воровской традиции — был приговорен на «сходнике» * к смерти. И зарезан своими же коллегами.

Поэтому Каиров предупредил Бокалова: никакой инициативы, никаких атаманских замашек. Скромность, осторожность, внимательность.

Когда зашла речь о том, где Графу осесть после побега, вспомнили о Ноздре. Собственно, вспомнил Граф. И даже не вспомнил, а сразу, еще в первый раз, когда Каиров заговорил о деле, Граф подумал, что Ноздря и есть то самое тихое болото, в котором могут водиться черти.

Каиров дал Графу номер своего телефона. На крайний случай. Предупредил, что Граф Бокалов должен вести себя так, как если бы на самом деле сбежал из тюрьмы. Любой опрометчивый поступок может навлечь подозрение. И тогда его постигнет участь Хмурого.

Пароль для связи: «Вы не подскажете, где мне найти сапожника?» — «Я могу чинить обувь, но у меня нет лапки».

Две недели назад, в субботу, в девять часов вечера, Граф Бокалов совершил «побег». Два выстрела вспугнули летучих мышей, гнездившихся в развалинах за городской тюрьмой. Дежурный записал о происшествии в журнал.

---

* «Сходник» — воровское судилище *(жаргон)*.

Почти сутки Граф отлеживался в заброшенной часовне. Мерцание крестов. Выкрики совы... От этих прелестей леденела кровь. К утру стало совсем холодно. Куртка на «молнии» не грела. Граф Бокалов подумывал о том, стоит ли торчать в этом мусорном ящике целый день. Не лучше ли сейчас же податься к Ноздре. Согреться чайком. Вздремнуть...

Но слово есть слово. Дал. Нужно держать. Каиров не какой-нибудь трепач. Пижонов презирает. Требует точного исполнения плана.

А план Граф помнит назубок. Дождаться вечера. И на морской вокзал...

День прошел без приключений.

С сумерками Граф вышел на набережную. Он был голоден, но это тоже входило в план. Каиров верил в актерские способности Бокалова, но рисковать не хотел. Все должно быть натуральным. Без подделок.

Граф двигался по освещенной электричеством набережной, держась в тени платанов. Пахло пылью и лавровишней. И, как всегда, нефтью немного пахло тоже... В горпарке трубил духовой оркестр. Мужчина в неновой стеганке ходил от скамейки к скамейке, предлагая вяленую ставриду.

У ларька, сделанного в виде большого винного бочонка, толпились забулдыги. Они чокались гранеными стаканами, курили, спорили, ругались...

Чутье подсказывало Графу: такое добычливое место не могло ускользнуть из поля деятельности «мальчиков». И точно. Бокалов увидел знакомую тощую фигуру Левки Сивого.

Левка лез к стойке, прижимаясь к невысокому толстяку в белом чесучовом костюме. Левой рукой Сивый протягивал пустой стакан. Правой... Можно было не смотреть. Можно было сесть на лавочку и взглянуть на звезды. Потому что правой рукой Левка обычно вытаскивал бумажники, закрыв глаза. И делал это так же ловко, как смежившая веки старушка безошибочно продолжает вязание на спицах.

Уже через десять секунд Левка деловито удалялся в сторону промтоварной базы курортторга.

— Сивый! — позвал Бокалов.

Сивый остановился, удивленно повернул голову и, не веря своим глазам, произнес:

— Граф?!

Бокалов положил ему руку на плечо. Обнявшись, как два старых добрых приятеля, они пошли по скверу.

— К твоей матери сегодня приходили из милиции. Сказали, что ты смылся.

Сивый замолк, дернул носом.

— И все? — спросил Граф.

— Объявишься — велели им сообщить...

— Сообщают сводки погоды. И то лишь для Москвы. Ладно. Жрать хочется. Сколько выбрал?

Сивый раскрыл бумажник:

— Поужинать хватит...

От Сивого несло чесноком и папиросами.

— Босяк ты, — сказал Граф. — Выходишь на вечерний променад, а жрешь чеснок, словно цыган на ярмарке.

Сивый виновато ответил:

— Забыл я.

Они вышли к морскому вокзалу — двухэтажному выбеленному зданию с пузатыми колоннами у входа и тяжелым лепным портиком.

На клумбе опадали последние цветы. Скамейки стояли грязные, и краска лезла с них охотно, словно шерсть с линялых кошек. Фонарь на боковой аллее не горел...

Граф оглянулся. И схватил Сивого за локоть. На скамейке, низко опустив голову, сидела женщина. У ее ног стоял чемодан. Сивый понимал Графа без слов. Они подошли к женщине. Она дружелюбно посмотрела на них. Они увидели, что она молодая. С короткой стрижкой. Упрямым скуластым лицом. Женщина сказала:

— Мальчики, вы не подскажете, где мне найти сапожника?

— Я могу чинить обувь, но у меня нет лапки, — ответил Граф Бокалов.

Затем поднял палец и, как маленькому ребенку, пригрозил:

— Не пищать!

Сивый тяжело подхватил чемодан.

— Вы коллекционируете кирпичи, мадам? — спросил Граф. — У моего кореша прогибается позвоночник.

Женщина молчала. Только сжимала губы. И лицо было белым и плоским, как кусок стены.

В следующую секунду голова женщины дернулась, тело покосилось и ничком рухнуло на скамейку.

— Чудачка, с перепугу отправилась в обморок, —

заключил Граф. — Похряли... — И подумал про себя: «Каково? Сивому в голову не пришло, что все идет как по нотам. Только ноты эти писал не композитор, а начальник милиции. Женщина молодец — настоящая актриса. Изобразила обморок на все сто. Она работает секретарем у Каирова. Я ее видел там. Каиров называл ее Нелли...»

Около часа ночи Сивый крадучись, словно кот, подошел к дому Ноздри. Оглянулся... Дом, деревянный, под железной крышей, выходил окнами на проезжую часть улицы, потому что тротуар пролегал лишь с одной, противоположной, стороны, где стоял длинный кирпичный дом в три этажа: в полуподвале дома размещались парикмахерская, скобяной магазин и мастерская «Гофре, плиссе».

Над входом в парикмахерскую светила небольшая лампочка.

Сторож ходил у гастронома, который находился на углу улицы Пролетарской, метрах в ста от дома Ноздри.

По правой стороне улицы, рядом с домом Ноздри и дальше, до самого Рыбачьего поселка, темнели такие же деревянные дома, с садами и огородами. Брехали собаки. Но к этому уже давно все привыкли, как и к выкрикам петухов по утрам.

Сивый постучал в ставень. В доме хлопнула дверь. Кто-то вышел на застекленную веранду. Простуженно спросил:

— Кого нелегкая носит?

— Силантий Зосимович, свои, Лева я.

— Какой Лева? Сивый?

— Да, да... Силантий Зосимович.

— Чего хочешь? — сердито спросил Ноздря, приоткрыв дверь, насколько позволяла цепочка.

— Граф Бокалов просит на пару слов.

— Граф на курорте. Любой босяк в городе это знает, — возразил Ноздря.

— Времена меняются, — сказал за забором Граф.

Ноздря распахнул дверь, по скрипучим ступенькам спустился во двор. Подошел к калитке. Злобно лаявший пес, узнав хозяина, радостно завизжал. Громыхала заржавленная цепь. Сонно выкрикивали куры. Запах куриного помета, мочи, псины и вяленой ставриды держался во дворе стойко.

Ноздря положил ребром кирпич. Встал на кирпич, схватившись руками за верх высокой калитки. Он был на редкость осторожный, точно старый секач, чуявший охотника на расстоянии.

— Добрый вечер, Силантий Зосимович, — вежливо приветствовал Граф.

— Спокойной ночи, — пробурчал в ответ Ноздря.

— Спасибо за теплые пожелания. Только я вторую ночь зубаря втыкаю...

— Это точно, — подтвердил Лева. — Граф позавчера вечером отвалил...

— Я не батюшка. Зря исповедоваться пришли, — недовольно ответил Ноздря.

— Товар есть, — сказал Граф.

— Краденое не скупаю.

— Может, адресок подскажете.

— У Левки что? Память отшибло?

— Кузьмич такое не берет... И Мария Спиридоновна тоже, — оправдывался Левка.

— До свиданья. Бывайте здоровы. Абсолютно ничем помочь не могу... — Ноздря слез с кирпича. Над калиткой торчал только его нос, длинный и загнутый, словно крючок.

— Ну, сука! — взорвался Граф. — Мешок с трухой, ты еще припомнишь нашу встречу. И десять кобелей не устерегут твою поганую конуру. Мне терять нечего. Меня угро по всему городу ищет. В меня стреляли!

— Не ори, психопат! — оборвал его Ноздря. — Что за товар?

— Чемодан кофе. В зернах.

Ноздря поперхнулся от удивления. Сопя, открыл замок. Подалась калитка. Покряхтывая, Левка втащил чемодан во двор.

В дом Ноздря их не повел. Они обогнули курятник и очутились в маленьком сарайчике. С полками во всю стену, на которых что-то стояло. И хотя было темно и ничего не было видно, Граф знал: в таких сараях обычно хранят банки, пустые бутылки, столярные и другие инструменты и еще разную рвань: тряпки, плащи, старую обувь. Все это, конечно, покрыто пылью. И пауки живут по углам припеваючи.

Ноздря чиркнул спичкой. Просунул руку под полку. Щелкнула задвижка. Полка подалась на Ноздрю. В стене открылось отверстие, ведущее под пол.

Граф кивнул Левке, чтобы он лез первым. Бокалов любезно уступил дорогу Ноздре. И последним спустился сам. Погреб оказался небольшим квадратным ящиком из бетона, размером примерно два на два.

Электрическая лампочка светила на стене. Она была ввернута не в простой патрон, медный, с белым фарфоровым ободком. Такие патроны продавались на базаре, в скобяном магазине. Их можно увидеть в любой квартире города. Нет. На стене висело бра, вероятно, переделанное из позолоченного подсвечника: пузатенький ангелочек с пупочком держал в руке рожок. В этот рожок и ввинчивалась лампочка.

Может, Ноздря купил бра у какого-нибудь ворюги, но не рискнул повесить его в комнате.

У стены под бра стоял высокий сундук, на котором лежала овчинная шуба.

Чемодан открылся. Крупные кремовые зерна кофе лежали, словно мелкая прибрежная галька.

— Турецкий, — сказал Левка.

— Ты-то, сопля, знаешь! — съязвил Ноздря.

— Что ж я, Силантий Зосимович, турецкого кофе не видал? Я даже пил его...

— В Турции кофе не растет, — сказал Ноздря.

— В Турции все растет, — возразил Левка. — И табак, и кофе. Я сам в ресторане «Интурист» такое блюдо видел — турецкий кофе.

Ноздря отмахнулся от него, как от мухи.

— Сколько хочешь?

— Одежду соответственно сезону. И укромное местечко на неделю, разумеется с харчевкой. Отлежаться надо, пока фараоны решат, что я все-таки в Ростов прорвался.

— Беру, — сказал Ноздря.

Граф устало опустился на сундук.

— Задешево отдает, — сказал Левка. — Вы бы видели, Силантий Зосимович, как мы накололи чемодан. Прима! Высший класс. Дамочка в обморок. Граф — жентельмен...

— Пока будешь находиться здесь. Подушку принесу. — Ноздря кивнул Левке: — Помоги! — Левка потащил чемодан наверх. Ноздря поднялся за ним.

— Жратвы не забудь, — напомнил Граф.

Они вернулись минут через десять. Граф дремал, привалившись на тулуп.

— Сутки средь могил ховался, — сказал Левка. —

Как подумаю: гробы, покойники... Аж дрожь берет... Вставай, Вова.

Ноздря принес бутылку самогона, запечатанную туго свернутым газетным пыжом, полдюжины сырых яиц, малосольный огурец, пяток помидоров и ворох вяленой ставриды.

— Барахло завтра подберу.

— Чтоб приличное было, — напомнил Граф, потирая кулаками глаза.

— Как чижика оденем, — успокоил Ноздря.

...Тогда они выпили крепко. Видимо, Ноздря считал сделку удачной. Он еще раз сбегал за бутылкой. И еще...

Захмелев, Ноздря болтнул, что к нему заходил Хмурый. Они крепко-крепко поддали. И Хмурый держал себя, как метр. Говорил, что напал на золотую жилу и намерен обеспечить себе беззаботную старость «на том берегу». Какой это берег, Ноздря не уточнял, но догадался, что турецкий.

Хмурый обещал не забывать Ноздрю, если Ноздря будет помнить его, Хмурого.

Глаза у Хмурого были маслянистыми, и он говорил, что стосковался по женщинам, но ему, дескать, нельзя впадать в разгул. У него должна состояться деловая встреча. Важная встреча, которая сыграет в его судьбе поворот... Уходя, Хмурый просил Ноздрю подумать, найдется ли где подходящее место: тайничок, надежный и безопасный. На всякий случай, если придется что спрятать.

Больше Хмурый не приходил. Однако Ноздря знал Хмурого не первый год. И был уверен: такой делец зря слов на ветер не бросает...

В конце концов Ноздря упился до чертиков и со слезами умиления лез целоваться к Графу, называя его сынком, родненьким.

Левка уволок Ноздрю лишь на рассвете.

Граф накрылся тулупом и уснул...

5

Несколько дней Анастасия видела геологов только через окно. Даже после разговора с полковником Козяковым Воронин не велел ей показываться во дворе. Он сказал — нужно выждать, присмотреться, что это за люди. Хорошие или плохие. И пусть даже хорошие. Все

равно следует остерегаться. Потому что даже самый хороший, увидев такие волосы и глаза восемнадцатилетней девицы, может натворить столько дел, угодных черту, что потом никакими молитвами не откупишься.

Анастасия никогда не замечала, чтобы Воронин молился или стоял перед иконами. Но помянуть имя господа всуе с неприличным словом он любил. И делал это особенно громко. Быть может, из-за того, что жена его, сгорбленная сердитая старушка, была туговата на ухо.

Некоторое время Анастасия не знала, как вести себя с хозяйкой дома. Лицо этой неприветливой женщины и глаза ее казались Анастасии загадочными, а порою одержимыми. Но была ли это одержимость или какое-то обостренное состояние нервов, а может, всего сложного комплекса, который называют психикой, — определить трудно. Анастасия и Матрена Степановна относились друг к другу настороженно. Хозяйка приглашала Анастасию к столу в завтрак, обед, ужин. Девушка, поев, благодарила и уходила в свою комнату. Кажется, на второй день пребывания в доме егеря Воронина Анастасия хотела вымыть после завтрака посуду, Матрена Степановна сухо сказала:

— Я сделаю это лучше.

Воронин тут как тут:

— Вы, барышня, не извольте беспокоиться. — И добавил: — С вашими ли пальчиками в помоях возиться. Цыпки наживете!

Вскоре она поняла, что хозяйка недолюбливает ее и потому относится с подчеркнутой холодностью. Но это не очень взволновало Анастасию. Нет, отношение людей не было для девушки безразлично. Сейчас ее беспокоило другое — отец, воскресший словно из пепла...

Как-то хозяйка истопила баню. И Анастасия мылась. Вначале одна, а потом пришла Матрена Степановна. Она помогла девушке мыться и, глядя на нее, неожиданно сказала по-матерински тепло:

— Кожа-то у тебя какая! Одно слово — господская...

— Зачем вы так?

Хозяйка вздохнула:

— Батюшка ваш, чтоб им на том свете черти подавились, не любит вас, не жалеет. Лиходей он, сколько жизней тут, на Кубани, загубил. И вас, Настенька, погубить хочет. Креста на нем нету. Тикайте вы отсюда к своей бабушке, пока не поздно.

— Почему вы так говорите? — возмутилась Анастасия. — Он за свое борется. Новая власть все у нас забрала.

— Молода ты еще, дочка. Ох как молода!.. И старую власть, стало быть, не видела. А меня при этой самой власти без всякого моего согласия вот за этого волка отдали. Мне же в пору ту и семнадцати годочков не исполнилось. И груди мои были такие высокие, как твои, и ноги тоже розовые. А волосы, они до сих пор у меня густые, сама видишь. Власть-то старая к нам из самого Петербурга приезжала. Насмотрелась я... Князь великий, значит, кобель кобелем. И женщины с ними гадючие... Никем не брезговали. Моим хозяином тоже. А он перед ними вертелся, как кот линялый.

— Бедняжка вы, — пожалела Анастасия. — Зачем же вы с мужем-то своим остались? Ушли бы.

— Уходила... Нашел он меня. Избил так, что в позвонках хрустнуло. С тех пор разогнуть спину не могу.

— Жестокий он, — согласилась Анастасия.

— Вся порода у них такая...

Высокий, плечистый, стройный, с седеющей головой и вислыми запорожскими усами, Воронин одним своим взглядом пугал Анастасию.

Однажды он вошел в ее комнату. Настенька сидела на кушетке, поджав ноги. Читала французскую книгу. Французскому языку ее научила мать. Мать была женщиной, совершенно не приспособленной к новой жизни. Но французский язык знала лучше, чем русский. За год до смерти она начала особенно серьезно заниматься с дочерью. Анастасия не только свободно говорила по-французски, но и читала и писала. И больше того, иногда даже думала на французском языке.

Воронин остановился перед кушеткой. И Анастасия, не поднимая взгляда, сжалась в комок, будто ждала, что он подомнет ее, раздавит.

— Так запомните еще раз... Вы моя племянница, приехали из Ново-Минской. Тятька с мамкой в тифу, а может, от голоду померли. Наряды свои московские — платьица, туфельки — подальше заховайте. И книжки эти тоже. Племянница кубанского казака не может читать по-аглицкому или немецкому...

— А по-французскому может? — не сдержалась Анастасия.

— Нет.

— Хорошо, — прячась за раздражение, как за щит, сказала Анастасия. — Я выполню все, что вы сказали. Но я хочу видеть отца.

— Сейчас это невозможно.

— Тогда я возвращаюсь в Москву. Мне надоело затворничество. Я не привыкла к такой жизни, без друзей, без подруг...

— Отпускать вас отсюдова не велено. Я за сохранность вашу башкой отвечаю.

— Ничего не понимаю. Ничего... Я напишу отцу...

— Только не сегодня. На следующей неделе. Всему свой срок.

Анастасия поднялась. Она доставала Воронину до подбородка. Почувствовала тошнотворный запах табака и самогона. И шагнула в сторону. Прильнула к окну.

— Барышня, — сказала Воронин. — На чердаке в стружке хранятся груши и яблоки...

— Принесите, — оборвала Анастасия. Она считала, что нужно показать характер. И насмешливо добавила: — Или вы хотите подняться со мной на чердак?

— Мы хотим, чтобы у вас не был бледный цвет лица, — сказал хмуро Воронин. И кашлянул.

На другой день геологи куда-то ушли еще ранним утром. С рюкзаками, кирками, лопатами. И пелена дождя скрыла их, как скрывала и горы и дорогу.

Сам отлучился из дому вчера к вечеру, велев женщинам крепко запираться и не впускать в дом никого ни под каким предлогом.

Старуха пекла хлеб. Анастасия любила смотреть, как жена Воронина возится у печи, совершая удивительное таинство серьезно и молчаливо. И в доме, и даже во дворе стоял запах свежего хлеба, сладковатый, хмельной запах.

Часам к трем погода прояснилась. Небо стало синим-синим, с круто замешенными белыми облаками, которые плыли с юга над вершиной горы.

Анастасия подошла к ограде. И смотрела вверх. Ощущение времени исчезло, незаметно, как порою исчезает боль.

— Добрый день или, вернее, вечер, — сказал мужчина.

И она сразу узнала самого молодого из геологов, которого несколько раз видела из окна.

Аполлон улыбался, глядя на нее чуточку смущенно. Щеки у него покраснели. И она тоже почувствовала, что не в силах скрыть румянец. Хотя за последнее время привыкла к пристальным, а порою откровенно восхищенным взглядам мужчин.

— Я так и думал, что у старого егеря есть все основания прятать свою племянницу.

— Разве такие основания вообще могут существовать?

— Да. Посмотрите в зеркало.

— Я не верю зеркалу. Лучше в воду...

— Вы говорите так, словно всегда жили в лесу. А между тем в вас много городского. Вы не похожи на внучку кубанского казака.

Аполлон, не стесняясь, разглядывал ее тонкие белые пальцы, длинные, заостренные ногти.

— Молодые девушки везде одинаковы, — ответила Анастасия. Ей все-таки нравился этот геолог из Москвы. И она добавила: — Le printemps de la vie ne revient jamais *.

Аполлон усмехнулся:

— On a tous les ans douze de plus **.

— Вот именно. — Анастасия силилась побороть смущение. И даже страх. Как ни суди, но внучке или там племяннице кубанского казака ни к чему болтать по-французски с незнакомым человеком. Однако что-то было в этом мужчине располагающее к откровенности. Кажется, глаза, умные и ласковые. Она не могла сердиться, глядя в них. Она только сказала:

— До свидания.

6

Каиров сразу узнал певучий голос уполномоченного ГПУ. Даже в трубке чистый и немного протяжный, будто человек, произносивший слова, хотел их пропеть, но потом передумал, а звучание осталось.

— Мирзо Иванович, милый, ожидаешь?

Каиров ответил:

— Мирзо Иванович человек терпеливый. Более терпеливый, чем квочка.

---

* Дважды в год лета не бывает *(франц.)*.

** Стар будешь, а молод — никогда *(франц.)*.

Уполномоченный захохотал:

— Так не пойдет... Мужчина! Азиат! И вдруг квочка. А почему не сокол, высматривающий добычу?

— Какой сокол?.. Зачем душу крутишь? Говори прямо, ты ко мне придешь или я к тебе.

— Ни то и ни другое. Сапожник молчит.

— Значит, еще не время.

— Там виднее.

— Звони.

— Домой?

— Что говоришь? — удивился Каиров. — Я у себя. В милиции. Часы есть. Смотри на стрелки.

Была пауза. Видимо, уполномоченный действительно смотрел на часы.

— Двадцать минут третьего, — донеслось из трубки.

— Вот видишь. Скоро утро.

— Хорошо бы выпить крепкого чая. Всего, Мирзо Иванович.

Положив трубку, Каиров очень зримо представил большой фарфоровый чайник с двумя красными маками на боках, которым уполномоченный гордился, солдатскую эмалированную кружку и подумал, что неплохо бы и в милиции завести чайник, а может быть, самовар, чтобы вот такой глухой ночью ребята могли побаловаться кипяточком. Он и сам любил горячий чай со свежей душистой заваркой. И чтобы варенье было в кругленьких белых розетках с какими-нибудь маленькими цветочками, вишневое варенье, сливовое и обязательно из алычи. И хорошо, когда за окном ветер, и голые ветки трутся о стекло, и тучи спешат, деловые, озабоченные... Тогда чай уже не чай, а наслаждение, словно добрая баня или верховая езда. Впрочем, при одном условии: если на сердце не щемит, если на сердце все спокойно. В противном случае лучше пить вино, или чачу, или простую водку. Но только немного, ради просветления...

Каиров стиснул виски ладонями, голова раскалывалась и без вина. Он поднялся. Медленно подошел к двери, погасил свет, щелкнув выключателем, и вышел в коридор.

Дверь в туалет была распахнута. В коридоре пахло хлоркой и аммиаком, и слышно было, как журчит вода, заполняя бачок.

«Кто из врачей дежурит сегодня в милиции?» — подумал Каиров, но вспомнить не смог.

Доктор Челни сидел за столом в сером двубортном

пиджаке, белой накрахмаленной рубашке, при галстуке цвета морской волны. Перед ним на газете пыхтел никелированный чайник, на блюдцах стояли две чашки, высокие, темно-бордовые, с золотой каемкой, а ручки у них были такие тонкие, такие изящные, что боязно было притронуться. В маленьких белых розетках лежало варенье. И на розетках были нарисованы мелкие цветы. Каиров различал зто ясно.

Челни виновато сказал:

— Я совсем забыл про вишневое варенье. Но зто из персиков, — он показал на среднюю розетку, — необыкновенно ароматное. Я бы сказал, нектар.

Каиров па какое-то время закрыл ладонью глаза. Ему показалось, что он спит стоя. Не отнимая ладони, он глухо проговорил:

— Я пришел за таблеткой, Семен Семенович. Пожалуйста, как в прошлый раз. Тогда головная боль прошла быстро и усталость вместе с ней тоже.

— Кофеин, — засуетился Челни, семенящей походкой подошел к шкафу, растворил дверки, выдвинул верхний ящик. — Вот.

Он вынул из бумажного пакетика белую таблетку.

— Запьете чаем. При содействии горячей воды она быстро растворится в организме. Через три-пять минут вы почувствуете облегчение. Садитесь, Мирзо Иванович.

Челни подвинул к нему чашку и налил в нее чай.

Каиров понял, что он не спит, а только очень устал. И не дело и не время удивляться по поводу такого пустяка, как накрытый для чая стол.

— Сегодня спокойная ночь, — сказал Челни, может, просто для того, чтобы начать разговор.

— Ночь и должна быть спокойной. Так задумано природой. К сожалению, пе все задуманное осуществимо.

— Потому что мир вещей существует вне нашего сознания...

— И каждая вещь в себе принципиально непознаваема.

— Вы читали Канта, Мирзо Иванович!

— Когда в пятнадцатом году я сидел в Екатеринодаре в политическом изоляторе, у меня было время и на чтени°, и на раздумья...

— Вам не кажется, что Кант сильно страшился будущего? И только потому хотел примирить идеализм с материализмом.

— Красивые домыслы, Семен Семенович. Кант путал божий дар с яичницей.

Челни иронически улыбнулся:

— Так просто.

— И вульгарно. Подумали, но не сказали. — Каиров поставил пустую чашку на блюдце и отодвинул от себя. — Правильно подумали. Правильно... Но я не буду оправдываться, напоминать, что в сутках двадцать четыре часа. И у меня нет времени на философию Канта, рыбную ловлю и домино. Даже если бы к суткам добавили три часа или пять, все равно я не стал бы заниматься Кантом. У меня другая задача. Борьба с преступностью. Вот на эту тему я готов говорить с увлечением, как юноша с любимой. А четыре антиномии Канта лучше оставить философам. Хотя одна из них весьма любопытна.

Челни:

— Положение: в мире существуют свободные причины. Противоположение: нет никакой свободы, а все есть необходимость. Вы имели в виду это?

— Семен Семенович... Вы угадали. И я могу раскрыть вам тайну. Я сторонник противоположения. Все в жизни порождается необходимостью. Вот почему в основе преступности прежде всего лежат социальные корни.

— Да, — сказал Челни. — Но и наследственные. И религиозные... Я последним несколько интересовался. Не знаю, известно ли вам, что в начале девятнадцатого века в Индии было раскрыто древнее религиозное общество фансегаров, или, как они называли себя, «братьев доброго дела». Братья поклонялись некоему божеству Бохвани, самыми желанными приношениями для которого были человеческие жизни. Формула в основе лежала весьма примитивная: блага на том свете находятся в пропорциональной зависимости от количества жертв, принесенных божеству.

— Занятно, — согласился Каиров.

— В религии многое идет от плутовства, от шулерства. Не случайно отмечал Вольтер, что религия произошла от встречи дурака с обманщиком.

Каиров засмеялся:

— С вами беседовать одно удовольствие.

Голова больше не болела. После таблетки, после выпитого чая была бодрость, которую, казалось бы, способен вернуть лишь крепкий сон.

Уже у дверей Каиров обернулся, внимательно посмотрел на Челни:

— Семен Семенович, только честно, вы не умеете читать чужие мысли на расстоянии?

— Мне бы так хотелось соврать, сказать «да».

— Тогда откуда это? — Каиров показал рукой на стол. — Чай, варенье... Розетки.

— Жена. Все жена... Настояла, чтобы на дежурстве при мне был горячий чай, варенье...

— Это у вас вторая жена?

— Да... — грустно ответил доктор. — Моя первая жена умерла в Одессе. От брюшного тифа. Я девять лет был верен ее памяти...

— Извините меня, Семен Семенович.

— Нет, нет... Минутку. Позвольте, я закончу свою мысль. Так вот. Вскипятив чай, я увидел из этого окна, что ваша машина стоит у подъезда. Я понял, вы здесь. И решил пригласить вас на чай. Однако вы опередили меня, словно прочитали мои мысли.

— Ловко вы это повернули. Вам надо бросить медицину и заняться адвокатской практикой.

— Возможно, вы правы. Возможно, восемнадцатилетним гимназистом я совершил ошибку.

...Каиров вернулся в свой кабинет. Телефон надрывался.

— Слушаю, — сказал Каиров.

— Приезжай, Мирзо Иванович, — сказал уполномоченный ГПУ.

Через минуту машина фыркнула белым дымком, крепко пахнущим бензином, выползла на шоссе и помчалась по городу. Луна висела над крышами. Но небо было не очень темным, а словно выцветшим. Где-то далеко па окраине лаяли собаки. Город спал...

Машина остановилась. Каиров широким шагом вошел в один из подъездов трехэтажного дома, на фасаде которого лепилось много различных вывесок: «Рыбхоз», «Райфо», «Заготскот»... И справа, под пыльной лампочкой: «Уполномоченный ГПУ».

Некоторое время спустя Каиров вышел из подъезда, сел в машину. Бросил шоферу:

— Домой.

Передумал.

— Нет. Сначала в порт.

Спать не хотелось. До сна ли после такого известия: сегодня в 2 часа 47 минут операция «Парижский сапожник» началась.

7

Глубокая ночь. Быстро бегут облака. И луна словно купается в них. Ветер холодит землю. Холодит деревья. Холодит листья. Последние незеленые листья. Он срывает их. Бросает под ноги лошадям.

Шестеро всадников и две лошади без седоков пробираются по узкой размытой дороге, ведущей к дому егеря Воронина. А вот и сам дом. Он стоит на бугре. И его белые стены видны далеко, точно паруса яхты.

Сипло дышат лошади. Цокают копытами о вымытые камни...

Всадники останавливаются в тени раскидистого граба. Спешиваются. Привязывают лошадей.

Один из них, видимо начальник, решительно говорит:

— Обождем минуту. Сейчас туча луну проглотит... Петро остается здесь. Соболев идет к дому Воронина. Мы вчетвером — к даче...

...Анастасии не спится. В комнате душно. Так душно, что не уснуть, даже сбросив одеяло. «Ну и дикая привычка у моих хозяев закрывать на ночь ставни. И не просто закрывать на крючки, а закладывать поленом... Конечно, если всю жизнь прокоптеть здесь, как эти стены, ничто не будет казаться диким. Я зря злюсь. И на старика особенно. Он, конечно, хитрый мужик. Зверь. Да это и понятно — от рождения дела со зверями имел. Не случайно у моей кровати шкура рыси лежит.

Как мне надоело торчать в этой дыре. И отец... Чем он занимается? За два месяца я видела его всего один раз. И зачем он здесь? Где же обещанный Париж и вилла в Плезансе? «Обожди, дочка, скоро Кубань будет свободной». Говорит, а по голосу чувствуется, что и сам не верит. «Я собой не распоряжаюсь!» Кто же им распоряжается? Борец за идею. Не хочет ли он объявить себя императором Кубани? Интересно, как чувствуют себя дочери императоров? Им все можно или не все?

А ставни я попробую открыть».

Анастасия опускает ноги на ворсистую шкуру. Ощупью находит чувяки. Крадучись добирается до окна.

Засов — толстое, обтесанное полено — поддается с трудом. Девушка напрягает силы... Есть! Прислонила засов к стене. Распахнула створки ставней. Повернула задвижку. Форточка откинулась вправо. Вот он, свежий воздух. Как легко дышится! И приятно, точно в жаркий день утоляешь жажду.

Аполлон! Он смотрел на меня, словно я редкий минерал. «Вы не похожи на здешних девушек». А на Клеопатру я похожа?

Чужие шаги врываются в тихое бормотание ветра. Кто-то идет к дому. Шум... И выстрелы. Один, второй, третий... Злобная ругань...

Чья-то фигура метнулась мимо окна, исчезла в кустах за забором. Потом другой человек кричал:

— Стой!

И палил из пистолета...

В доме Воронина произвели обыск. Ничего подозрительного не нашли. Но главный — в серой каракулевой папахе, в длиннющей кавалерийской шинели, как положено, с раструбами на рукавах, в пахнущих сапожным кремом сапогах с блестящими шпорами, которые время от времени позвякивали, с пистолетом в руке и шашкой на боку — говорил Воронину:

— Как же ты недоглядел? На каком таком основании беляков пригрел?

— Геологами они назвались. Справки показывали, — оправдывался Воронин.

— Справки... Бандиты они, а не геологи. Шайку сюда создавать приехали. Забрать тебя, дед, нужно.

— Что же я? Я документам Советской власти верю. Бумага печатями пропечатана. — Воронин говорил неторопливо. И в голосе не чувствовалось волнения. Вот только глаза недобро горели, как у зверя.

Главный удобно сел на стул. Свернул папироску. Прикурил от лампы. Сказал:

— Фамилия ваша Воронин?

— Она самая.

— Поскольку одному из бандитов удалось скрыться, — продолжал главный, — и он представляет опасность для населения, точно голодный волк, вы, товарищ Воронин, должны нам помочь.

Егерь понимающе кивнул.

— Что вы знаете о сбежавшем бандите?

— Зовут его Аполлоном. Роста высокого. Волосы

светлые. Молодой. Лет тридцать будет... Веселый. Всегда песенки напевал... Происхождения высокого. Про отца сказывал, что тот к самому князю Кириллу близок был... Больше ничего не знаю.

— Бдительности у тебя, отец, нет... Не пролетарской закалки ты человек... Да ладно... Из этих мест бандит далеко не уйдет...

— Из этих мест можно уйти в самую Турцию, — скептически возразил Воронин.

— Если знать дорогу, — многозначительно заметил главный. — Так вот, Воронин, коли бандитский Аполлон появится в ваших местах, постарайтесь задержать его силой или хитростью. И сообщите к нам в кавалерийский отряд или в отделение милиции.

Через четверть часа кавалеристы покинули хутор Воронина. Шестеро с карабинами. И между ними профессор и Меружан — руки связаны за спиной.

Луна по-прежнему купается в облаках. Только облака стали больше и плотнее.

Где-то воют шакалы...

Прибывает ветер. Кажется, днем опять польет дождь.

Кавалеристы останавливаются подле граба. Приветливо ржут лошади. Главный поворачивается и смотрит на белый, словно бумажный, дом Воронина. Потом решительно достает нож... и разрезает веревки, стягивающие руки профессора и Меружана.

— Мы вас не сильно помяли, товарищи?

«Профессор» шевелит затекшими кистями рук.

Меружан говорит:

— И холостым выстрелом можно запалить волосы, если стрелять прямо в чуб.

— Это Боря Кнут перестарался, — говорит главный.

Кавалеристы негромко смеются.

— По коням!

Осторожно ступают кони. Постукивают о камни копытами.

Восемь всадников скрываются в ночи...

8

Пуговиц двадцать штук. Маленьких, перламутровых, сидящих одна возле другой. Они удлиняют платье Варвары, и без того длинной и тонкой женщины. И платье зеленое, и глаза зеленые. И волосы, густые, спадающие

на плечи, тоже какого-то зеленоватого отлива. Но в этом не следует винить Варвару. Она хотела сделать локоны золотистыми. Но заграничные химикаты даже в их парикмахерской, лучшей в городе, где все вывески и объявления пишутся на двух языках, русском и английском, даже в их парикмахерской эти химикаты давали иногда самые неожиданные результаты.

Варвара меняет иголку. Опускает мембрану на черный диск пластинки. Игриво улыбается гостям. Левка пыжится. Распрямляет грудь. Приглашает Варвару. Она кладет руку на его плечо. Чуть наклоняет голову. Волосы дождем сыплются на Левкину щеку, попадают на губы. Левка доволен, как кот, вылакавший сметану.

Граф Бокалов в небрежной позе развалился на диване.

Варвара на семь лет старше Левки. И вдруг любовь...

Бокалов немножко выпил. Коньячку. Граф либо совсем не пьет, либо пьет очень мало. Левка и Варвара накурились американских сигарет. В комнате плавают круги белого сладковатого дыма.

Иголка чуть дерет пластинку. Вероятно, пластинка заиграна. Певец томно поет:

Листья падают с клена,
Значит, кончилось лето.
И под сумрачным небом
Стоят дома.

Варвара не парикмахер. Она маникюрша. В женском зале. У нее пухлые губы. Яркие, как конфетная обертка. И может, оттого, что она сама худая, а губы пухлые и глаза широкие, точно спичечные коробки, нос на лице незаметен. Он у нее маленький, с горбинкой. И ноздри хищные...

Утомленное солнце
Нежно с морем прощалось.
В этот час ты призналась,
Что нет любви.

— Ой, мальчишки, — говорит Варвара, когда они возвращаются к столу. — Сегодня до обеда случай был. Умора! Приходит такой месье. Костюмчик — обомрешь... И цвета, сказать не могу какого. И синий, и серый. Одним словом, Париж! Садится за мой столик. Лопочет что-то по-французски. На ногти показывает. Делаю ему ма-

никюр. Сама, как требуется, улыбаюсь глазами. Он... интересный. Песенку мурлычет. Пальцами в пузырьки с лаком тыкает, насчет цвета указания дает. Обслужила его по первому классу. Ногтями любуется. Доволен. И опять что-то говорит по-французски. Я ему в ответ улыбаюсь и киваю головой. Приличия ради. Он еще в больший раж входит. «О! О!» — кричит. А потом берет, паразит, разувается. И потные свои лапы кладет на мой венский столик. У меня глаза на лоб. Я к заведующей... Но Полина Абрамовна только на немецком языке разговаривает и на английском... Кроме русского, разумеется... Кое-как она ему разъяснила, что педикюр не делаем. Он опять: «О! О!» — кричит. Только не радостно. Потом хлопает себя по кумполу. И достает из кармана два флакона парижских духов. Смотрите, как оригинально сделано...

— Эйфелева башня, — поясняет Бокалов.

— А ты откуда знаешь? — удивляется Варвара.

— Граф все знает, — авторитетно заявляет Левка Сивый.

— А запах! Настоящая роза! — восхищается Варвара. — Вот понюхайте.

Граф вдыхает аромат парижских духов. Спрашивает:

— Чем все кончилось?

— Ах! Чего ради французских духов не сделаешь! — призналась Варвара. — Да и Полина Абрамовна поддержала. Говорит, не расстраивайся, Варечка, педикюр — это тоже работа.

— Выпьем за педикюр! — предложил Граф.

— И за любовь тоже, — сказал Левка.

— Нет! За работу и педикюр. За француза и торгсин, что в переводе на русский язык означает торговлю с иностранцами.

— А не взять ли нам торгсин? — предложил Левка, морщась от лимона.

— При такой охране... Нереально, — ответил Граф.

— Можно продумать...

— Нереально.

Варвара поддержала Графа:

— Не зарься на государственный карман, Лева. Разве ты больше не любишь меня?

— Люблю, — сказал Лева.

— И я тебя люблю... Мальчики, — Варвара понизила голос до шепота, — есть одна квартира на примете. Про-

валиться мне на этом месте, если вы не поимеете там вшей.

— Что в переводе на русский язык означает золото, — весело заметил Левка.

Варвара встала и, не ожидая ответа, подошла к патефону. Стала крутить ручку.

— Нужно обмозговать. И все взвесить, — осторожно сказал Граф, которому Каиров строго-настрого запретил принимать поспешные решения.

— Что за квартира? — спросил Сивый.

Варвара поманила ребят пальцем к окну. Выключила свет и раздвинула штору. Напротив, в густом вечернем сумраке, висели окна пятиэтажного дома.

— Считайте. Четвертый этаж, шестое окно с того края. Темное. Там никогда не горит свет... Хозяйка квартиры интеллигентная старушенция. Я еще девчонкой запомнила ее. У нее был муж. И двое сыновей. Все белые офицеры. Муж, кажется, погиб, когда красные входили в город. А сыновья бежали с Кутеповым... Я второй год наблюдаю за ней. Головой ручаюсь, есть у нее золотишко. А может, и не только золотишко. И мне представляется, что она не посмеет заявить в милицию.

Комната, в которой происходил разговор, была достаточно большой, но загромождена мебелью, высокой, темной, с резным орнаментом по дубу. Стол расплющился в центре на толстых, как тумбы, ножках. Полукресла, обшитые красным плюшем, стояли вдоль стола и справа и слева от двери, скрытой желто-золотистой портьерой.

Вместе со старой матерью Варвара занимала комнату, просторную прихожую и кухню. И хотя это нельзя было называть отдельной квартирой — туалет находился на другой стороне лестничной площадки, — все равно жилье очень устраивало Варвару и ее мать. Здесь не было любопытных соседок, споров и склок на кухне...

Эта удобная комната осталась им в наследство от деда, известного в прошлом ювелира. Когда-то дед имел свою мастерскую с громадной розовой вывеской на Садовой улице и трех помощников. С оборотом в несколько сот тысяч. Его клиентами были жены самых богатых и уважаемых людей в городе. Дворники и мелкие ремесленники кланялись ему в пояс.

В июле 1903 года прибыла на гастроли в город группа артистов из Екатеринодара. Приехала деньжонок подзаработать, в море покупаться. Выступали артисты в лет-

нем театре на голубой эстраде, сделанной в форме раковины. И была там среди прочих примадонн, одна такая, цыганистая. Роза Примак. Молодая, лет девятнадцати. Песни душевно исполняла. И особенно «Очи черные». Бывало, заведет:

По обычаю петербургскому,
По обычаю древнерусскому...
Нам нельзя никак без шампанского
И без табора без цыганского...

Как аплодировали, как на «бис» вызывали! Что там цветы — лавочники кошельки бросали...

Люди говорят: седина в голову, а бес в ребро. Влюбился ювелир в певичку. Стыдно признаться, светлячков с нею ночью в парке ловил, со скамейки прыгал, будто дочери его не двадцать лет было, а только двадцать месяцев.

За один сезон Роза разорила деда. И плаксивой осенью убыла в Екатеринодар вместе с труппой. А дед, лишившись сразу всего — мастерской, честного имени, — снял вот эту комнату с широкой прихожей.

Он много пил. Напившись, буйствовал. На какие средства жил, никто не знал. Полиция подозревала его в связях с контрабандистами. Вполне возможно, что филеры не ошибались. Знания деда по части золота и драгоценностей могли пригодиться молодым и ловким контрабандистам.

Осенью восемнадцатого года деда зарезанного нашли на камнях в ближайшей гавани. Что занесло его на эти громадные бетонные глыбы, в беспорядке лежавшие друг на друге, куда лишь иногда наведывались любители рыболовы, остается загадкой. Известно совершенно достоверно: дед никогда рыбалкой не увлекался. И все местные «мокрушники» были его друзьями.

С того самого дня в комнате деда поселились Варвара и ее мать.

Граф познакомился с Варварой год назад. В то время ее мужа, технолога мясокомбината, посадили за групповое хищение... И Варвара вернулась к занятию, освоенному еще в годы ранней юности. Она стала наводчицей. И теперь сама искала связи с жульем.

Работая маникюршей, она легко знакомилась с клиентами. И наиболее интересным из них вполголоса рассказывала, что у нее старушка мать на руках и что после

работы она обслуживает часть клиенток на дому. В ее распоряжении всегда имелось десятка два адресов с планами квартир и примерной стоимостью «улова».

— Торопиться не надо, — повторил Граф, возвращаясь к дивану. — Пусть Варя планчик сработает. Мы должны быть особенно осторожными...

9

Вечером Каирову, когда он после ужина читал газету, позвонила Нелли. По взволнованному голосу своей секретарши он догадался — произошло что-то серьезное. Она просила о встрече. О немедленной встрече.

Каиров велел ей прийти к нему домой.

Жена, убиравшая со стола, сказала:

— Мирзо, ты посмотри, что творится за окном. Дождь, тьма. И ни одного фонаря на нашей улице. Ты бы встретил Нелли. Девушке неловко одной...

Жена Каирова — полная, красивая армянка с седеющими волосами, стянутыми в тугой узел, принесла плащ.

— Нелли — смелый человек, — сказал Каиров, которому не хотелось выходить из теплой комнаты, такой уютной и светлой.

— Мирзо — старый человек, — насмешливо заметила жена.

Каиров вздохнул, поднял вверх руки, потом развел их в стороны, будто вспоминая гимнастическое упражнение. Он теперь ежедневно занимался гимнастикой. Доктор Челни как-то выслушал его тщательно и вынес приговор:

— Ежедневная гимнастика или ожирение сердца.

Надев плащ, Каиров долго возился с капюшоном. Капюшон сползал на глаза, и его пришлось зашпилить булавкой.

Переложив в карман плаща пистолет и зажав в руке английский фонарик — трубку коричневого цвета, — Каиров вышел на крыльцо. Свет от окна падал на ступеньки и на часть дорожки, выложенной плоским камнем.

Батарейки были редкостью, и Каиров решил пройти до калитки, не включая фонарика.

Дождь лил не ливневый, а мелкий обыкновенный осенний дождь, который не кончался неделями. И ветер метался. И шумело море...

Вдруг Каиров различил человеческую фигуру, копо-

шащуюся у забора. Правая рука машинально скользнула в карман за пистолетом.

— Мирзо Иванович, батенька, — услышал он голос доктора Челни. — Я потерял галошу...

— О боже! — удивился Каиров. — Ему не спится и в дождь...

— Я составил оригинальную задачу. Белые начинают и делают мат в четыре хода... — сказал доктор Челни.

Вероятно, доктор споткнулся, потому что галоша соскочила на плите, где и грязи-то не было. Да и соскочила недавно... Когда Каиров включил фонарик, лиловая подкладка галоши еще была сухой...

— Хорошо, — сказал Каиров. — Пройдите в дом... Аршалуз обсушит вас и напоит чаем. А я через четверть часа вернусь...

— Спасибо, Мирзо Иванович. Я ведь тоже лишь на минутку.

Улица, виляя, спускалась к шоссе, с которого открывался вид на порт. Порт лежал внизу, под горой. И пристани, обозначенные желтыми точками огней, и зеленые и красные огоньки над выходом в море, и корабли, стоящие у причалов, со светлыми прорезями палуб — все это было знакомо Каирову, как собственная квартира. Сейчас справа покажется маяк — домик, похожий на пчелиный улей. Он стоит на белой треноге высотою с большой тополь. И светит нежно, фиолетово. Выше, на горе, есть еще один точно такой же маяк. Маяки — поводыри капитанов кораблей, приходящих в порт ночью. Огни обоих маяков должвы совместиться. Это будет означать, что курс правильный.

Выйдя на шоссе, Каиров огляделся. Из города, разгоняя тьму метлами света, полз автобус. Когда автобус подошел, Каиров увидел Нелли. Она стояла у выхода, прижимая к груди черную сумочку.

— Мирзо Иванович, у меня в квартире что-то искали, — сразу же сказала она.

— Обыск? Кто давал разрешение?

— Это не обыск. И не кража. Это совсем другое... Перерыты все вещи Геннадия...

Каиров вспомнил, что за несколько дней до своей гибели Мироненко переселился к Нелли.

— Что же они могли искать?

— Плакаты, — сказала Нелли. — К счастью, я со-

бралась перепечатать записи и взяла сегодня плакаты на работу...

— Ты их читала?

— Да.

— Что-нибудь серьезное?

— У Геннадия были подозрения, но он не доверял их бумаге...

— Плакаты с собой?

— Да.

Она открыла сумочку и вынула из нее бумажный сверток.

Каиров спрятал его под плащ.

— Я боюсь возвращаться домой.

— Придется, Нелли. Я сейчас позвоню оперативному дежурному, чтобы прислали сотрудников с собакой. Может, собака возьмет след. Или нам удастся заполучить отпечатки пальцев.

Когда Каиров пришел домой, доктор Челни пил чай и рассказывал Аршалуз какую-то веселую историю. Каиров отдал распоряжение по телефону. Челни спросил:

— Займемся задачкой, Мирзо Иванович?

— У меня задачка посложнее, — буркнул Каиров и заперся в кабинете.

Доктор Челни поболтал с Аршалуз еще четверть часа и вежливо откланялся.

Каиров стал смотреть записи. Записи не в тетради, не в блокноте, а на оборотной стороне плакатов. На плакатах была нарисована физкультурница, метающая диск. Рослая, красивая девушка. Она улыбалась. Где-то на втором плане целился из ружья стрелок, стартовали бегуны, мчались мотоциклисты. Ниже белели стихи.

Работать, строить
и не ныть!
Нам к новой жизни
путь указан.
Атлетом можешь
ты не быть,
Но физкультурником —
обязан.

Знакомые плакаты. Всего три...

Плакат первый

Луна лежала поперек моря. Длинная, серебристая. Она рассекала его надвое — от берега до горизонта. Волны

мягко накатывались и отступали, словно тая, незаметно, с тихим, клокочущим шепотом.

Колченогий шезлонг, беспризорный, забытый отдыхающими, приткнулся к зонту. Круглый, будто дыня, камень заменял ему обломанную ножку. Я присел, твердо решив разуться. Сапоги у меня брезентовые, узкие. Стащить их не так просто. Клок парусины свисал над реей. Я поднял глаза кверху и увидел дырку, залатанную небом и звездами. Перевернутый баркас, темневший метрах в пятнадцати, заслонял огни города. И море казалось мне большим. Я видел все это впервые. И длинную пристань, и маяки, словно цветы, у входа в порт...

Со стороны города послышались шарканье шагов и негромкие мужские голоса. Двое остановились по ту сторону баркаса.

Черный буксир, входя в порт, обрадовался таким пронзительным гудком, что я невольно вздрогнул. Буксир — маленький и низкий, но габариты баржи, которую он тащил, внушали уважение. Словно муравей, он старательно волочил свою ношу. Слабый, мутноватый прожектор щупал воду. Белесая в ночи дымка изгибалась над трубой, будто парус. Буксир развернулся и пошел к пристани...

Мне почему-то стало радостно. Просто по-человечески — и все... Хорошо, что я приехал в этот город, где пахнет рыбой и нефтью, где растут магнолии и крошечные буксиры таскают баржи-великаны. И может, совсем зря мне не понравился Волгин, дежурный по отделению, небритый и заспанный, который с лабораторной тщательностью исследовал мои документы и в завершение предложил на ночь диван в комнате угрозыска. Облезлый, с двумя горбами, почище верблюжьих, в котором, наверное, столько клопов, что и до утра не сосчитать.

За баркасом кто-то застонал, почти вскрикнул. Секунду спустя что-то с глухим стуком подмяло гальку... Нет ничего хуже, чем быть застигнутым врасплох. Истина древняя, как сама жизнь. И тем не менее каждый открывает ее заново. Меня словно подбросило. Однако бежать в лишь наполовину снятом сапоге оказалось не очень ловко. Я запрыгал, потом, ругаясь, опустился на камни, стащил сапог обеими руками.

Человек лежал лицом вниз. Я осветил его фонариком. Крови почти не было. Только на затылке короткие, как щетка, волосы казались смоченными чем-то темным.

У пристани дрожали огни. Там должны быть люди. Я поспешил... Близ причала какой-то человек шпаклевал лодку.

— Слушай, товарищ, — сказал я, — нужно позвонить в милицию. Случилось убийство...

Человек выпрямился, подозрительно сдвинул брови. Я включил фонарик. Человек вздрогнул и замахнулся на меня веслом.

— Полегче, — успел сказать я и вцепился в весло. — Брось дурить... Где ближайший телефон?

Опустив руки, он недоверчиво спросил:

— Вправду говоришь... убийство?

Он был немолод. Лет шестьдесят. Лицо морщинистое. Под лохматыми ресницами зоркие, как у птицы, глаза.

— Милиционер... Сейчас будет милиционер...

Он поднял с камней кепку и, сутулясь, пошел к пристани...

Вернулся с милиционером. Худым и длинным, как каланча. Осмотрев труп, милиционер сказал мне:

— Вы задержаны.

— Мне нужно обуться, — сказал я. — Мои сапоги там...

— Ничего не знаю, — сказал милиционер, расстегивая кобуру. — Вам лучше постоять... Следствие разберется.

Постоять так постоять. Только вот камни влажные, словно вспотели от страха. Это ложится роса. И чайки кричат громко и тревожно, будто не могут отыскать свои гнезда.

Подкатил новый, блестящий черным лаком ГАЗ-А. Два оперативных работника и врач, все в штатском, спустились к баркасу.

Вспышка магния — желтая клякса — легла на кусок берега. Щелкнул затвор фотоаппарата. Труп перевернули. Из кармана выпал бумажник. Оперативники не торопясь разглядывали его содержимое.

Я сказал милиционеру, что пойду обуюсь. Он кивнул, но тут же, спохватившись, шепнул:

— Кузьмич, иди с ним...

Кузьмич, тот самый лодочник, что едва не огрел меня веслом, с явной неохотой поплелся за мной.

— Сам-то не из ближних краев? — спросил он.

— С дальних.

— Брюхо рыбу чует. Публики нынешнее лето пона-

ехало. Только рыба не дура. Такого паршивого клева пятнадцать лет не было.

Никогда сапоги не казались мне такими легкими и удобными. Кузьмич не отставал, будто тень.

У баркаса никто не обратил на меня внимания. Невысокий оперативник, видимо, возглавлявший группу, спросил:

— Как вы полагаете, доктор, когда произошло убийство?

— В двадцать часов семнадцать минут, — ответил я.

Все с удивлением посмотрели в мою сторону.

— Документы, — потребовал невысокий оперативник.

Я расстегнул нагрудный карман гимнастерки, в котором лежало заверенное подписями и печатью мое назначение на должность начальника уголовного розыска.

...В бумажнике убитого оказались паспорт на имя Бабляка Федора Остаповича, справка о прививке оспы, тридцать рублей и билет на поезд со станции Курганная. Билет двухнедельной давности.

Мокрая фотография Бабляка прилипла к газете, и потеки, словно плесень, расползались по ее краям. Репродукция была сделана с паспортного фото. Широкий хрящеватый нос, казалось, занимал большую часть сходящего на клин лица. Темные черточки глаз, открытый, средних размеров лоб, волосы короткие, зачесаны наверх. Лицо как лицо... Словом, это была одна из тех неудачных фотографий, по которым мало что можно узнать о человеке.

Ночь кончалась. Я выключил свет, и окно отпрыгнуло назад. В кабинете душно. Распахиваю раму и сажусь на подоконник. Отсюда, со второго этажа, видна часть улицы, подпирающей круглую, как блюдце, площадь. Верещат птицы. В воздухе настоянный запах осени. Где-то вдалеке скрипит телега. Вскоре она выползает из-за дома и катит к площади. На телеге бидоны с молоком. Рядом шагает возница. Я узнал его по кепке-шестиклинке. Видимо, почувствовав на себе взгляд, он поднял голову. Опознал меня. И дружески приветствовал взмахом руки. Это был Кузьмич. Тот самый, с пристани...

Кто-то вошел. В кабинете было темнее, чем на улице, и я не мог различить, кто вошел. Щелкнул выключатель. У стены стоял мужчина с непроницаемым, как икона, лицом. Он положил на тумбочку рулон, который развернулся. Девушка в спортивном трико смотрела на меня с плаката. Она улыбалась и замахивалась диском.

Мужчина сказал:

— Каиров.

Вот он какой, начальник городского отделения милиции. Я представился. Бросив взгляд на стол, где высыхало фото Бабляка, Каиров спросил:

— В чем дело? Убийство?

— Да... Девять часов назад... Его фамилия Бабляк, — сказал я. — Это ничего не говорит вам?

— Первый раз слышу, — быстро ответил Каиров.

Он вызвал дежурного и назначил служебное совещание на восемь тридцать...

Я, кажется, уснул. Разбудила секретарь-машинистка. Я видел ее еще вчера. Она тронула меня за плечо:

— Скорее в кабинет Каирова.

— Как вас зовут? — спросил я.

— Нелли...

Ей лет двадцать. У нее каштановые, совершенно прямые волосы и загорелое скуластое лицо. Походка угловатая, мальчишеская.

— Я хочу коротко проинформировать вас, — начал Каиров, — о совещании, которое проводил начальник ОГПУ Северокавказского края.

Обстановка на Кубани напряженная. Борьба с кулаками вызвала известные временные осложнения. На реке Малой Лабе, в окрестностях заповедника орудует банда одного из царских полковников. Фамилия его точно неизвестна. Скрывается он под кличкой Козяк. Людей в банде немного. Триста-четыреста. Но они отлично вооружены. Кто-то регулярно снабжает их боеприпасами. Есть сведения, что боеприпасы поступают через наш порт.

Плакат второй

Октябрь выдался теплым. И листья на деревьях еще держались; они были серые от пыли и немного желтые от старости, но ветры, дующие с моря от берегов Турции, еще не могли сбить их. Листья держались до ноября, до тех пор, пока норд-ост, развернувшись в Новороссийске, не устремился к югу и желтая его дорога не протянулась до самого Батуми.

Я снял комнату у полной особы, которая уверяла, что двадцать лет назад у нее была осиная, самая тонкая талия на всем побережье Северного Кавказа. Когда я при-

шел к ней, хозяйка спешила на концерт. Она была пианисткой.

— У вас современный вид, — сказала она. — Вы не спали и не брились по меньшей мере трое суток. Я не вижу причин, чтобы не уступить вам комнату. Судя по всему, вы ответственный работник.

— Я из угрозыска.

— В наше время такой квартирант — просто находка. Я возьму с вас вдвое дешевле.

Комната мне понравилась. Дом стоял на горе. Из окон, выходивших в маленький розарий, было видно море, порт, пристань... Но акация, что росла за соседним домом, густой кроной, точно пологом, закрывала то место на берегу, где в теплую сентябрьскую ночь произошло неразгаданное убийство. Я чувствовал, что другой, более опытный человек разобрался бы в этом деле. Вероятно, тогда на парткоме следовало проявить большую принципиальность и отказаться от неожиданного назначения.

Тяжеловато. И Каиров — человек трудный, настойчивый. Я признаю за ним силу воли. Но во многом не понимаю его...

Однажды Нелли, я и Каиров шли обедать. Был полдень. И солнце грело вполне. Цыганка в пестрых юбках сидела у входа в отделение. Это было не очень умно со стороны цыганки — усесться в таком месте, да еще, схватив Каирова за полу пиджака, нараспев сказать:

— Позолоти ручку, черноглазый. Как звать, скажу. Счастье угадаю...

Она, конечно, не знала, кто такой Каиров. И нахальничала, как с самым рядовым прохожим.

— Филиппов!

Милиционер появился на пороге.

— Проверь документы, — бросил Каиров, указывая на цыганку.

— Откуда они у нее? От сырости? — лениво сказал Филиппов.

Каиров предупредил:

— Не отпускать до моего прихода.

Потом цыганку выпустили. И может, не стоило бы это вспоминать... Но в общении Каирова с людьми есть что-то панское. Я не понимаю, откуда это взялось у старого партийца. Возможно, виною возраст. Возможно, просто старый человек думает, что он самый умный, что он никогда не ошибается. Конечно, люди в пожилом возрасте

бывают мудрые. Но и молодой, и средний возраст не состоит из одних дураков...

Нелли разделяет мою точку зрения...

Я нарочно избегал писать о Нелли. Но, видно, наступила пора сказать о ней сразу...

Это очень сложно рассказывать. Кто думает, что писать о любви проще пареной репы, тот либо никогда не любил, либо это было у него лет пятьдесят назад. Срок простительный, внушающий понимание.

Дело в том, что в феврале девятнадцатого года я женился на военфельдшере Тамаре Исаковой. Мне было девятнадцать лет, моей жене и того меньше. Свадьба случилась на фронте. Мы пили горилку из темных эмалированных кружек, закусывали квашеной капустой...

Я не верю в то, что есть песни, которые задумывались без души, без веры в их нужность, в их будущность. Но почему же тогда бывают плохие песни?

Кажется, именно взаимное непонимание, возникшее между мной и Тамарой в последние годы, побудило меня уехать из Ростова.

Обстоятельства сближают людей. Это не ново. Но верно. И многое кажется значимей и желанней, чем оно могло бы казаться в другое время.

Нелли я увидел в первый день, когда сидел у Волгина. Волгин вертел мои документы, а в соседней комнате стучала пишущая машинка. Потом машинка перестала стучать, а из комнаты вышла девушка. Она быстро взглянула на меня и сказала: «Здравствуйте». Я сказал: «Добрый вечер». Но девушка уже положила ключи на стол и ушла. И в дежурке опять стало нерадостно и дымно...

Кабинеты наши были напротив, и я встречал Нелли в коридоре. Я улыбался, ее же лицо не выражало никаких эмоций. Она всегда к кому-то торопилась с зеленой папкой в руках, а когда работала за машинкой, надевала очки. Раз или два в день она заходила в мой кабинет с поручениями от Каирова. И скоро я понял, что мне приятно видеть ее упрямые глаза и короткие, словно у мальчишки, волосы.

В воскресенье меня разбудили на рассвете. Посыльный сказал, что ограблен торгсин. Мы долго возились с этим делом. Только к трем часам дня я закончил диктовать Нелли протокол допроса сторожа, которого мы нашли в кладовой целым и невредимым, завернутым в ковер.

Из отделения вышли вдвоем. Поднялись к площади, где под мимозой дремал милиционер в белых перчатках.

Купили каштанов. Старый грек, насыпая каштаны в банку, бормотал:

— Каштаны печеные, каштаны вареные... Лучше пирожного, лучше мороженого... Разобрали — не берут!

В единственном в городе кинотеатре шел новый звуковой фильм «Путевка в жизнь». Зрители брали кассы приступом.

Нелли сказала:

— Пойдем в кино.

— Пойдем, — согласился я.

Администратор, посмотрев мое удостоверение, заверила, что обеспечит на последний сеанс двумя приставными стульями.

Чтобы как-то скоротать время, мы пошли к старику Нодару, с которым меня недавно познакомил Каиров.

Сидели в беседке за дощатым столом. Светило солнце, и белые облака бежали на запад. Нелли положила локти на стол, ладонями уперлась в подбородок. Нодар принес обмотанную тряпками бутыль и граненые стаканы.

— Прошлогоднее, — сказал он. — Взгляните, какое ясное...

Нелли усмехнулась. Вино было светло-розовое, ароматное. Старик Нодар добавлял в него инжир, хотя ни за что на свете не хотел в этом сознаться.

Ветер дул из щели. Он был зябким. И желтые виноградные листья падали на стол. И он выглядел почти праздничным. Я поднял бутыль. И налил вино в стаканы.

— Выпей с нами, — сказал я Нодару.

Нодар покачал головой. Он покосился на старый, увитый глицинией дом, вздохнул и негромко пожаловался:

— Скандальная у меня баба. Не женись, кацо!

— У тебя нет такта, Нодар, — лукаво сказала Нелли. — А вдруг я хочу женить его на себе?

— Вай! Вай! — смутился Нодар. — Сохраню на свадьбу бочку вина. Первый сорт! Изабелла...

— Не храни, Нодар... Оно скиснет. К сожалению, личные дела наших сотрудников проходят через мои руки.

— Удобная штука — личное дело, — усмехнулся я. — Человек как на ладони.

— Скука... Неразгаданное лучше. — У нее был твердый, почти жестокий взгляд и строгие, сдвинутые брови, на которые спадала челка прямых волос.

...Мы не торопились, но пришли в кино еще задолго до начала сеанса. Когда поднялись в фойе, Нелли сказала:

— У меня есть боны. Пожуем чего-нибудь...

В торгсиновском буфете лежали узкие баночки шпрот, пирожные, бутерброды из настоящего белого хлеба и зернистой икры, черной и блестящей, точно бусинки. И еще лежали там многие другие приятные вещи, среди них — папиросы «Пушка».

— И «Пушку» возьмем, — сказала Нелли. — Я ведь тоже изредка покуриваю...

— Не нужно тратиться, — остановил я. И, смеясь, добавил: — Насытимся духовной пищей...

В фойе была фотовыставка. На ней экспонировались работы местных любителей. Выставка называлась «Наш город». Несколько морских снимков с густыми низкими облаками были талантливы. Остальные — дрова...

Уже прозвенел звонок, и народ хлынул в зрительный зал. Нелли потянула меня за руку, как вдруг на стенде, что стоял возле самого окна, я увидел фотографию... Фотографию, в которую не мог поверить. Уголок сквера, на заднем плане — пристань. А у фонтана, сделанного в виде маяка, на скамейке сидят двое мужчин. Сидят и курят. Их лица так ясно и четко выделяются на фоне зелени, словно фотограф именно на них наводил резкость. По жестам и мимике лиц было очевидно, что это не просто два случайных человека. Нет, они курили и беседовали. Нелли перехватила мой взгляд.

— Я видела этого человека... Гена, это же тот, которого убили в день твоего приезда.

— Бабляк... Но кто второй?

Я покачал головой. Потом присел и стал разглядывать снимок через лупу...

Третий звонок дрожал над обезлюдевшим фойе. Заглянула билетерша. Она торопила нас.

— Пойдем, — шепнула Нелли. — Не привлекай внимания.

Мы пошли в зал. Но мне было не до кино. Я твердил фамилию фотографа — Саркисян...

Плакат третий

Этот стук извел меня. Он был громким и повторялся через короткие промежутки времени.

«Тяк!.. Тяк!.. Тяк!..»

Я высунул голову из-под одеяла. Посреди комнаты стоял эмалированный таз. С потолка капала вода. Таз, вероятно, принесла хозяйка, потому что за окном лил дождь и было сумрачно. А крыша была совсем как решето. Хозяйка однажды сказала:

— Достали бы мне жести. Вы все можете...

— Не обещаю.

— Вы все можете, — сказала хозяйка. — Если захотите.

— Это другое дело.

Она деланно вздохнула и покачала головой. Что ни говори — дама с манерами. Вот и сейчас я слышу ее шаги на пороге. Она не стучится в дверь, а громко, нараспев говорит:

— Вы еще спите?

— Нет. Плаваю...

— У меня к вам дело, — говорит хозяйка.

Минуту спустя она уже в комнате. Громоздкая, словно шкаф.

— Вы будете иметь возможность беседовать с человеком необыкновенным. — Голос ее звучит, как в бочке.

— Роза Карловна, кто вы по национальности? — спрашиваю я.

— Спросите что-нибудь полегче. Мать моя была гречанка. Отец прибалтийский немец... По паспорту я русская... У вас что, профессиональная манера перебивать говорящего? За месяц я так и не смогла сказать вам то, что могла и хотела. Но на этот раз вы меня выслушаете... Наш сосед — учитель ботаники. Настоящий русский интеллигент. Он всего боится. И только к органам власти питает доверие. К тому же он убежден, что у такой хозяйки, как я, не может быть плохого квартиранта. У него неприятности. Поговорите с ним. Это займет немного времени. А я приготовлю вам воду для бритья...

Над жухлым, худым лицом блестело пенсне. Учитель ботаники протянул мне руку и виновато сказал:

— Чайников.

Путаясь и заикаясь, он рассказал, что этой ночью к нему залезли воры. Очистили шкаф с шерстяными вещами. А дело идет к зиме...

Расследованием кражи в доме Чайникова занялся Волгин. Он обнаружил на шпингалете отпечатки пальцев. Вскоре выяснилось, что отпечатки принадлежат местно-

му жулику по кличке Граф Бокалов. Графа взяли в три часа дня в торгсине, когда он сдавал золотое обручальное кольцо.

Девятнадцатилетний парень, бледный, с глазами наркомана, дурковато произнес:

— Граждане начальники, меня и самого совесть мучит. К старому учителю залез. К человеку, который мне про порядочную жизнь рассказывал...

— Где вещи? — спросил Волгин.

— Какие вещи? — удивился Граф. — Что-то вы тень на плетень наводите. Лучше спросите, из каких побуждений я кодекс уголовный нарушил. Что меня в чужое окно толкнуло? Я отвечу вам, граждане начальники... Жажда знаний! Вы и не ведаете, какая у старика богатая библиотека! При царском режиме собирал!

Болтая в таком духе, Граф Бокалов в течение трех часов утверждал, что забрался к учителю Чайникову с целью выкрасть книгу Лидии Чарской «Паж цесаревны».

Книгу обнаружили при обыске. Исчезновение ее Чайников просто не заметил. И еще в комнате Графа нашли нераспечатанную коробку в английской упаковке.

Потом Графом внезапно заинтересовался сам начальник отделения. Какие планы у Каирова на этот счет — профессиональная тайна. А может, он просто хочет помочь Бокалову порвать с преступным прошлым. Стать на правильный путь...

Я забыл написать о фотографии. Тогда, после сеанса, мы вернулись в фойе. И я снял фотографию, предъявив изумленному директору удостоверение угрозыска. Вообще я заметил, что люди либо удивляются, либо пугаются, столкнувшись с нашим братом. Почему так? Ведь большинство из них хорошие люди...

Сразу пошел в отделение. Показал фотографию Волгину. Он часа два рылся в картотеке. Пришел и говорит:

— Привет от Хмурого. Выходит, что старый валютчик опять объявился в наших краях.

Фотографию увидел Каиров. Он поразил меня своим ответом:

— Хмурый. Поговорите с Саркисяном.

Саркисян — фотограф с базара — точно указал дату съемки:

— Двадцать третье сентября.

— Искать Хмурого. Возможно, он еще в городе, — приказал Каиров.

Вечером Хмурый был опознан сотрудниками уголовного розыска в тот самый момент, когда спокойно прохаживался возле афиши кинофильма «Парижский сапожник».

Я обещал Нелли взять билеты на этот фильм. Но, видимо, с временем я по-прежнему не в ладах.

У Нелли упрямый характер и теплый голос. Я преображаюсь, когда слышу его. Нет нужды делать тайну из того, что мы не можем жить друг без друга... Я и Нелли идем по набережной. Темной и грязной, застроенной пакгаузами, складами, мастерскими. Сегодня вечер с грустинкой, как весною. И звезды. И даже луна... Пахнет морем и нефтью. От запахов кружится голова.

У нас серьезный разговор про высокие материи. Иногда нужно говорить и об этом. Нелли не философ. И я тоже. Говорим, что чувствуем.

— Мы какие-то особенные, — говорит Нелли. — И жизнь у нас особенная... А мне хочется простоты. Вот ты любишь меня, а не знаешь... что я обожаю танцы и мороженое. У меня есть боны. Купим мороженое?

— Время особенное, — повторяю я. — Не надо себя переоценивать. Мы только люди. И выполняем свой долг... Это главное! А потомки разберутся, что мы сделали. Как знать, может, эти улицы именами нашими называть станут...

Мороженое в круглых вафлях. На вафлях имена: «Таня», «Маня», «Ваня»... У Нелли на вафле написано «Гена».

— Твое имя, — говорит она. — Если у нас родится сын, я дам ему это имя в честь тебя...

...Мы возвращаемся домой очень поздно. Зажигаем свет. Уже три дня, как я перебрался в ее компату. Так правильнее. И честнее... Она спит. Или делает вид, что спит...

Хмурый опять вертелся у афиши кино «Парижский сапожник». Кого он ожидал? И почему тот, неизвестный, не пришел на свидание?

— К афише не подходите...

Этот случайно услышанный телефонный разговор...

Нет. Об этом еще рано писать. Надо проверить. Надо тщательно проверить. Семь раз отмерь, один отрежь... Неужели враг действительно так близко? Я вижу его де-

сятки раз в день. Здороваюсь с ним за руку... А может, это мания подозрительности, вызванная усталостью...

На этом записки обрывались.

В полночь Каирову позвонил дежурный по городскому отделению милиции. Он сообщил, что при тщательном осмотре квартиры на стекле книжного шкафа были обнаружены отпечатки пальцев, не принадлежащие хозяйке дома.

Составленную дактилоскопическую формулу по методу Гальтона и Рошера отправили в краевое отделение милиции.

10

Костя Волгин стал Аполлоном Пращуровым не случайно. И раньше ему приходилось менять имя и фамилию. Появляться в занятом деникинцами Екатеринодаре с паспортом турецкого коммерсанта Генриха Боркмана, разгуливать в белогвардейском Симферополе в погонах кавалерийского капитана, забулдыги и циника. Разыгрывать из себя слепого, немого, припадочного...

Но, пожалуй, самой трудной была роль кафешантанного певца в Одессе в 1918 году. Может, потому, что это была первая роль. И трудности набегали, как волны на неумелого пловца. Он пел в кафе у Фанкони. И публика там было пестрая. И весь город был пестрый, оккупированный французами. Негры, зуавы, спекулянты самых различных пошибов, великосветские дамы — бывшие фрейлины и просто легкомысленные девицы дворянского происхождения. И, конечно же, господа офицеры всех возрастов и званий.

В моде была серо-розовая камбала, круглая, как сковорода, и крюшон из белого вина с земляникой.

Волгину удалось завязать знакомство с майором из окружения генерала Шиллинга. Сведения, выуженные у майора, пригодились подпольной организации большевиков...

Года, года...

Только память сейчас походила на кладовую, где далеко не все разложено по своим местам. Многое затерялось. Позабылось... Но не эта встреча. Там, у Фанкони. После концерта к нему подошел светловолосый худоща-

вый человек с удлиненным лицом. Пожал руку. И представился:

— Вертинский.

Каждый одессит знал, что Александр Вертинский гастролирует в Доме артистов. Там еще было кабаре. Настоящее европейское кабаре. С Изой Крамер и Плевицкой...

Жизнь родителей Кости и его близких родственников так или иначе была связана с театром: бабушка — известная костюмерша, мама — драматическая актриса, папа (он умер молодым) писал веселые куплеты и лично исполнял их под фортепьяно. Были среди родственников декораторы, режиссеры, музыканты, суфлеры и один гардеробщик — дядя Кеша, о котором в доме говорили с тихой печалью, будто о скончавшемся младенце. Дядя Кеша не перешел Рубикон. Мало того, подавая театралам шубы, он не брезговал чаевыми. Глаза у него всегда были красными. И кончик носа тоже. Полагают, что не из-за алкоголя, а по природной стыдливости.

Мама и бабушка уверовали, что Костя будет артистом. У мальчика обнаружилась отличная мимика, правильная речь. И притвора он был порядочный. Но бабушка проказы внука определяла как способность к перевоплощению.

Костя родился 2 января 1900 года. Появись на свет лет на пять позже, он, естественно, не стал бы в 1918 году разведчиком Красной Армии. Из него скорее всего получился бы интересный актер. Быть может, даже знаменитый... Однако в 1918 году молодой Советской стране прежде всего нужны были не актеры, а воины.

В мае 1928 года Костя Волгин демобилизовался из армии. Москва. Театральное училище. Седой профессор — старый друг семьи. И Костя. Одежда согласно времени: диагоналевая гимнастерка, хромовые сапоги. На груди два ордена Красного Знамени. Даже шашку еще не снял. Настоящую шашку, взятую у убитого офицера, в чеканной серебряной оправе, с георгиевским темляком.

— Поздно, друг мой, — проникновенно говорит профессор. — В двадцать восемь лет поздно учиться актерскому мастерству. Может быть, режиссура. Попробуйте свои силы в режиссуре. На следующий год мы предполагаем набрать целый режиссерский курс.

Люди, которые не однажды рисковали жизнью, сами не знают, сколько им лет. Каждый раз, когда смерть уже

позади, они чувствуют себя заново рожденными. Будто впервые видят небо, траву, улыбки... И зачем только седеют виски?..

В старом, пропыленном диване Костя нашел растрепанную книгу без начала и без конца. Он так и не узнал название этой книги и ее автора. Одна часть, вероятно вторая, называлась «Под Южным Крестом», последняя — «Магараджа острова Борнео». В книге лихо описывались похождения двух французских авантюристов, схватки с пиратами... И хотя книга была наивной, а приключения надуманными, все равно с пожелтевших страниц дули ветры южных морей. Белыми гривами вздымались брызги над безымянными коралловыми рифами. Грустили высокие пальмы. Кричали непоседливые попугаи...

И Косте вдруг захотелось стать моряком дальнего плавания. Пусть вначале матросом, потом штурманом. А под занавес — и капитаном... Он представлял себя шагающим по набережной Сиднея или Порт-Саида. С сигарой в зубах... Маленькие таверны с диковинными названиями: «Три носорога», «Штопаный парус»... Улыбки смуглых женщин в пестрых узких платьях, подчеркивающих стройность фигуры. Мальчишки, торгующие финиками. И ром... Душистый ямайский ром, так полюбившийся людям Флинта...

Костя подался к Черному морю. Секретарь горкома партии, подвижный для своего возраста мужчина, терпеливо выслушал посетителя. И с не меньшим терпением, осилив с десяток папирос, убедил Костю Волгина, что, принимая во внимание его, Волгина, героическое прошлое, в штате городской милиции он гораздо нужнее, чем на набережной Сиднея или Сингапура...

За пять лет Волгину приходилось сталкиваться с разными феноменами преступного мира. Среди них были и дегенераты, и артисты-эрудиты...

Аполлон Пращуров... Обрадовался ли Костя? Мало сказать — да. Он уже и думать не думал, что когда-нибудь вновь ему придется заучивать роль. Вживаться в образ человека, знакомого ему лишь по легенде. О проведении операции «Парижский сапожник» были проинформированы немногие опытные и надежные люди. Но о том, что главную роль в ней будет исполнять Костя Волгин, во всем городе знал только один Каиров.

Через день после отбытия Кости в полутемном коридоре городского отделения милиции был вывешен приказ:

«Оперуполномоченного К. Волгина считать в командировке в г. Ростов-на-Дону. На курсах повышения квалификации».

11

Трудно представить доподлинно, как произошла их встреча, потому что ни Волгина, ни Козякова сейчас нет в живых. Волгин не успел подробно ознакомить Кравца с ходом операции, когда был у него однажды суматошной ночью.

Можно лишь предположить, что Волгин убедительно рассказал легенду, подготовленную для него Каировым, и полковник Козяков поверил в это. Хотя нет никаких сведений, что характера полковник был доверчивого. Но когда-то Козяков сочувствовал горю молодой вдовы полковника Пращурова, своего друга, погибшего в первой мировой войне. У Пращурова был сын Аполлон. И вероятно, не только Козяков, но и всякий другой человек с трудом мог бы признать в тридцатитрехлетнем мужчине ребенка, которого не видел более двадцати лет.

Пращуровы занимали второй этаж особняка, выходившего лиловым фасадом на набережную Фонтанки. Анфилады комнат, где все — и тяжелые портьеры, и тончайшие тюлевые занавески, и модная венская мебель — источало запах нежных духов, которые так любила мать Аполлона, белокурая немка Берта. Она была тогда молодой женщиной, умеющей томно смотреть и загадочно улыбаться. И глаза у нее были серые, а шея длинная и красивая. И вообще при своем высоком росте Берта отличалась на редкость правильными формами.

Козяков увлекался Бертой. И, как свидетельствовал Аполлон (подлинный, взятый в плен после разгрома Врангеля), мать легко изменяла отцу. И кажется, не только с Козяковым.

Может, сказанное выше в какой-то степени объясняет доверчивость Козякова. Дань молодости. Времени, о котором редко кто вспоминает без грусти...

Возможен такой диалог:

«Если это вы... В чем я не сомневаюсь... То вы очень и очень постарели, — говорит Волгин. — Последний раз... Вы были у нас на обеде. И все жалели, что папа накануне уехал в Киев. Вы принесли большую плюшевую обезьяну. Мать всегда любила игрушки. И очень жалела, что я не девочка».

«Ты похож на свою мать, — говорит Козяков. — Те же глаза, те же волосы. И улыбка... Что с ней? Она жива?»

«Нет. Мама умерла в Одессе от брюшного тифа».

«Давно?»

«В восемнадцатом».

Ну а если Козяков окажется менее сентиментальным? И, схватив Волгина за грудки, крикнет:

— Врешь, сволочь!

В этом случае... Он не может не заметить золотую цепочку... И медальон. Медальон, который он когда-то подарил Берте. И фотографию молодой Берты. Берты-девочки. И прядь волос...

«Вы любили ее?» — должен был спросить Волгин у присмиревшего Козякова.

И он, вероятно, ответит:

«Да».

Он мог ничего не ответить... И весь разговор мог сложиться совсем иначе, чем он представляется сейчас. Несомненно одно: Волгин выиграл первый поединок... И в банде почувствовали, что новенький пользуется доверием и покровительством атамана.

Люди, пославшие Волгина на это трудное задание, понимали, что, даже поверив в Аполлона Пращурова, Козяков должен был спросить:

«Хорошо, мальчик мой! Но зачем, для чего ты здесь? Неужели ты всерьез веришь в спасение отечества?»

Волгин должен был рассказать следующее:

«За несколько часов до смерти мать призналась, что я не сын полковника Пращурова. Я немец. Настоящий немец. Мать назвала мне кодовый номер вклада, который ее отец оставил в швейцарском банке. Это большая сумма. Мне нужно в Европу. Там я обеспеченный человек... Памятью матери заклинаю вас, помогите мне осуществить мечту».

Тогда еще никто не знал, что Анастасия дочь полковника Козякова и что по этой причине у Козякова вообще могут быть особые виды на Аполлона и на его швейцарское наследство...

12

Сохранился протокол допроса Анастасии. Вот выдержки из него.

Вопрос. Что вы знали о своем отце?

Ответ. Ничего. Я встретила его шесть месяцев назад в Староконюшенном переулке. Подошел человек и сказал: «Я твой отец». Я привыкла верить бабушке. А бабушка никогда не говорила, что отец жив и скрывается за границей. У бабушки такие честные, искренние глаза. У меня тоже честные, искренние глаза. И они остаются честными, искренними даже тогда, когда я вру. Но сейчас я говорю правду. Чистую правду. Потому что все так ужасно... Я по-разному представляла свою жизнь. Но никогда не думала, что стану вдовой в восемнадцать лет...

Вопрос. Почему вы поехали с отцом?

Ответ. Последние дни я думала об этом. Кажется, были три причины. Незнание жизни. Отсутствие того, что в газетах называют патриотизмом. И страх... Разве я испытывала что-нибудь, кроме страха, к этому усталому мужчине с седыми висками. И когда он остановил меня в Староконюшенном переулке, мне показалось, что он принял меня за проститутку. И я покраснела, и мне хотелось провалиться сквозь асфальт. Он сразу понял это. Он сказал: «Чем же крашеные ногти лучше натуральных?» — «Моднее», — ответила я. — «Твоя мать, девочка, никогда не красила ногти. А вы похожи, словно две капли воды». — «Разве вы знали мою мать? Почему я не видела вас никогда раньше?» — «Я твой отец, Анастасия. Я вернулся, чтобы больше не расставаться с тобой».

И опять повторил, что я очень похожа на мать. Я и без него знала, что моя мать была похожа на бабушку, а я на мать. И фотографии, хранившиеся в старом бархатном альбоме, подтверждали наше сходство. Так что никакого открытия он не сделал. Но он умел говорить прописные истины, точно бог.

Он взял меня под руку. Без разрешения. Словно я была его собственностью или он двадцатилетним красавцем из киноинститута и собирался предложить мне роль в своем фильме или хотя бы для знакомства пригласить в «Метрополь».

Мы шли к Арбату. И старушки в подворотне судачили о распущенности молодежи, а я как дура смотрела себе под ноги. Потому что я читала в книгах: когда отцы возвращаются из странствий, дети бросаются им на шею. Плачут, целуются... Короче говоря, проявляют теплые чувства. У меня не было никакого желания целовать его в гладко выбритые щеки, тем более — в губы. Пестрый

шарф выбивался из-под бежевого плаща. И этот шарф привлекал к себе внимание, точно родинка-мушка, посаженная над губой. А в его положении, как я позднее поняла, было глупо привлекать чье-либо внимание.

Вопрос. Он вас уговаривал?

Ответ. Он спросил: «Ты поедешь со мной?» — «Во Францию?» — «Да. У меня там дом под Парижем. Розы, виноград... Бабушка говорила о твоей мечте стать актрисой. В Париже много русских эмигрантов, подвизающихся в кино, в театре».

Он шел, высоко подняв подбородок, расправив плечи. И ноги ставил, печатая шаг. Я не забыла, как бабушка однажды проболталась, что мой отец белогвардейский офицер. И я спросила. Нарочно. Назло. Как он будет реагировать: «Ты большевик, папа?»

Он словно поперхнулся. И походка у него изменилась, точно его кирпичом ударили. «Я русский... Я потерял здесь все, что завещали предки. Но, слава богу, при мне остались моя голова, мои руки...» — «Как я — пролетарий?» — «Я не беден. Я приехал за тобой, Анастасия. Может, это и не вся правда. Но основная причина моего возвращения — ты. Я хочу показать тебе мир... Он велик и необъятен. Рим. Неаполь, Париж... Ницца...»

Он стрелял названиями городов. И я балдела... Меня качало, как лодку. И я держалась за его руку уже не просто ради приличия.

«Нельзя представить возможности, какие жизнь открывает перед человеком. Представить — это значит посадить мысль в тюрьму, в клетку. А мысль должна быть свободной, как птица», — говорил он. И верил, что все это придумал сам. И это было его дело — верить или не верить.

Но самое глупое заключалось в том, что и я верила в произносимые им слова. В набор слов, связанных банальностью, точно слюной. Может, в нем где-то спала телепатия. Может, иногда она пробуждалась. И тогда он мог делать с людьми все, что ему угодно. А ему угодно было подчинить меня своей воле.

Вопрос. Свадьба... Расскажите о вашей свадьбе с Аполлоном Пращуровым.

Ответ. Я полюбила Аполлона, как только увидела... Но, разумеется, ни о какой свадьбе не могло быть и речи... Отец ничего не спрашивал о чувствах. Приехал ночью, вошел в комнату, не сняв кубанки, сказал мне:

«Тебе придется выйти замуж. Приготовься, венчание через полчаса».

От удивления я даже не спросила, кто же мой суженый. Я просто сидела на постели, поджав коленки к подбородку, и сонно смотрела на одеяло, сшитое из разноцветных лоскутков. «Я объясню тебе позднее. Все позднее...»

А в соседней комнате уже позвякивала посуда. Накрывали стол. Три лампы освещали комнату. И еще красноватый огонек лампадки, висевшей под большой иконой святой Марии с младенцем Иисусом на руках.

Поп, от которого разило самогоном, наскоро совершил обряд. Мы обменялись кольцами. И поцеловались...

Вопрос. Сколько времени в ту ночь оставался Козяков в доме Воронина?

Ответ. Часа два. Перед отъездом он минут на десять выходил с Аполлоном во двор. О чем-то говорили...

Вопрос. Одни?

Ответ. Нет. С ними был Генрих Требухов. Он следил за отцом.

Вопрос. Означает ли это, что полковник Козяков не мог поговорить ни с кем с глазу на глаз?

Ответ. Нет, не означает. Но Требухов, как мне известно, всегда находился на расстоянии видимости, имея возможность в случае надобности прийти на помощь. Полковник так и называл его: «Мой телохранитель».

13

Вероятно, деятельность и карьера Генриха Требухова заслуживают особого изучения. Мы ничего не знаем о его детстве и юношеских годах, если не считать рассказанную им самим историю о романе с землемеровой дочкой, отличавшейся высокой грудью и низкой нравственностью... Поэтому перенесемся в 1923 год, когда Генрих работал делопроизводителем учетно-воинского стола при отделении милиции. Поскольку торговля заплесневелыми чернильницами и обкусанными ручками не сулила барыша, делопроизводитель начал продавать учетные карточки, без которых в ту пору трудно было устроиться на работу. Карточка приносила 10 тысяч рублей. Деньги, скажем прямо, некрупные, если учесть, что номер «Курортной газеты» стоил 20 рублей. Однако Генрих не тратился на прессу, предпочитая читать этикетки грузинских вин...

Последнее занятие, как и первое, было прервано 114-й статьей Уголовного кодекса. Пункт 4 дробь 1. Народный суд определил Генриху Требухову меру наказания в три года, с сокращением в силу амнистии наполовину, с поражением в правах по отбытии наказания на один год.

Время точит срок, как шашель мебель...

И вот Генрих опять в губсуде. Только уже не подсудимый, а секретарь-квалификатор камеры по делам о нарушении законов о труде.

Поднатаскавшись в новой должности, секретарь-квалификатор смекает, что большинство граждан-нэпманов совершенно не знают кодекса о труде. В один прекрасный день он приходит в трикотажный магазин гражданки Гофман и заявляет напуганной даме, что она привлекается к ответственности за наем служащих без биржи труда и что за это ей грозит строгое наказание.

— Я могу вам помочь, — сказал Генрих.

И черные усики над пухлой губой дамы дрогнули от умиления.

— Я могу вас совсем освободить от суда. Или квалифицировать преступление в более легкую сторону.

— Ближе к делу, — сказала гражданка Гофман, еще надеясь на свои чары, как сорвавшийся с пятого этажа надеется, что ему повезет и внизу он встретит не мостовую, а воз свежего сена.

— Полагаю, что содержание статьи сто тридцать второй Уголовного кодекса вам знакомо... Освобождение от суда обойдется вам в пять миллиардов рублей, а более легкая квалификация по первой части статьи сто тридцать второй будет стоить только три миллиарда...

— Я не держу дома и рубля, — доверительно сообщила гражданка Гофман. — Так приучил меня мой покойный муж... Придите завтра.

На следующий день, не застав хозяйку в условленный час, Генрих написал записку, в которой указал номер своего телефона, имя и отчество.

Гражданка Гофман позвонила ему вечером и, проявив практическую смекалку, попросила его принести «дело», дабы убедиться, что тут нет обмана.

Отправляясь с визитом, Генрих надел накрахмаленную сорочку, галстук «кисочку». Он нежно нес «дело», как молодая мать несет первенца.

Мило улыбаясь, гражданка Гофман приняла папку. И отсчитала задаток — один миллиард рублей... Генрих

спрятал деньги в карманы. Из соседней комнаты вышли милиционеры...

— Пять лет.

— Прощай, «Хванчкара»... «Отто Поднек» — пишущие машинки всех систем, арифмометры, ротаторы. Трамваи и кинематограф... «Мастяжарт» — вакса, гуталин, охотничья мазь. Оптом и в розницу...

«Тук-тук», — стучат колеса.

«Ду-ду», — кричит паровоз.

Дальше в биографии Генриха Требухова — айсберг, или, как принято говорить, белое пятно. Промежуток в два-три года после выхода из лагеря не оставил никаких следов в судебной хронике. И можно лишь заключить, что именно в это время и произошло превращение Требухова из рецидивиста-комбинатора в бандита.

Выяснилось, что Козяков обещал переправить Требухова за границу... Может быть, никакого превращения не было. Жулик остался жуликом, только решил переменить климат.

14

Прежде чем перейти к описанию дальнейших событий, следует отметить один маленький эпизод, а если говорить строго, всего лишь случай, озадачивший Волгина в самый первый день пребывания в банде.

Малоподвижный мужчина с плоским небритым лицом вручил Волгину обрез. Сказал:

— Вычисти и покажи.

Обрез был подернут налетом ржавчины. Приклад измочален. Это немного насторожило Костю. Ему не доверяют. Ведь все остальные бандиты вооружены новенькими английскими карабинами.

— Кочерга, — критически сказал Костя. — Ею только золу ворошить.

— Какой бог послал, — лениво ответил мужчина с плоским лицом и сделал жест рукой, давая понять, что Волгину лучше выйти из землянки.

— Керосинчику бы, — напомнил Костя.

И вот у него в руке зеленая бутылка, заткнутая добротной пробкой, словно выдержанное вино, кусок ветоши. Волгин сидит под деревом и, насвистывая простенькую мелодию, чистит обрез...

Мимо кто-то проходит. Костя поднимает голову. И не верит глазам: по тропинке идут четверо красноармейцев.

в шинелях, в буденовках с красными звездами. Только вот карабины за спинами все те же, английские. Люди, одетые в форму красноармейцев, садятся на лошадей и скачут вниз, в долину, где пенится река и в преддверии вечера курится туман...

Волгин в бессилии плюнул... Вот что значит не иметь связи. Бандиты задумали какую-то каверзу. А он никак не может предупредить своих. Вспомнилось наставление Каирова: «Твоя задача — Козяков. Ты должен выкрасть его при первом удобном случае. Очень важно ничем не выдать себя. Поэтому связь будет односторонней. Если нам потребуется что-то сообщить, к тебе придет человек. И скажет: «Поклон от Кравца».

Той же ночью неизвестные вырезали семью столяра Антипова и запалили дом. Соседи, боявшиеся прийти на помощь, все же следили за происходившим через окна и теперь в один голос утверждали, что налетчиков было четверо и все они красноармейцы.

Кравца мучила зубная боль, но, паля папиросу за папиросой, он лично допрашивал свидетелей. И вся загвоздка была в том, что Кравец, хотя ни на йоту не сомневался, что это дело рук бандитов Козякова, все же не мог понять, почему жертвой вдруг стал Антипов и его семья. Хромоногий столяр никогда не служил ни в какой армии, был человеком весьма зажиточным, к Советской власти особой любви не проявлял...

Когда вышел последний свидетель, Кравец спрятал исписанные фиолетовыми чернилами листки в ящик стола. Положив руки на бедра и слегка прогнувшись, он вдруг обратил внимание на то, что пол в кабинете давно не метен, заплеван окурками и заляпан дорожной грязью...

Кравец побрызгал пол водой прямо из графина, достал из-за печки огрызок веника и, согнувшись, принялся за работу. Он еще мел пол, когда в дверь заглянул дежурный...

— Товарищ Кравец, к вам просятся.

Кравец удрученно сказал:

— Не видишь?.. Я полы мою. У нас грязнее, чем в конюшне. Сегодня вечером генеральная уборка... Запомни.

— К вам этот...

— Кто?

— Егерь Воронин.

Воронин был бледен и зол. И глаза краснели воспаленно, словно он долго плакал.

— Присаживайтесь, — сказал Кравец и бросил веник в угол.

Но Воронин не сдвинулся с места. Снял шапку и, опустив голову, глухо сказал:

— Заарестуйте меня.

Не ожидавший такого разговора, Кравец подвинул егерю стул. Повторил:

— Присаживайтесь.

И сам сел. Достал из пачки папиросу. Предложил закурить Воронину. Тяжело, словно у него подкосились ноги, опустился егерь на стул. Мутно посмотрел на Кравца. По старому, изморщиненному лицу Воронина катились слезы.

— Так...

Кравец вопросительно уставился на егеря. Пряча руки между коленями, Воронин начал говорить негромко и прерывисто:

— Невтерпеж держать грех на душе. Бог свидетель... Пятьдесят лет худого людям не делал. И сейчас натура не позволяет. Во-первых, знаю, где банда Козяка. Людей сколько в банде, знаю — немногим меньше трех сотен будет. Все при конях... Это, во-вторых... Еще, слыхал я, в наших краях они не задержатся. Уйдут... Сказывается мне, в Турцию...

Вынув из кармана огрызок карандаша, Кравец положил перед собой листок бумаги. Угрюмо посмотрев на бумагу, Воронин напомнил:

— Только отпиши, что я добровольно, по своей чистой совести пришел. Готов отряд красных такими тропками провести, каких никто и не знает. Врасплох мы Козяка застанем. Всех бандюг сничтожим.

— Хорошо, — сказал Кравец, — что сами пришли. Но почему так поздно? Вы были у Козякова связным?

— Связным я не был... Но помнил он меня по тем годам, когда приезжал сюда с князем Кириллом охотиться. Говорит, мужик ты тертый и покладистый. Вера тебе есть... А кто на моем месте не стал бы покладистым. Люблю я свою работу. И любил... Потому и угождал всем... Хотя про себя другое думал... А почему поздно

пришел, гражданин начальник? Как на духу скажу, может, вовсе бы и не пришел, если бы они Ильюшку Антипова не порешили. Племянник он мой. Сын сестры единокровной...

— Мы тоже знаем, что это бандиты. Но зачем бы им озлоблять вас? Смысл какой?

— А чтобы я на красноармейцев больше злости лютой поимел. Да меня не проведешь. Я калач тертый. Известно мне, что они не в первый раз в форму красных переодеваются.

Лицо Воронина было суровым, глаза жестокими...

— Поможете нам, Воронин? — перегнувшись через стол, в упор спросил Кравец.

Воронин степенно кивнул. Кивнул с чувством осознанной силы, непримиримой, злой...

— Решено, — сказал Кравец. — Мы свяжемся с вами, когда вы нам понадобитесь. А сейчас возвращайтесь домой и ведите себя так, словно и вправду верите, что красноармейцы убили вашего племянника и его семью.

Воронин еще раз кивнул... Ушел не простившись.

Через полчаса Кравец послал две шифрованные телеграммы. Одну начальнику ОГПУ Северокавказского края, вторую — руководителю операции «Парижский сапожник» Каирову.

Между тем Воронин, прежде чем отправиться к себе домой, заглянул на почту и у окошка «До востребования» спросил, не поступило ли письма на его имя. Женщина в платке протянула конверт с зеленой маркой.

Выйдя на улицу, Воронин еще раз внимательно оглядел конверт, но распечатывать не стал и спрятал во внутренний карман. Потом сел на коня и уехал.

Сто шагов... Кравец отсчитал сто шагов и остановился посреди кабинета. Кабинет был маленький. И Кравец несколько минут ходил из угла в угол. Сизая темнота заполняла комнату. И она немного давила, эта темнота. Во всяком случае, мешала думать... Тогда Кравец снял стекло с керосиновой лампы. Чиркнул спичкой и коснулся ею паленого фитиля. Желтый огонь, подернутый черной копотью, потянулся кверху. С хрустящим стуком влезло в гнездо стекло. Сразу же сделалось светлее. Кравец под-

нял лампу и, приблизившись к стене, повесил ее на гвоздь.

Ни из Ростова, ни от Каирова ответных телеграмм еще не поступало. Кравец подумывал, не связаться ли ему лично с командиром кавалерийского отряда и, воспользовавшись помощью Воронина, накрыть бандитов врасплох.

Это было очень заманчиво — покончить с Козяковым одним ударом, понеся при операции минимальные потери. А он, Кравец, был уверен, что бандиты не ожидают нападения и не смогут оказать особого сопротивления.

С другой стороны, как человек опытный, он должен был взвесить все варианты. В том числе и самый худший... Но Кравец уже не спал двое суток. И в голове у него гудело. Неплохо бы отдохнуть...

Однако явился новый свидетель и задал новую задачу.

Переминаясь с ноги на ногу, колхозник Никодим Буров сказал, что подозревает в убийстве Антипова егеря Воронина.

— Встретил я его намедни. Плачет в тряпочку, да уж больно усердно. Жаль ему Илью... Может, это все и правда... Горе человеческое осмеивать грех... Но по тому, как знаю егеря Воронина характером, радоваться смерти племянника он должен... Известно мне, что они золотишко на Лабе при англичанах промывали и опосля тоже. И где-то вместях, как говорил однажды выпивший Антипов, до лучших времен заховали.

— Когда Антипов говорил про золото?

— Года два... три назад. На пасху...

— А если он просто болтнул?

— Я здесь родился и всю жизнь безвыездно и безвыходно... Как облупленного Антипова знаю. Месяцами пропадал он на Рожкао. Красный камень толок...

— Конгломерат?

— Он самый.

— А разве вы в тех местах не бывали?

— Случалось, за ладаном ходил. Много его в горах. Попы хорошо за ладан платили...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ТРЕВОГА

1. ИВАН ПОДДУВАЙЛО

— А ты знаешь, как зовут моего щенка? — спросил Егорка.

— Бобик, — ответил Иван.

— Фи, — сказал Егорка. — Бобик в каждом дворе есть. Кот Васька. И собаки: Жучка или Бобик. В зависимости, к какому роду относятся — мужчинскому или женскому.

— Ты и в этом разбираешься, — ухмыльнулся Иван, присел на лавочку, что стояла у крашенного в желтый цвет забора.

Егорка поднял с земли крупный камень, высоко пульнул его в небо. И, заломив набекрень шапку, ответил:

— Я мужик. Потому и разбираюсь. А как же иначе? Мне целых девять лет...

— Много, — согласился Иван, достал кисет с махоркой. — Не куришь?

— Горько. И не интересно.

— А что интересно?

— То, что другие не делают.

— Потеха, — сказал Иван. — Другие вниз головой не ходят.

— А я умею. На руках... Смотри.

Егорка вначале снял шапку, потом вынул из кармана рогатку, гвоздь, сломанный ножик и темную ружейную гильзу. Сложил все в шапку. Протянул ее Ивану:

— Держи.

Стал на руки. И, едва покачивая ногами, одолел метров десять. Потом согнулся. Присел на корточки. Лицо красное. Глаза улыбчивые.

— Вот, — сказал Егорка. — Ты, конечно, так не сможешь...

— Тебе бы циркачом, — уважительно сказал Иван.

— Нет. Я стану изобретателем. Самолет, понимаешь, хочу придумать с пропеллером на хвосте.

— Шиворот-навыворот...

— Как считать... А может, мотор впереди и есть шиворот-навыворот... Ты почем знаешь? Один мудрец наду-

мал собак звать Бобиками. А все решили, что так и нужно.

Иван задымил самокруткой. Лукаво следил за тем, как Егор прячет в карманы свои сокровища.

— Покажи саблю, — вдруг попросил мальчишка. — Она у тебя большущая.

Иван сказал:

— Сабля как сабля... Обыкновенная.

— Хоть одного бандита зарубил?

— Зачем же одного? — степенно ответил Иван. — До десяти считать умеешь?

— До тыщи.

— Хвастанул.

— Могу посчитать... Только шестнадцать минут слушать придется.

— Тогда сдаюсь...

— То-то... — Егор присел на лавочку рядом с Иваном и милостиво сказал: — Так и быть... Щенка я назвал Аскольдом.

Иван в удивлении приподнял брови.

— Никому не нравится, — согласился Егорка. — А мне очень. Открытка есть такая. На ней корабль с пушками. И написано: «Крейсер «Аскольд».

— Но щенок же не крейсер...

— Конечно, нет... Но ведь имя же красивое...

— Сносное...

Егорка махнул рукой;

— Бестолковый ты... Не пойму, зачем ко мне каждый день приходишь?

— Сынок в Виннице таких лет, как ты, остался.

— Егорка тоже?

— Нет. Тарас...

— Хорошо. Представляю, была бы скучища, если бы всех Егорками звали...

— Имен в святцах много, — сказал Иван.

— А что такое святцы?

— Ну... У батюшки...

Иван не закончил фразы. На окраине станицы, у речки, где уже белел редкий туман, раздался звук военной трубы.

«Тра-та-та...»

Тревога!

— Прощай, Егорка, — сказал Иван. — Живы будем — свидимся!

2. СЕМЕН ЛОБАЧЕВ

День был сухой. И земля не липла к подошвам. И у заборов вновь зеленела трава, короткая и очень яркая трава. Солнце тоже было ярким, почти весенним. Но земля пахла иначе, чем весною. И тут уж ничего нельзя было поделать.

Через улицу на протянутой веревке сушилось белье. У кого-то на чердаке ворковали голуби. Тощая собака лежала возле церковной паперти и, урча, покусывала на себе шерсть. Церковь была заколочена двумя досками крест-накрест. На одной из них чернела надпись: «брутто 600».

В центре площади, хранившей следы колес и лошадиных копыт, горбатый мужик торговал керосином. Керосин был в цистерне, закрепленной на телеге. Пегий конь уныло шевелил хвостом.

С десяток женщин — кто с ведром, кто с банкой, кто с бутылью — стояли друг за дружкой.

Семен узнал Марию. Она стояла второй от конца очереди, держа в руке бутыль, покрытую плетеным чехлом. Мария тоже увидела Семена. Но не улыбнулась, не кивнула, а посмотрела, словно незрячая... Семен сделал вид, что не знает ее. Но убавил шаг. И пошел тихо-претихо, потому что торопиться теперь просто было ни к чему.

За околицей, где дорога разветвлялась, находился колодец. Возле колодца мутнели лужи. И веревка на барабане была мокрой.

Семен вспомнил, что нужно было простирнуть носовой платок. Но ведра у колодца не было. И вообще стирать возле колодца неприлично.

Тропинка медленно сползала вниз, а потом опять поднималась вверх, огибая три раскидистые акации, поодаль от которых стоял сарай для сена с широкими распахнутыми настежь дверями.

Вначале Семен остановился под акацией. Закурил. Темные, похожие на двоеточие муравьи торопливо ползали, нет, бегали вверх-вниз по стволу дерева. Семен обдал муравьев дымом. И длинная цепочка стала еще подвижнее. «Насекомое, — подумал Семен. — Захочу — и раздавлю». Но давить не стал. Просто пугал их дымом. И все...

А когда самокрутка укоротилась до величины напер-

стка и уже обжигала губы и пальцы, Семен щелчком бросил ее на дорогу.

И она полетела, оставляя за собой хвост мелких, быстро гаснущих искорок...

Семен пошел к сараю...

Он упал в душистое сено лицом вниз. И лежал так до тех пор, пока не почувствовал, что начинает засыпать. Тогда он сел, протянув длинные ноги, и принялся растирать виски.

Мария показалась в светлом проеме двери как-то неожиданно. Она оперлась рукой о косяк и смотрела на Семена. Он не мог сказать, смотрит ли она с интересом, с любопытством или с волнением, тепло ли, холодно... Она глядела без улыбки и без зла. Глядела, может, просто потому, что у нее есть глаза. И она не могла стоять на пороге сарая и жмуриться, точно от яркого света.

Он позвал:

— Иди сюда.

Она покачала головой, чуть разжав губы: они были у нее влажные и темные. Вероятно, она часто облизывала их.

— Иди сюда, — повторил он.

— Мне так лучше, — сказала она. — Я смотрю на тебя сверху. И ты кажешься маленьким. А ведь ты большой, как дом. И я боюсь тебя.

Мария повела головой, и коса свесилась через плечо. Мария стала расплетать ее, словно здесь никого не было.

— У тебя косы, как у цыганки, — сказал он.

— Ну и что?

— Просто красиво. И глаза у тебя красивые, и лицо. И все остальное.

Она покраснела. И он поднялся и стал рядом с ней.

— Ты боишься меня? — спросил он.

— Я боюсь темноты. И мышей, — ответила она.

— Не надо стоять в дверях, — сказал он. — Нас могут заметить. И пойдут разговоры.

— Обо мне и так идут разговоры, — возразила она.

— Ну и пусть, — сказал он. — На то у людей и языки, чтобы болтать ими...

— Ты же не хочешь разговоров...

— Я никого здесь не знаю. И не желаю слышать, что о тебе говорят. Я боец Красной Армии. Я здесь для дела...

— Уедешь... А обо мне опять будут судачить.

Сейчас она теребила косу, а он стоял близко и держал Марию за локоть.

— Всему причиной зависть.

— Нет, — возразила она. — Ты совсем меня не знаешь...

— Знаю. Ты самая лучшая... Я женюсь на тебе.

Она усмехнулась:

— Было бы сказано...

— Я женюсь... Я люблю тебя. Мне сегодня ничего не нужно. Понимаешь, ничего... Я люблю тебя. И вернусь, как только бандитов переловим. А о прошлом забудь. Кто прошлое помянет, тому глаз вон. Я ведь тоже, Мария, не ангел. Я люблю, люблю, люблю...

Губы ее пахли садом. И сено звало, точно обрело язык..

Но в самый последний момент, когда уже не было назад дороги, раздался тревожный звук боевой трубы.

«Тра-та-та...»

3. БОРЯ КНУТ

Библия весила не меньше пяти килограммов. И не потому, что страниц в ней было больше, чем в обычной библии. Страниц столько же. Но они были толстые и желтые. И очень гладкие, как стекло.

Красноармейцы, большинство из которых не видело никакой другой бумаги, кроме газетной, огрубевшими пальцами гладили страницу, словно кошку. И удивлялись буквам. Крупным, темным и сочным, как смородина.

В книге были цветные иллюстрации на божественные темы, переложенные тонкой бумагой. Но сейчас осталось всего две-три картинки, сверх которых лежала полупрозрачная, словно туман, бумага. Уж очень хороши самокрутки из этой бумаги. Точно папиросы.

Переплет был кожаный, темно-коричневый, с позолоченными уголками и застежками.

Библию Боря заполучил в Батайске. Старуха учительница сунула ему в руки книгу вместо платы за перекладку печи. Он и не хотел никакой платы. И возился с печкой потому, что старуха больно хорошо рассказывала бойцам про Пушкина... И Боря Кнут отнекивался. Но старуха учительница сказала, что она сама безбожница и что книга большую ценность имеет, если предложить ее знающему человеку.

Боря возил с собой библию около года. И вот теперь, верно, настала пора распрощаться с ношей. И какую бы ценность она ни представляла, нужно найти в станице осведомленного по религиозной части человека. И договориться...

Крути не крути, думай не думай, а двадцать лет исполняется один раз в жизни. И двадцать лет — это не тридцать и не сорок. А как раз тот самый юбилей, которому радуются. Впереди целая жизнь!

Тонкую бумажку следует приберечь на самокрутки. Ну а книгу... Самым подходящим покупателем для нее может быть местный батюшка. И хотя церковь в станице закрыта, а батюшка, по словам хозяйки, у которой квартировало их отделение, занимался исключительно садом и пчелами, Боря Кнут таил надежду, что литра два самогона или какой-нибудь другой достойной заменить его жидкости у неглупого человека всегда найдется.

А то, что церковники люди хитрые и ума не лишенные, Боря Кнут понял давным-давно, когда еще был мальчонкой...

Но не стоит вдаваться в воспоминания.

Попик, короткобородый, седенький и чуточку обрюзгший, очищал граблями землю. В саду уже был целый ворох листьев. И попик собирался поджечь их, чтобы дым окурил деревья и черви разные, гусеницы, букашки подохли бы.

Боря Кнут никогда не ходил в церковь и не знал, как нужно величать священника: батюшкой, святым отцом, гражданином или товарищем. Он с минуту нерешительно топтался возле забора. Наконец вспомнил сказку Пушкина, которую читала им батайская учительница, крикнул:

— Эй! Поп! Ходи сюда!

Природа наделила Борю громким басом, и от смущения он позвал попа так, как если бы стоял на посту и вдруг заметил неизвестного.

Неудивительно, что попик выронил грабли и со страхом смотрел на грозного верзилу в длинной, до самых пят, кавалерийской шинели.

Боря подумал, что поп артачится, и поэтому разозлился и постучал библией по забору, назвав при этом попа дураком.

Батюшка, пятясь точно рак, начал медленно отходить к дому, видимо полагая укрыться под защитой его голубых стен.

Тогда Боря понял, в чем дело. И улыбнулся. И миролюбиво поманил попа пальцем.

— Ходь ко мне. Ходь. Не бойся.

Поп часто заморгал глазами и торопливо пошел к забору. Но остановился метрах в трех, не дойдя до ограды. Бабьим голосом спросил:

— Чем могу служить, сын мой?

— Тут вот какое дело, — сказал Боря Кнут. — Двадцать лет мне, святой отец, исполнилось...

Боря специально вставил выражение «святой отец», надеясь, что оно звучит благороднее, чем «поп». Хотя «поп», может, и правильнее... Занятый мыслями, Боря умолк и даже покраснел от напряжения. И батюшка пришел ему на помощь.

— Понимаю, сын мой... Ты дитя некрещеное. Овца заблудшая. Хочешь в двадцатилетие приобщиться к христианству?

Боря не расслышал. Или, может, просто не понял витиеватой речи батюшки. Кивнув на всякий случай головой, Боря сказал:

— Овца мне не попадалась. А что приобщиться, так это точно.

— Похвально, сын мой, похвально, — жалобно продолжал попик. — Но со слезой в душе признаюсь... с грустию... условия что ни есть самые домашние. Тазик с водой...

— Кустарщина... — согласился Боря. — Будь мы в Ростове, я бы тебе, поп, змеевик сделал. — Он спохватился. И поправился: — Святой отец то есть...

Попик от удивления приоткрыл рот.

— Змеевик?..

— Да что ты такой пужливый? — взмолился Боря Кнут. — Да посмотри, какая книга. Очень даже шикарная!

Он прижался грудью к забору и протянул руку с книгой через штакет.

Поп взял книгу и долго любовался обложкой. И по мере этого любования менялось выражение его лица, как меняется цвет неба на закате или при восходе солнца.

Он листал книгу с упоением. И Боря Кнут понял, что хотя поп человек пужливый, но в библиях он, конечно, волка съел. И может, следует запросить не два литра самогона, а целых три.

— Четверть! — грозно сказал Боря. И уже совсем

просительно, словно убоявшись своего грубого голоса, пояснил: — Самогону!

Поп еще не сообразил, чего хочет этот странный красный солдат, принесший редкостную по красоте и ценности книгу.

— День рождения у меня. Двадцать лет! Друзья... Выпить бы помаленьку нужно... Самогону бы... — объяснил Боря.

— Самогону, — глухо повторил попик.

— Четверть самогону, — уточнил Боря.

— Так много... У меня нет сегодня так много, — говорил попик, прижимая библию к узкой груди. И руки у него были белые и немного тряслись.

— Тащи, сколько есть.

— Литра два нацежу.

— Давай два литра. Остальное завтра.

Попик повернулся и засеменил к дому...

Голубело небо. И воздух был прохладный, свежий. И ветер был точно весенний. И запах дыма...

Боря Кнут смотрел на голубой дом и говорил про себя, что поп совсем не дурак и устроился с удобствами. Он видел, как попадья шмыгнула в сарай и что-то вынесла оттуда, накрытое черной тряпкой.

Попадья скрылась в доме.

И в это время Боря услышал тревожный звук трубы.

«Тра-та-та...»

Он еще стоял несколько секунд. Но поп что-то мешкал... Боря махнул рукой и побежал прочь от дома...

Навстречу ему неслось «тра-та-та...».

4. ИВАН БЕСПРИЗОРНЫЙ

Он держал в руке карандаш, но заточить его было нечем. И тогда Иван вынул саблю из ножен, улыбнулся собственной выдумке. И родилась первая строчка:

Я карандаш затачиваю саблей...

Строчка понравилась Ивану, потому что она точно выражала суть времени, его правду, задавала тон будущему стихотворению.

Мелкая стружка падала в воду. Вертелась и покачивалась, уплывая вниз по течению речушки. Сидящий рядом на мостках мужичок недовольно покосился на Ивана, но ничего не сказал. И опять забросил удочку. В сетке,

связанной узлом и свисавшей над сваями, трепыхались два окунька и молодой судачок.

Моей сестрой и матерью моей...

Сложил Иван и тут же передумал. Можно ли затачивать карандаш сестрой, а тем более матерью? Бред!

По настилу кто-то пробежал. Черномордая дворняга с отвислыми ушами уткнулась в плечо мужичка и радостно завиляла хвостом.

Иван записал:

Она мне друг вернее, чем собака...

Мужичок дернул удочку. Собака радостно завизжала. На крючке вертелся окунь размером с ладонь.

Рыболов, сопя, снял добычу с крючка. Собака водила мордой, нетерпеливо скребла лапами о доски. Мужичок пнул ее локтем, сказал:

— Пшел!

Подтянул сетку, развязал, опустил в неё рыбешку.

Она за труд не требует награды.

Иван Беспризорный остался доволен последней строчкой. Но стихи получались белыми. И это немного смущало его. Он никогда не писал белых стихов и боялся, что они получатся несобранными. Но, с другой стороны, когда-то нужно было приниматься и за белые стихи.

Я карандаш затачиваю саблей.
Она мне друг вернее, чем собака.
Она за труд не требует награды.

Дальше, как понимал Иван, должен следовать вывод. Смысловой вывод. А это давалось Ивану труднее всего.

В воздухе стояли запахи гнилых свай, реки и домашнего дымка. Иван провожал взглядом поблескивающие на закате всплески и думал, как окончится служба, и он вернется в Москву, и тетрадь будет исписана до последней страницы правдивыми стихами, пахнущими махоркой, и солдатским потом, и порохом. И выйдет его первая книжка. И на обложке будет нарисован человек в буденовке, при коне.

Чем же закончить четверостишие?

«И сабля никогда не обманет, если я сам себя не об-

ману...» По смыслу верно. Но ритм нарушен... Это уже проза.

Не подведет, не выдаст, не обманет,
Если я сам не обману себя.

Иван торопливо записал последние строки...

— Письмо сочиняешь? — вдруг сипло спросил рыболов.

— Сочиняю... — ответил Иван, словно отмахнулся.

— Из дальних мест родом-то?

Но Иван уже не слышал рыболова.

Я карандаш затачиваю саблей —
Она мне друг вернее, чем собака.
Она за труд не требует награды,
Не подведет, не выдаст, не обманет,
Если я сам не обману себя.

Хорошо или плохо? Хорошо или плохо? Вот бы с человеком толковым посоветоваться...

Звук трубы. Будто крик! Будто гром! Будто молния!

«Тра-та-та...»

Тревога!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ

1

В тот год Европу заливали осенние дожди...

И люди, стоя в очередях за газетами, держали над собой зонтики. Черные зонтики — один около другого, похожие сверху на летучих мышей. Газеты, как всегда, пахли типографской краской. И жирно набранные заголовки на полосах бросались в глаза. Это были новости. Калейдоскоп новостей. Их приносили радио, телеграф, телефон...

Политическая полиция закрыла во Франкфурте-на-Майне институт социальных исследований, обвиняя его в том, что он поощряет антигосударственные стремления.

На совещании исполнительного комитета федерации лесоторговцев в Лондоне было принято постановление отклонить вмешательство канадского премьера Беннета во внутренние дела Англии, и правительству был послан протест с требованием, чтобы лесоторговцы при заключении сделок предварительно совещались с федерацией. Эти решения расцениваются как различное отношение к импорту советского и канадского леса. Указывается, что Канада не в состоянии снабжать в достаточном количестве Англию нужным ей лесом и не может предложить лес по ценам, приближающимся к ценам тех же сортов леса, предлагаемых СССР.

Сотрудники Академии наук СССР, работая в Библиотеке имени В. И. Ленина и в архивах и книгохранилищах Горьковского края, обнаружили новые материалы о восстании Степана Разина. Найденные документы подробно освещают крестьянский быт допетровской эпохи и дают новые сведения о разгроме ряда сел при ликвидации восстания 1670 года.

Сегодня на берлинской бирже курс доллара снова упал до 2,86 германской марки против вчерашнего курса — 2,90 за доллар (паритет 4,20 марки).

Вашингтон. Из авторитетных источников стало известно, что Рузвельт намерен без всяких ограничений осуществить программу военно-морского строительства. В 1936 году, когда программа будет завершена, в американском флоте окажется на 101 судно меньше, чем это раз-

решено договорами, а в английском флоте — на 64 судна меньше, тогда как японский флот достигнет к этому времени максимальных пределов.

Вчера в 16 часов 15 минут три французских самолета, на которых следовал французский министр юстиции Пьер Кот и его спутники, снизились на центральном аэродроме Аэрофлота в Москве. Все три прибывших самолета — трехмоторные монопланы. Особый интерес представляет флагманский аппарат «Девуатин-332».

Агентство Ассошиэйтед пресс передает из Буэнос-Айреса, что все попытки Аргентины, Бразилии, Чили и Перу выступить с посредничеством между Боливией и Парагваем потерпели неудачу. По словам агентства, Парагвай готовится к войне на неопределенный срок для оказания сопротивления Боливии. Парагвайское правительство намерено завербовать в свои войска 10 тысяч русских белоэмигрантов-казаков. Царский генерал Беляев направляется в Европу в целях вербовки. Парагвайское правительство обещает белогвардейцам, которые примут участие в войне, земельные наделы в районе Чако, послужившем поводом для конфликта. Агентство указывает, что расходы по переправке белогвардейцев взял на себя «видный парижанин».

По сообщениям из Гаваны, стачечное движение на Кубе ширится. Рабочие захватили в свои руки ряд новых сахарных заводов, требуя от американских предпринимателей повышения зарплаты. Опасаясь растущего революционизирования солдат, рабочих и крестьян, новое правительство Сан-Мартина вооружает несколько тысяч студентов. Многих капралов и сержантов правительство продвинуло на высшие должности.

Радио, телеграф, телефон... Осень 1933 года...

2

Тучи на рассвете густели. И горы казались плоскими, точно наляпанными на бумагу. Из щели дул ветер. Листья падали темные, как тучи.

Ведомые под уздцы кони ступали осторожно, будто не доверяли мокрым камням, прятавшимся под листьями. Требухов шел впереди. И его спина в запачканной глиной телогрейке маятником раскачивалась перед глазами Волгина.

Всю дорогу молчали. И это было удобно, потому что

нужно было думать. Думать серьезно, как никогда. У Волгина были все основания ругать себя за то, что выполнение задания затянулось, что события приняли такой оборот, когда трудно предсказать, чем они кончатся. Но, с другой стороны, работать без связи почти невозможно. Не с кем посоветоваться, некого проинформировать...

Если даже он, Волгин, больше никогда не попадет в банду, не увидит Козякова, время, которое он пробыл здесь, даром не пропало... Ему известен пароль. Это и мало, и много. Мало, если тот, кто скрывается в городе, что-то заподозрит и не придет на место встречи. Много, если все будет хорошо... Потому что похищение Козякова не было самоцелью. Он нужен был живой, чтобы дать сведения. Рассказать, кто же действительный руководитель бандитских шаек, кто снабдил их английскими карабинами, патронами...

Этот пароль ниточка. А может, леска. Авось добыча не сорвется. И если сейчас вести себя, как нужно, и, купив билет на первый же скорый поезд, уехать в город, то Каиров не станет сердиться, не скажет: «Подвел. Сорвал серьезное задание». Вернее, не сказал бы. Не будь этой свадьбы...

Но свадьба состоялась... Да, дети не отвечают за родителей. Пусть Анастасия Козякова — человек наивный и легкомысленный, но она не преступница... Нет, нет, нет. И она красивая. И Костя Волгин любит ее. Он никогда не любил раньше. А теперь любит. Но, честное слово, он не собирался на ней жениться. Честное-честное...

Да, это трудно доказать... Сейчас, когда он не привез Козякова, связанного по рукам и ногам, с кляпом во рту... Можно подумать, что это так просто — связать Козякова, словно грудного ребенка.

Костя очень рассчитывал на свадьбу, когда узнал, что она состоится в доме Воронина. Он был уверен, что гости перепьются. И если выйти с дорогим тестем подышать свежим воздухом, а потом ударить его по черепу маленьким, но таким тяжелым браунингом, который лежит в кармане куртки... И тогда не велика проблема связать его и положить поперек седла. А за час, даже за полчаса можно уйти далеко...

И Косте удалось в ту ночь выманить Козякова из дому.

Холодный ветер трепал ветки. И они раскачивались, словно в танце. Иней подбелил землю, и ступеньки крыль-

ца, и перила. Тихо ржали кони, привязанные у сарая. Мотали хвостами, гривами

Козяков прислонился плечом к стене, спокойный, довольный. Смотрел на Волгина, попыхивая папиросой.

Волгин нащупал в кармане пистолет. Взял за ствол. Рукоятка достаточно тяжела, чтобы свалить кого угодно...

— Что ты хотел сказать мне, Аполлон? — голос Козякова был почти ласковым.

— Я теперь не один... Мы с Анастасией должны убраться отсюда, пока не настали морозы.

Он повел локтем, намереваясь вынуть из кармана пистолет и мгновенно нанести удар. Но... Скрипнула дверь. Хмельные голоса на секунду стали громкими. Однако тут же опять затихли, словно удалились. На крыльце кто-то остался. Козяков передернул плечами и пошел к крыльцу. Волгин не двинулся с места.

— Что, Генрих, не пьется?

— Нужно ехать, — сказал Требухов.

— Аполлон, останешься здесь.

— Я бы с вами, — возразил Волгин.

— Хорош зятек... От молодой жены в первую же ночь убежать готов. Останешься до утра... Воронин проводит тебя. Мы будем на прежнем месте.

Все так же не унимался ветер. Хлопала дверь. Бандиты выходили поодиночке. С ухмылкой желали Волгину счастливой ночи.

Садились на коней. Стук копыт растворялся в шуме ветра... Горы лежали вокруг мрачными черными пятнами. Где-то за ними была луна. Она немного подсвечивала. И поэтому небо было светлее, чем горы. А горы казались еще непрогляднее.

Старуха убирала посуду. Воронин дремал, положив голову прямо на стол.

— Ступай, — старуха кивком указала на дверь, — волнуется она. Молодое дело, известное...

Волгин вошел в комнату Анастасии. Лампа была пригашена. На спинке стула висело белье. Волгин смутился и перевел взгляд. Анастасия лежала в кровати, повернувшись лицом к стене...

Внезапно Требухов остановился, подал знак рукой. Внизу по обмелевшей речке двигался конный дозор. Пятеро всадников в буденовках, с карабинами в руках. Пе-

редний вскинул бинокль и долго рассматривал склон горы. Потом он что-то сказал товарищам. Всадники подъехали к горе. Теперь кусты и деревья скрывали их из виду.

Требухов шепнул:

— Надо уходить.

Вскочили на коней. И...

Днем прятались. В расщелине между скал... Вечером еще ехали около двух часов.

Наконец коней привязали в кустах близ самшита, единственного на опушке, потому приметного. Несколько километров шли до станции пешком. Уже стемнело. Дорога была незнакомая, осенняя, студеная, с вязкой глиной и лежалыми листьями.

Паровозный гудок подсказал, что станция близко. На поросшем травой запасном пути стояло несколько товарных вагонов. В маленьких, под самой крышей, оконцах бледнел свет. Сушилось белье на невидимых в темноте веревках. Играла гармошка, однообразно и вызывающе. И кто-то танцевал, кажется в крайнем вагоне, возле которого уже было срублено крыльцо из некрашеных досок.

Женщина вышла из вагона и сказала кому-то оставшемуся в тепле:

— Снимать нужно. Сыроватое... Да уж стащат, ищи ветра в поле.

Живут вот люди: работают, спят, стирают белье. А ветер сушит его. Хорошо. Все хорошо. И гармошка играет. Хорошо. Значит, людям радостно.

Волгин и Требухов прошли близ женщины. Она посмотрела на них. Пристально или подозрительно, попробуй разбери.

Когда шагали по шпалам, Требухов сказал:

— Пожрать бы.

Метров через тридцать остановились. Вдоль линии лежали горки угля. Под фонарем, висевшим на перекошенном столбе, топтался красноармеец, держа поперек винтовку. Искрящийся шар мерцал вокруг лампочки. Волгин провел по лицу рукой. Мокро. Изморось была мелкой и липкой, как туман.

— Придется в обход, — с досадой сказал Требухов.

— Не заблудимся?

— Язык до Киева доведет...

Но спрашивать не пришлось. Несмотря на то, что

было еще не поздно, на улицах не встретилось ни одного человека. Требухов сориентировался по водонапорной башне, и вскоре они стучали в нужную калитку. Долго лаяла собака. Неприветливо, хрипло. Потом вышел хозяин:

— Чего желаете, люди добрые?

— Еще минута, и я бы пристрелил твоего пса, — раздраженно ответил Требухов. — Рано спать ложишься, свояк.

— Днем не бездельничаем, — ответил хозяин.

— Керосин экономим, — подсказал Требухов.

— Проходите. — Хозяин открыл калитку, пропустил их во двор. Сам же вышел на улицу. Оглянулся. Никого не было.

Все это не нравилось Волгину. И предчувствие не обмануло его. Едва вошли в теплую продымленную комнату, как человек с коротко отросшими волосами показался ему знакомым. Стриженый и еще один угрюмый мужчина с крупным подбородком сидели за столом, в центре которого светила пятилинейная лампа. На столе, застланном чистой скатертью, больше ничего не было. Стриженый, верно, тоже узнал Волгина. Глаза его беспокойно забегали, и он убрал руки со стола, сунув их в карманы.

Может, это ловушка? Может, все подстроено Козяковым? Хорошо. Если Козяков заподозрил Костю, то зачем такие сложности? Разве он не мог прикончить его там, в горах? Резон. Последний разговор с Козяковым был особенным. Это был разговор тестя с зятем. И Козяков доверил ему такое, на что ни Волгин, ни Каиров даже не рассчитывали. Прибыв в город, Волгин должен приклеить на углу рыбного магазина (это возле нового колхозного рынка) объявление: «Коллекционер приобретет старинные медали и монеты, а также литературу по нумизматике. С предложениями обращаться: Главпочтамт, до востребования, Лазареву Юрию Михайловичу».

И все же... Костя где-то видел эту рожу. Но где, когда, при каких обстоятельствах? Опасность быть узнанным, разоблаченным точно подстегнула его. Костя улыбнулся, спокойно сказал:

— Здорово, ребята.

Сдержанные рукопожатия, как всегда, между малознакомыми людьми.

Требухов заявил:

— Корми, дядька. Голодные, словно волки.

Хозяин сам набросил на стол клеенку. Принес со-ленья, картошку, сало. Бутылку с мутным самогоном.

Выпили. Волгин неожиданно разомлел. Сказалось не-доедание. Снял куртку, повесил ее на гвоздь, вбитый в стену. Волгин только позднее вспомнит, что в кармане куртки остался пистолет. А сейчас Костя думает о том, кто же этот стриженый? Кто?

Поезд на Сочи прибывал только в четыре утра. Билеты начинали продавать не раньше чем за четверть часа до отправления.

Хозяин предложил передохнуть.

Костя лег на сундуке в маленькой комнате с окном, выходящим во внутренний двор. Подушки не было. Костя положил руки под голову и сразу вспомнил...

Стриженый! Точно! Костя присутствовал на допросе, который вел Мироненко. В чем же тогда подозревали стриженого? Кажется, в ограблении...

Нет сомнения, что стриженый тоже опознал Костю Волгина.

3

Редкую ночь Граф Бокалов проводил теперь под одной и той же крышей. Каиров не советовал ему спать дома. Считалось, что Бокалов скрывается от милиции, а значит, и квартира его под наблюдением. Дружки, чередуясь, водили Бокалова к себе. Это было не всегда удобно и, может, порою рискованно, но бродячая жизнь позволяла больше видеть и больше слышать. А это-то для него и было главным.

Видеть больше, слышать больше...

Два дня назад Граф встретился с Каировым на дровяном складе в маленькой дощатой сторожке с единственным никогда не открывающимся окном. Каиров по обыкновению был в штатской одежде. Серое пальто, шарф, мягкий, из белой козлиной шерсти, кепка.

Слушал Графа не перебивая. Похвалил за наблюдательность. Потом сказал:

— Меня очень интересует Варвара. Не сможешь ли с ней сблизиться, Вова?

— Если нужно, я могу пойти пешком в Америку, — заверил Граф. — До Варвары гораздо ближе... Но... Левка Сивый порядочный олух. Он несерьезный и к тому же ревнивый...

— Если Сивый тебе уже не нужен, — сказал Каиров, — мы приютим его у себя. Кража бумажника...

— Да, — сказал Граф. — Если Левка переселится на курорт, Варвара не вынесет одиночества. И моя дружба может оказаться весьма кстати...

— Решено, — протянул руку Каиров.

— Нет, Мирзо Иванович, нужны деньги на представительство. С тех пор как я не занимаюсь делом, мой кошелек тощ, словно мартовский кот.

— Ясно, Вова. Получишь деньги...

— Сколько?

— Для начала — пятьсот...

— Считайте, что Варвара в наших руках.

— Скажешь гоп, когда перепрыгнешь. Слушай меня внимательно, Вова. Варвара часто стала бывать в клубе иностранных моряков. Сам по себе факт не очень примечательный, поскольку этот клуб привлекает многих потаскушек. Но Варвара амурных знакомств с моряками не заводит. И рано уходит из клуба. И всегда одна... Странно?

— Вполне, — согласился Граф Бокалов.

— Надо выяснить, зачем она приходит. Понял?

— Да.

— Действуй.

Темнело в шесть часов... В начале девятого Граф Бокалов направился к Варваре. Он решил не ехать автобусом, а пешком пройти через Старый порт, подняться к шоссе, а там до дома, где живет Варвара, рукой подать.

Вечер был с ветерком, сухим, северо-восточным ветерком с кубанских степей. И в городе не пахло морем, а только немного нефтью. И улицы были безлюдны.

По выложенной камнем дороге прогромыхала телега, потом проехал мужчина на велосипеде. Тонкая луна изогнулась над горой, и тени у заборов густели нечеткие. Глухая ограда судоремонтного завода тянулась вдоль левой стороны дороги. Справа обрывистая гора, только на самой вершине перехваченная кустарником, прижимала к обочине деревянные домики, глядевшие из-под драночной крыши одним-двумя занавешенными окнами.

За оградой рабочие ночной смены клепали, вероятно, обшивку судна. Грохот пневмомолотков смешивался с повизгиванием лебедок, человеческими выкриками.

Бокалов хорошо знал этих ребят. Он и сам едва не пошел работать на судоремонтный завод. Колька-инженер красочно свое житье-бытье расписывал. Инженером его на улице ребята прозвали. За смекалку, за любовь к технике. А вообще, на заводе Колька слесарем в сборочном цехе... И Граф согласился пойти к нему в ученики, заявление написал. Но тут, как назло, продулся майданщикам в «двадцать одно»... Майданщики, занимавшиеся кражами на железных дорогах и в поездах, были угрюмыми и злыми. И срок для выплаты долга поставили три недели. Тогда Бокалов еще не был возведен в ранг воровского графа, и с ним можно было разговаривать на таких условиях. Бокалов сошелся с двумя чердачниками. Таскал с ними белье с чердаков: трусы, простыни, бюстгальтеры... Сбывал добычу на барахолке. Получал свой сармак — так на блатном жаргоне называлась доля... Потом познакомился с домушниками... И уже месяца через два его стали величать Графом благодаря смелости, инициативе, смекалке...

Что греха таить, Бокалов не сразу понял, куда ведет дорожка, на которую он ступил. Все это казалось игрой. Рискованной, но интересной. И было в этой жизни что-то притягательное, но и засасывающее, как болото... Первое открытие — назад дороги нет — было особенно безотрадным. Он стал приглядываться к своей воровской компании. И подумал, что многие из ребят, абсолютное большинство, за исключением двух-трех законченных кретинов, могли бы стать людьми вполне полезными обществу...

Камни делают дорогу похожей на шахматную доску. Они квадратные, но лежат не совсем ровно. И луна освещает их так, что одни камни блестят, точно смоченные водой, а другие остаются темными, шершавыми. И по камням хочется не шагать, а прыгать, как по «классикам».

Впрочем, больше всего Графу хочется довести дело, которое ему доверил Каиров, до хорошего конца. И начать новую жизнь...

Но кто это уже три квартала шагает сзади? Граф остановился, резко повернулся. Человек шел прямо на него. По силуэту и походке можно было определить, что это мужчина.

Чутьем или интуицией, называйте как хотите, Бокалов вдруг понял, что в него сейчас будут стрелять. И когда неизвестный вынул из кармана правую руку, Граф

бросился к стене в надежде, что тень на какое-то время прикроет его. Он прильнул к стене, широко расставив руки, словно хотел обнять ее, и двигался боком, боком... Коленка ударилась о выступ. И Бокалов сообразил, что, может быть, судьба дарит ему последний и единственный шанс выиграть поединок. Вскочил на уступ, схватился руками за край стены и перебросил через нее туловище. В тот самый момент, когда Граф еще был на стене, первая пуля, попав в козырек, сбила с него кепку, вторая чиркнула о кромку стены, оставив на цементе темную продолговатую полоску.

Отряхнув брюки, Граф поднял с земли кепку и пошел к цеху — большому, длинному зданию, в широких окнах которого горел свет.

— Володя? — В голосе у паренька удивление, изумление. Ясно, что Колька-инженер ожидал увидеть здесь кого угодно, только не Бокалова.

— Он самый... — вяло ответил Граф.

— Как же ты сюда попал?

— Профессиональная тайна. Где у вас телефон?

— Телефон?

— Да. Я хочу вызвать машину.

— Шутишь.

— Серьезно. Покажи, где телефон.

Граф посмотрел ему в глаза... И Колька не спросил больше ничего. Он провел Бокалова в кабинет начальника цеха. В это время там уже никого не бывало.

— Выйди, — сказал Граф.

И набрал номер телефона Каирова...

4

Иван Беспризорный сказал:

— Ребята, я вам стихи новые прочитать хочу...

— Не время, — ответил Сема Лобачев, который сейчас был за старшего.

Поддувайло возразил:

— Может, до рассвета никто и не объявится... Да и потом, кто знает, чьи это кони?

— Бабушка надвое гадала, — поддержал Боря Кнут. — Скорее всего кони ворованные. И здесь милиционеру сподручнее сидеть, а не нам, бойцам Красной Армии.

— Много говорите, — заметил Семен Лобачев. И потом разрешил: — Ладно, читай... Только негромко...

— Стихотворение называется «Сабля»... — начал вполголоса Иван Беспризорный.

Я карандаш затачиваю саблей...

Тучи расползались медленно и тихо, как расползается промокшая бумага. И появлялись звезды, маленькие, словно елочные свечи. И Семен Лобачев, который плохо слушал Ивана, глядя на небо, подумал, что третий десяток на земле живет, а первый раз видит, как звезды из-за туч появляются...

— Да, — сказал Боря Кнут. — Будешь ты, Ваня, большим поэтом. В столице жить будешь. А я к тебе проездом наведываться стану, на выпивку занимать...

— Я серьезно, ребята. Как ваше мнение?

— Мое мнение хорошее, — сказал Поддувайло. — Но я бы больше приветствовал, если бы ты анекдоты писал.

— А про любовь что-нибудь есть? — спросил Семен Лобачев.

— В смысле, — про его Марию, — посмеиваясь без злобы, уточнил Боря Кнут.

— Лирических стихотворений у меня много, — заверил Иван Беспризорный. — Хотя бы это... «Я не знаю, как зовут девчонку...»

— Тише, — вскинул винтовку Семен Лобачев. — Кто-то идет...

От дороги в сторону опушки ехали всадники.

Окно светилось в ночи. И на полу у сундука лежал белесый квадрат, рассеченный рамою, точно крестом. Где-то скреблась мышь. В соседней комнате не спали. И замочная скважина по-прежнему оставалась желтой.

Волгин натянул сапоги, присел на сундук, мысленно ругая себя последними словами. Как же он мог оплошать? Забыть на гвозде куртку с пистолетом в кармане! Может, еще не поздно пройти в соседнюю комнату.

За стеной разговаривали. Костя замер у двери. Прислушался.

— Что я, маленький! Это точно, — говорил стриженый.

— А если путаешь? — спросил Требухов. — Ты знаешь, кто он? Зять полковника.

— Все равно... Похож он на того лягаша...

Тикали часы. Под ногами Требухова попискивали доски.

— Что будем делать? Задал ты мне задачу, — бурчал Требухов.

Костя на носках пробирается к окну. Двустворчатую раму соединяет с наличником лишь крашеный шпингалет. Движение руки — и шпингалет легко скользит вверх. Створки расходятся беззвучно.

Земля сразу затрещала под ногами. И собака метнулась к углу дома. Но цепь была короткой. Собака лаяла, но достать Волгина не могла. А он уже бежал через сад до забора. Перевалился через забор. Очутился на улице. И кинулся вперед, ища глазами водонапорную башню.

Звезды прыгали над головой и неслись за ним вдогонку. Полная луна мелькала справа за крышами. Он махал руками, как бегун на дистанции, и пот катился по его лицу. Но рубашка была тонкая, холод легко проникал сквозь нее. Между лопатками леденело, словно он прижимался к стеклу.

Черные шпалы выползали ему под ноги. И он бежал по шпалам, помня о часовом, охранявшем уголь.

И когда часовой крикнул:

— Стой! Кто идет? Стой! Стреляю!

Волгин обрадовался, будто услышал голос близкого человека.

— Ты поскорей, поскорей вызывай своих, — торопил он часового. А часовой смотрел на него подозрительно, точно на сумасшедшего.

Разводящий трижды переспросил. Покачал головой. Но, может, все же поверил, а может, просто путь в караульное помещение пролегал мимо дома, который занимал уполномоченный ГПУ. И разводящий заглянул туда. Кравец оказался на месте.

Кравец удивился. И не скрывал этого.

А Волгин не знал, с чего начать. Не знал, что можно говорить, а что нет. Поэтому, подумав, он сказал самое простое:

— Я от Каирова.

— Два, — сказал Кравец.

— Восемь, — ответил Костя. И на всякий случай добавил: — «Парижский сапожник».

Через семнадцать минут на явку, где оставался Требухов, был совершен налет. Чекисты обыскали дом, подвал, чердак, сарай и сад, но ни Требухова, ни стриженого, ни самого хозяина найти не удалось. На кухне оказались лишь перепуганная женщина да двое плачущих детей.

Куртка Волгина висела на прежнем месте. Но именного пистолета в боковом кармане не было.

Волгин рассказал Кравцу самое главное, про объявление с медалями и монетами. И про телеграмму, которую он должен дать на имя Воронина, если все будет хорошо.

На раздумья не было времени. Но и Кравец, и Волгин сразу сообразили, что самое главное в настоящий момент — перехватить Требухова, не дать ему возможности связаться с Козяковым. Потому что может существовать еще какой-то канал связи, по которому Козяков сумеет предупредить того, кто в городе, об опасности. И тогда сведения, добытые Волгиным, потеряют всякую цену.

Командир кавалерийского эскадрона поступил правильно, выставив засаду возле лошадей, обнаруженных на опушке.

Однако, когда Семен Лобачев вскинул винтовку и сказал: «Тихо. Кто-то идет», — это были не Требухов и его дружки... Это шли Волгин, Кравец и кавалерист — командир взвода...

5

Варвара читала журнал «Вокруг света». Она любила его. Здесь печатались приключенческие повести, интересные рассказы, большей частью переводные: про далекие моря и незнакомые города, по которым обезьяны разгуливают так же свободно, как у нас кошки.

Варваре нравилось читать такие штуки. И она выписывала журнал... Она всегда делала все, что хотела, без лишних слов и шума.

В кресле было уютно. Свет настольной лампы ложился на письменный стол, этажерку, зеленый пуфик и ковровую дорожку неправильным кругом — с затейливым орнаментом по краям.

«Солнце опускалось за горизонт, освещая красными лучами ярко-зеленую поверхность Саргассова моря и Остров Погибших Кораблей с его лесом мачт. Этот исковерканный бурями, искрошенный временем лес, его изломанные сучья-реи, клочья парусов, редкие, как последние листья, — все это могло бы привести в уныние самого жизнерадостного человека.

Но профессор Людерс чувствовал...»

В дверь постучали. «Мать сегодня у сестры. Кто бы

это мог быть?» Часы пробили один раз. Варвара машинально взглянула на циферблат: стрелки показывали половину первого. И от сознания, что она одна и уже поздно, Варвара замедлила шаги. Нерешительно остановилась перед дверью. Ей стало жутко, но лампочка в прихожей перегорела несколько дней назад, и свет падал лишь из той комнаты, где минуту назад она читала книгу.

Стук повторился, требовательный, громкий...

Варвара подняла крючок, повернула ключ. Скрипнула дверь и поплыла в полумрак лестничной площадки. На пороге стоял мужчина в низко надвинутой на глаза кепке. Варвара вздрогнула, но... дверь уже была далеко, и потянуть ее на себя просто невозможно.

Лицо мужчины показалось ей чуточку знакомым. И хотя ей было страшно, так страшно, что хотелось плакать, она ничем не выдала своего испуга, наоборот, нагловато сказала:

— Алло, милый!

«Милый» холодно спросил:

— Одна?

Она неопределенно пожала плечами, лихорадочно думая, что же делать.

— Можно пройти?

— Я жду любимого, — на всякий случай соврала Варвара.

Мужчина вошел в прихожую.

— Закрой дверь, — сказал он.

— Закрой сам, — ответила она. — Я боюсь темноты.

Они прошли в комнату, где горела настольная лампа. Мужчина спросил:

— Ты не разрешаешь мне остаться?

— Да. Это невозможно. Не переношу, когда мужчины увечат друг друга.

Варвара еще не могла его припомнить. Но он вел себя так, будто уже оставался ночевать в этой комнате. Сел в ее кресло. Достал пачку с сигаретами. Варвара охотно закурила. Бросив быстрый взгляд на пачку, поинтересовалась:

— Из загранки?

— Угадала.

С минуту он испытующе разглядывал ее. Потом сказал:

— Ты меня помнишь, Варвара?

— Глупый вопрос. Конечно же, помню, ты обещал на мне жениться и увезти в какой-то... Э... э.. Скадовск!

— Я никогда не был в Скадовске.
— Это где-то между Одессой и Севастополем.
— Возможно. Но я ничего не обещал тебе.
— Я не верю обещаниям.
— Ты большая умница, — покровительственно сказал мужчина.

И когда он сказал эти слова, она вспомнила. Год или два назад он приносил в парикмахерскую французские лаки, помаду, пудру, одеколон. Он не торговался, и все остались им очень довольны. А Варвара, польстившись на коньяк «Наполеон», пригласила его к себе...

— Даже самые умные женщины мечтают выйти замуж, — ответила она.

— Верно. Тем более что всегда можно разойтись. Не правда ли?

— Не пробовала. У меня все получилось проще... Мой супруг угодил в тюрьму... Ладно, ближе к делу. У тебя есть что-нибудь для продажи?

— Зачем так быстро? Мне приятно разговаривать с тобой на отвлеченные темы. Ты молода и красива... Тебе не место в этом городе. В Одессе ты была бы королевой...

— Легко дарить комплименты. Они ничего не стоят. А деньги? Где я возьму денег, чтобы перебраться в Одессу?

— Деньги зарабатывают не только в постели.
— Я этого не знала, — с издевкой возразила она.
— Ты по-прежнему ходишь в клуб моряков?
— Не подыхать же мне со скуки.
— Сегодня не пошла?
— Я хожу не каждый день. Кстати, сегодня понедельник, а по понедельникам клуб не работает.
— Я знаю. Поэтому хочу попросить тебя об одной услуге.

Она передернула плечами. У нее была такая привычка Может, заменявшая усмешку. Может, слова, которые она не смогла бы так быстро подобрать.

— В среду передай эту книгу моему другу. Вы встретитесь с ним в клубе моряков.

Мужчина вынул из-под пальто книгу. Варвара прочла на буром корешке: «Граф Монте-Кристо».

— Как зовут твоего друга?
— Неважно. Он сам подойдет к тебе. Ты будешь ждать его в бильярдной комнате и держать книгу на коленях, раскрытую на тринадцатой странице...

Она скорчила гримасу.

— Не бойся... Все нормально. Я полагал это сделать сам. Но мы стоим в этом порту только семнадцать часов вместо обещанных трех суток. Если он не придет в эту среду, жди в следующую...

— Дуру нашел... — ответила Варвара. — Буду я, как идиотка, таскаться на танцы с книгой.

Достав из кармана бумажник, мужчина отсчитал три сотенные и положил на стол рядом с книгой.

— Это аванс... Потом получишь еще столько. Как видишь, работа не физическая и для здоровья не вредная. Согласна?

Варвара молча кивнула. Однако, словно торгуясь, сказала:

— По нынешним ценам это не такие уж большие деньги.

— Больше, чем твоя зарплата, между прочим, — резонно заметил он. Но все же вновь полез в карман за бумажником и добавил еще сотню.

Она закрыла за ним дверь и несколько минут стояла не двигаясь, зажав ладошками рот, готовая кричать от страха.

6

Припекало солнце. Оно выглянуло совсем недавно, жаркое полуденное солнце. И легкая дымка дрожала над землей и над деревьями, потому что и земля, и деревья, и опавшие листья еще блестели влагой. А ветра не было. И только птицы колыхали ветки, когда садились на них. Ветки поддавались, как резина мячика под пальцами ребенка. И капли падали на землю, яркие, словно кусочки солнца.

В темных лужах, мелких, точно блюдца, лежали листья, над которыми трещали кузнечики, зеленые — величиною с палец, коричневые — размером с фасоль. Выпорхнула бабочка с длинными стреловидными крыльями в черную полоску и долго кружилась над Волгиным, пока он не слез с коня и не повел его под уздцы.

Щебень полз под ногами. Но кусты цепко держались за землю, вставали на пути щебня. И лишь отдельные камни с тихим шорохом скатывались вниз.

Склон, по которому спускался Волгин, был открытым. И Костя, и его конь могли послужить отличной мишенью,

если бы кто-то захотел встретить их выстрелом. Немного успокаивало, что до Лысой горы ходьбы больше часа. А засада в лощине казалась маловероятной, потому что любая группа людей, даже самая небольшая, рисковала быть замеченной сверху.

Неизвестное ждало внизу, за тем склоном. Оно не страшило, а просто сковывало мысль. И порою Костя чувствовал себя беспомощно, точно стрелок с завязанными глазами.

Явка у Лысой горы была последней зацепкой, способной возвратить Волгина в отряд Козякова. Но возвращаться можно, лишь опередив Требухова.

В лощине чуть-чуть тянуло ветром. Журчал ручей, извиваясь между мшистыми камнями. Конь опустил морду. Коснулся губами воды. Фыркнул. И начал жадно пить... Костя присел, зачерпнул горсть воды. Она была прозрачная и холодная. И зубы ломило от нее. Но пить было приятно.

Похлопав коня по крупу, Костя повел его дальше. Правый берег начисто зарос кустарником, но перебираться обратно, на левую сторону, по скользким булыжникам не хотелось. Ручей шумел... Мерно и однообразно. И шум немного раздражал и настораживал Волгина, потому что скрадывал шаги. И свои, и чужие...

Встретился куст кизила, большой, раскидистый. Ягодами усеяна земля. Но и на ветках еще много плодов. Черно-красных! Костя дивился терпкому и одновременно сладкому вкусу переспелого кизила, пахнущего диким лесом. Руки стали черными и липкими от сока...

Но вот опять молчат над головой деревья. И небо редеет за ними, точно сквозь сито. Опять душный и неподвижный воздух. И надоедливая мошкара кружится над гривой коня. На этой последней прямой можно заставить коня бежать резвее. Только нужно ли? Километра через полтора Лысая гора вырастет перед ним, загораживая горизонт, словно египетская пирамида. А на открытом участке нужно скакать во всю прыть. Скакать, как в атаку. Даже страшнее, потому что в атаку по одному не ходят...

Конь сам остановился. И Костя, не ожидавший этого, подался корпусом вперед. Тревожное ржание, настороженно поднятые уши. И вдруг чей-то стон...

Если бы жизнь была длинной, как те дороги, которые он не успел пройти. Если бы ему оставалось видеть небо,

слышать ветер, дышать и бороться больше, чем семнадцать часов, Костя Волгин часто вспоминал бы эту минуту, когда он спрыгнул с коня. И в придорожных кустах увидел Анастасию. Следы крови. И свой браунинг, маленький, но тяжелый, который она сжимала в руке.

Он уже не думал о том, как Анастасия очутилась здесь, на дороге к горе Лысой. Он понял главное: Требухов опередил его...

7

Женщина, перевязанная платком крест-накрест, выкапывала клубни георгинов. Бережно складывала их в плетеную перепачканную корзину... Неширокая, метра в полтора, полоса, окаймляющая газон перед входом в клуб моряков, еще неделю назад белевшая живыми цветами, теперь была перекопана. Женщина уже заканчивала работу, когда оперативный уполномоченный Золотухин появился на набережной.

Втиснутая в море гора чернела, словно вырубленная из угля. Волны переливались бликами, желтыми вблизи, а у горизонта розовыми. Солнце садилось.

Увидев Золотухина, женщина собрала клубни, взяла корзинку и ушла...

Наступил черед Золотухина. Он поставил мольберт, достал краски...

Свет менялся, и тени исчезали. Быстро и заметно, точно след воды на горячем песке. Скрежетали лебедки. Вода омывала сваи обветренной пристани, к которой швартовался грязный, точно бродяга, сухогруз. На его корме трепыхал флаг, сейчас малиновый, потому что закат был очень ярким, и настоящий цвет флага Золотухин не смог определить. Вдоль набережной, словно оспой изрытой солнцем и солью, сидели рыболовы: с десяток мальчишек и меньше — стариков. Удилища свисали над водой. Но рыба ловилась плохо... Впрочем, Золотухин не имел возможности все время наблюдать за рыбаками. Гораздо больше его интересовали люди, входившие в клуб моряков и выходившие оттуда.

Несмотря на то, что вход в клуб моряков был свободным, местные жители редко приходили сюда. Когда наступали сумерки, возле клуба появлялись девицы определенной категории. Они знакомились с моряками, своими и чужеземными, тут же, в скверике.

Клуб моряков работал ежедневно, кроме понедельника. Это был красивый трехэтажный дом с большими концертным, бильярдным, танцевальным залами, рестораном, где за боны или прямо за доллары, фунты, марки продавались самые изысканные блюда и напитки.

Золотухин сразу заметил Варвару. Граф Бокалов накануне познакомил их, представив Золотухина как своего хорошего «кореша». И Варвара успокоилась, поняв, что в клубе моряков она будет не одна, что там будут ее друзья, которых она, может, так никогда и не узнает. Ведь даже с Золотухиным она должна обходиться, как с совершенно незнакомым человеком.

В ту ночь, когда непрошеный визитер поручил ей передать книгу «Граф Монте-Кристо», Варвара не ложилась спать. Она сидела в кресле. Пила холодный кофе и листала «Графа Монте-Кристо», но никаких следов тайнописи или какого-то шифра она не находила.

В третьем часу ночи — опять стук в дверь. Долго не открывала, прислушивалась. Наконец узнала голос Графа Бокалова, ругающегося за дверью. Встретила его как родного. И выложила все будто на духу.

Граф помрачнел:

— Влипла ты, Варя. Одно дело взлом квартир и карманные кражи. Другое дело — шпионаж. За шпионаж — стенка.

Варвара плакала и просила выручить. Тогда Граф сказал, что он сейчас уйдет на некоторое время и чтобы она, кроме него, Графа, никого в квартиру не впускала ни под каким предлогом.

Граф вернулся минут через тридцать, которые показались ей годом, с Золотухиным. Варваре объяснили, что она должна делать и как себя вести.

...И вот сейчас Варвара шла неторопливо. Очень плавной и очень грациозной походкой. Одетая в светлое коверкотовое пальто, с черной газовой косынкой на волосах. В правой руке, согнутой в локте, она несла книгу, прижимая ее к груди.

Кто-то из подружек поздоровался с маникюршей. Она кивнула. Затем потянула на себя бронзовую, начищенную до блеска дверную ручку и вошла в клуб моряков.

Фойе блестело паркетом. Лестница из белого мрамора, ведущая на второй этаж, была покрыта широкой темнобордовой дорожкой с голубыми полосами по краям. Изогнутые канделябры мерцали на стенах, словно свечи.

Гардероб размещался в полуподвале. Варвара сдала пальто. Поправляя волосы, положила книгу на столике возле зеркала.

Какой-то мужчина остановился за ее спиной. Она видела лишь блестящие от бриолина волосы и нос с большими ноздрями.

Мужчина маслено улыбнулся:

— Готов спорить, что книга, которую вы читаете, самая увлекательная на свете.

— Не знаю, — ответила Варвара. Она действительно не знала, что это за книга. Она не читала ее и ничего о ней не слышала. Вернее, смутно помнила, что рассказывали еще в детстве подружки, читавшие эту книгу.

— Интересуюсь названием, — сказал мужчина.

— «Граф Монте-Кристо».

— О-о... Занимательно. Мы еще увидимся, — бросил мужчина. И крикнул кому-то: — Роза Карловна, одну минуточку...

В бильярдной плавает папиросный дым. На зеленых столах шары, желтые и блестящие, словно налитые яблоки.

Возгласы. Разговоры. Говорят и по-немецки, и по-французски, и по-английски. Но Варваре все равно. Она не знает другого языка, кроме русского. Учила в школе немецкий: «фатер, муттер, киндер...» А больше не помнит.

Она сидит, закинув ногу на ногу, в костюме из мягкой шерсти, свежая и привлекательная. И глаза у нее красивые, задумчивые. И она не читает книжку, а думает о чем-то своем, наверное, очень важном и очень далеком... Книжка уже полчаса как открыта на одной и той же странице — тринадцатой.

А в танцевальном зале играет радиола. Бойкая мелодия. Называется «Рио-Рита».

Темнокожий в салатовом пиджаке и клетчатых брюках подходит к Варваре, любезно раскланивается. Что-то говорит. Вероятно, приглашает на танец.

Она не менее любезно отказывает. Темнокожий улыбается, обнажая зубы. Они у него обыкновенные. И просто кажутся большими.

Варвара терпеливо слушает музыку. Фокстроты, танго, вальсы...

И вдруг ей стало не по себе. Хотя никто не обращал на нее внимания. И вокруг бильярдного стола мужчины

спорили и даже размахивали киями, словно шпагами. А потолок по-прежнему голубел от дыма. Но у Варвары сердце замирало, словно она прыгала с большой высоты. Сказывалась усталость, вызванная бессонной ночью. Не случайно, собираясь в клуб моряков, Варвара больше часа провела перед зеркалом, растирая лицо кремами, пудрясь, укладывая волосы...

Золотухин сказал, что, если никто не подойдет к ней и не заинтересуется книгой, она должна находиться в бильярдной до тех пор, пока не заиграют танго «Брызги шампанского».

В который раз Варвара перечитывала начало второй главы: «Известие о прибытии «Фараона» не дошло еще до старика, который, взобравшись на стул, дрожащей рукой оправлял настурции и ломоносы, обвившие окошко. Вдруг кто-то обхватил его сзади...»

Подсаживается пузатый иностранец. Маленькие глазки за выпуклыми очками в позолоченной оправе. Оценивающе смотрит на ноги Варвары. Что-то бормочет гнусаво, протягивает чулки.

Чулки, конечно, хорошие. Из черного шелка. И осенью, и зимой такие чулки были бы кстати. Но Варвара не имеет права их брать. Да и пузатый ей противен. Пусть о ней думают что угодно, но она еще никогда не опускалась до того, чтобы лечь в постель с человеком, который ей не нравится.

«Известие о прибытии «Фараона»...»

«Известие о прибытии «Фараона» еще не дошло...»

Вот и знакомая мелодия. «Брызги шампанского». «Почему брызги? Почему?..»

Варвара поднялась и пересекла танцевальный зал, в котором кружилось всего лишь несколько пар. В раздевалке она лицом к лицу столкнулась с полной, сильно накрашенной дамой, которая, увидев в руке у Варвары книгу, громко воскликнула:

— Я давно мечтала об этом романе! Милочка, вы не оставите мне его почитать?

Не успела Варвара что-либо ответить, как женщина уже потянулась за книгой.

— Пожалуйста, — ответила Варвара.

— Чудесно. Я верну, как только увижу вас здесь.

— Роза Карловна! — окликнула даму гардеробщица. — Вам целый вечер звонит мужчина. А я нигде не могу вас разыскать.

Граф встретил Варвару у выхода. Без всяких предосторожностей сказал:

— Провожу тебя.

Она ответила:

— Это можно?

— Нужно, — ответил он.

Ночь была тихой. Дорога казалась белой, точно вымазанная известью. Сады утопали в темноте. Но вершины деревьев тоже были белыми, как дорога. Светила луна. Большая, полная...

8

Весь вечер Каиров не выходил из своего кабинета, но все, что происходило в клубе моряков, было известно ему до мельчайших подробностей. Телэфон звонил каждые пять-десять минут. К сожалению, первые полтора часа не принесли ничего утешительного. И вдруг:

— Варвара передала книгу пианистке Розе Карловне. В момент передачи книга не была раскрыта на тринадцатой странице. И Варвара находилась в гардеробе, а не в бильярдной. Сейчас Роза Карловна играет на рояле в голубой гостиной. Книга лежит рядом на столике.

— Продолжайте наблюдение... И выясните, по какому телефону ее вечером спрашивал мужчина.

Каиров повернулся, не вставая со стула, и протянул руку в открытый сейф, стоявший за спиной. Он вынул из сейфа тоненькую папку табачного цвета, на лицевой стороне которой была приклеена бумажка и черными чернилами выведено: «Георгец Никодим Харитонович».

Раскрыл папку. На первой странице фотографии: хмурое, удлиненное лицо, шея с кадыком, нагловатые, без ресниц, глаза.

Не смог удержаться Каиров от улыбки. Он вообще редко улыбался на службе.

Механик судна «Сатурн» Георгец Никодим Харитонович. Это была чуть ли не первая крупная удача. Граф Бокалов оправдал себя. А Варвара, наблюдательная пройдоха, толково выложила устный портрет незнакомца, вручившего ей книгу. Не составляло труда связаться с начальником порта и выяснить, какие суда вышли в море в ночь с понедельника на вторник.

Оказалось, что между субботой и вторником только один сухогруз «Сатурн» швартовался в порту. Он стоял

у пристани ровно семнадцать часов и отбыл в Новороссийск во вторник на рассвете. «Сатурн» был приписан к местному порту. В отделе кадров Каиров довольно-таки легко разыскал фотографию, совпадающую с приметами человека, приходившего к Варваре.

Золотухин показал фотографию маникюрше, и она без колебаний опознала незнакомца.

Кнопка возвышалась над зеленым сукном стола, словно маленькая горошинка. Каиров нажал ее. Дверь открыл сотрудник. Молча остановился у порога, ожидая приказания.

— Введите арестованного.

...Мужчина сутулился. И лицо его было небритым. Он сел на предложенный стул и, щурясь от яркого электрического света, смотрел на зашторенное окно.

— Георгец Никодим Харитонович, — сказал Каиров.

Мужчина кивнул.

— Год рождения тысяча девятьсот первый.

Опять кивок.

— Уроженец города Одессы.

— Да.

— Национальность?

— Родителей не помню. Считаю себя русским.

— Запишем: русский. Образование?

— Самообразование. Юнга. Ученик механика. Затем механик.

— Литературу любите?

Георгец ответил не очень уверенно:

— Люблю.

— Книги каких авторов предпочитаете читать?

— Товарищей Пушкина, Лермонтова...

— Что же вы читали товарища Лермонтова?

Молчание.

— Забыли?

— Да. У меня плохая память на названия.

— В ваши-то годы!

— А что годы? Не годы человека старят, а жизнь.

— И все же странно, — возразил Каиров. — Утверждаете, что поклонник русских классиков, — и не можете вспомнить ни одной прочитанной вами книги.

— Про золотую рыбку помню... И еще «Бородино»...

— Это уже лучше. А скажите, книги товарища Дюма вы любите?

— Не знаю.

— Удивительный вы человек. Может, и роман «Граф Монте-Кристо» не читали?

— Не читал.

— Вы оплошали. Я на вашем месте непременно бы прочитал эту увлекательную книгу, прежде чем передать ее маникюрше Варваре.

— Я никому ничего не передавал, — быстро ответил Георгец и насупился.

— Может, вы и с маникюршей Варварой не знакомы?

— Не знаком.

— Что вы делали в понедельник? В ночь с двадцать второго на двадцать третье ноября, — спросил Каиров. — Отвечайте быстро. Или не помните?

— Не помню, — огрызнулся Георгец.

— Даже малолетние преступники врут ловчее.

— Двадцать второго вечером я был на берегу. Выпил вина. Потом познакомился с женщиной и пошел к ней. С берега вернулся во втором часу ночи. Можете спросить у вахтенного.

— Фамилия женщины и где она проживает?

— Я не спрашиваю фамилии у случайных знакомых. А живет она в железнодорожном городке. Где точно, не помню. Был выпивши.

— Как звали женщину?

— Тоня.

— Георгец, вы опять врете. И опять это заметно. Я, разумеется, знаю, где вы были и что делали двадцать второго ноября. Но хочу помочь вам. Мне кажется, вы запутавшийся человек. Но вы не враг. Нам известно, что вы спекулируете по мелочам, иногда даже контрабандными товарами. Вас давно следовало арестовать. Это помогло бы вам встать на честный путь. Однако история, в которую вас втянули сейчас, не уголовное преступление. Она имеет другое определение — шпионаж в пользу иностранной державы.

Георгец стал бледным как полотно.

— Вы неглупый человек. И знаете, что шпионаж в нашей стране карается сурово. Если вы поможете следствию, это будет принято во внимание при вынесении приговора.

— Что я должен делать? — спросил Георгец.

— Рассказать, кто, где и когда передал вам книгу «Граф Монте-Кристо».

— У меня никогда не было такой книги.

— Вы забыли.

Каиров прикоснулся к кнопке звонка:

— Полагаю, у вас будет время подумать. Вы вспомните все. А завтра утром мы встретимся снова. Разумной ночи, Георгец.

Конвоир увел механика «Сатурна», и Каиров остался один.

Позвонил Золотухин. Сказал, что Роза Карловна благополучно прибыла в свой дом. Комната, которую раньше занимал Мироненко, теперь сдана молодоженам. У них маленький ребенок. Он чем-то болен. Все время плачет. Роза Карловна заходила к квартирантам. Видимо, рекомендовала вызвать врача. Потому что квартирантка тут же оделась и ушла. Роза Карловна проводила ее до калитки. Заверила: «Хороший врач. Старой школы. Сошлитесь на меня, и он придет непременно».

Каиров сказал Золотухину, чтобы тот продолжал наблюдение.

Затем принесли две шифрованные телеграммы из Ростова. В первой сообщалось, что убитый в сентябре Бабляк Федор Остапович разыскивается Саратовской конторой «Заготсырье» в связи с хищением крупной суммы денег. Вторая телеграмма была очень важной. Она содержала сведения, которые Волгин успел передать Кравцу.

«Значит, так, — расхаживал по кабинету Каиров, — убийство Бабляка не имеет политических мотивов. Возможно, не имеет. Встреча Бабляка и Хмурого, зафиксированная на фотографии, могла быть чисто случайной. А Хмурый прихлопнул Бабляка, видимо, с целью грабежа. Допустим, так... Но куда же Хмурый дел деньги? Не мог ли он передать их Ноздре под видом чемоданчика с вещичками? Маловероятно... Но придется вспугнуть Ноздрю, произвести обыск».

Дела идут хорошо. В руках Каирова три нити. Георгец. Роза Карловна... «Коллекционер приобретет старые монеты и медали...»

Это уже целая сеть. И рыбе трудно будет из нее вырваться, какой бы крупной она ни была...

В одиннадцать вновь позвонил Золотухин. Соседка привела... доктора Челни.

Ну и Челни. Восьмой месяц работает в уголовном розыске, а частной практикой занимается, словно земский врач. Нужно поговорить с ним официально.

— Следите за Розой. Не спускайте глаз с ее дома.

8*

Через четверть часа Золотухин докладывал:

— Доктор Челни ушел. Роза Карловна жаловалась ему на печень.

— Он тебя видел?

— Да. Поздоровался. И спросил, что я здесь делаю? Я ответил: она опаздывает на свидание.

— Ох, Челни! Я же запретил ему подрабатывать на стороне.

Затем он взял чистый лист бумаги. И стал писать объявление: «Коллекционер приобретет старинные медали и монеты...»

9

У Лысой его никто не ждал. Однако следы копыт и запах конского навоза свидетельствовали, что час или два назад здесь находились два всадника, поспешно ускакавшие на юго-запад, может, вспугнутые именно выстрелами.

Анастасия продырявила Требухова в четырех местах. Но у него еще хватило сил вскочить на ноги и пробежать метров десять. А потом он споткнулся и покатился под гору. И Волгин просто случайно увидел тело, застрявшее в кустах, когда метался в поисках воды, надеясь привести Анастасию в чувство.

Требухов был мертв. Но открытые глаза его удивленно смотрели на землю, словно никогда не видели ее раньше.

Минут через пятнадцать Анастасия пришла в себя. Она глядела на Костю с каким-то диким изумлением.

— Какое счастье, что ты жива, — сказал он.

Она молчала.

— Тебе нужно помыться. И ты мне все расскажешь...

Они вместе нашли ручей, и она попросила его уйти. Раздевшись донага, обмыла себя студеной водой. Вернулась от ручья раскрасневшаяся. И было заметно, что белье она надела на мокрое тело.

— Что случилось? — сразу же спросил Костя.

Анастасия отвечала сбивчиво, волнуясь. Но он понял следующее...

Рано утром в дом егеря Воронина явился Требухов. Он сказал, что Аполлон вовсе не Аполлон, а сотрудник уголовного розыска... Воронин был на пасеке. Но Требухов не стал его ждать. И велел Анастасии быстро собрать необходимые вещички и идти с ним.

«Куда?» — об этом Анастасия спросила, когда они уже находились в лесу.

«К отцу», — ответил Требухов.

«Я хочу к бабушке. В Москву. Покажите мне дорогу...»

«Я не знаю в Москву дорогу».

«Тогда я найду ее сама», — решительно ответила Анастасия и повернула на ту дорогу, где и нашел ее Волгин.

«Вернись, — остановил ее Требухов. — Ты знаешь, кто твой отец?»

«Догадываюсь...»

«Вот-вот... Тебя будут судить, если задержат. Большевики не признают церковных браков. И то, что ты спала с их агентом, не поможет тебе».

«Подлец! Мне безразлично, кто он — сотрудник уголовного розыска или рыбоконсервного завода... Он мой муж. И я люблю его».

Тогда Требухов набросился на нее. Повалил на спину. Но... из кармана выпал пистолет Кости. И Анастасия выстрелила четыре раза...

— Это правда, что говорил Требухов? Как тебя называть — Аполлоном или...

— Костей. Ты очень разочарована?

— Пусть Костя. Но я хочу знать всю правду. Я должна знать правду... — убежденно сказала Анастасия.

— Вся правда в том, что я люблю тебя.

— А ты... Ты имеешь на это право?

— Я не знаю, что такое право на любовь.

— Но почему ты не сказал об этом тогда, ночью?.. Ты не верил мне? Ты думал, что я способна тебя предать?

— Я не мог.

— Что мы будем делать теперь?

— Возвращаться на станцию. У нас есть лошадь. И мы доберемся к утру... Жена Воронина слышала, что говорил Требухов?

— Да. Она перепугалась...

— У меня есть краюха хлеба. И я знаю, где растет кизил. Там пообедаем.

— Мне не хочется есть. Совсем не хочется. Как все запуталось. Отец и ты. Он убьет тебя, если поймает?

— Или я его, или он меня...

— Это ужасно. Почему все так сложно в жизни?

— Помнишь у Киплинга «Маугли»?.. Там тигр-людоед.

— Помню.

— Твой же отец лишил жизни людей побольше, чем тигр Киплинга... Семьи вырезал. Детей малолетних не щадил...

— Это ужасно, — повторила Анастасия.

— Садись на коня, — сказал он. — Было бы неплохо засветло выбраться из этих дебрей.

...Они двигались остаток дня, вечер и большую часть ночи.

Потом произошла встреча.

Силуэт всадника, скакавшего одвуконь, мелькнул на фоне неба, более светлого, чем горы и лес, и Волгин сказал Анастасии, что это полковник Козяков. Он сказал, что узнал бы полковника с любого расстояния и ночью и днем, потому что тот учился верховой езде в императорском Александровском лицее и сидел в седле артистично.

Стук копыт приходил снизу. Можно было догадаться, что всадник уже выбрался из ущелья и горной дорогой, на которой с трудом могли бы разминуться две лошади, поднимался сюда, к дубу, где стояли Анастасия и Костя.

Глухо крикнула большая птица. Улетела в ночь, рассекая воздух черными крыльями...

— Это точно Козяков, — тихо сказал Волгин.

— Спрячемся, — прошептала Анастасия.

— Пусть прячется он. Мы у себя дома. Мы здесь хозяева.

Анастасия вспомнила, что у нее в кармане пальто лежит пистолет мужа. Она опустила руку в карман, чтобы передать Константину личное оружие. Но тут же увидела в правой руке Волгина другой пистолет.

Конь Волгина внезапно заржал. Козяков остановил свою лошадь.

— Руки вверх! — крикнул Костя и шагнул навстречу полковнику.

Но в это время за его спиной раздался выстрел. Волгин упал плашмя. И даже не вскрикнул...

Вздрогнул конь под Козяковым, поднялся на задние ноги. Едва удержался в седле полковник.

— Не пужайтесь, господин полковник... — Из-за дуба вышел егерь Воронин с ружьем наперевес.

— Кого это ты успокоил, Сергей Иванович? — спросил Козяков, спрыгивая с седла. Но, не дождавшись ответа, вдруг опознал Анастасию и бросился к ней.

— Анастасия! Бог милостив! Бог милостив! Я не рассчитывал тебя найти.

— Что вы наделали? — выдохнула она. — Что наделали? Вы убили его! Мерзавцы, подлецы, бандиты сволочи...

— Успокойся, дочка. Успокойся...

— Это Аполлон, — сказал Воронин. — Они уже здесь около получаса отдыхали.

Сбросив оцепенение, в которое ее ввел внезапный выстрел, Анастасия подбежала к Волгину. Упала рядом с ним на колени и прижалась лицом к его голове. Пуля, вероятно, попала в затылок. Волгин был мертв. Но кровь еще не остыла.

— Нашел? — спросил Козяков Воронина.

— Да. В полной сохранности. Только перекласть во что-то нужно. Несподручно тащить в горшке будет...

— Придумаем. Где золото?

Егерь повернулся, чтобы идти к дубу, и уже сделал несколько шагов, когда поднялась Анастасия, быстро приблизилась к Воронину и выстрелила в то место, где воротник кожуха облегал шею. Затем она повернулась к отцу:

— А теперь твоя очередь...

— Анастасия. Не смей!

— Не подходи...

— Анастасия, Воронин принес золото. Мы сегодня же уедем отсюда. Уедем туда, куда я обещал...

— Не подходи!..

— Я не двигаюсь. Это тебе просто кажется!

Но она выстрелила все равно...

Эх! Только все это привиделось Анастасии. Привиделось, приснилось. Бывают же сны, похожие на явь.

Это, конечно, хорошо, что не случилось ничего страшного, непоправимого. Что уснула Анастасия, просто уснула.

Волгин и Анастасия действительно шли день, вечер и большую часть ночи. Большую часть, но не всю ночь. Потому, что идти всю ночь у Анастасии не было сил. И они сделали привал возле заброшенного шалаша, с которого еще не облетели сморщенные, как гармошка, листья.

И когда Анастасия открыла глаза, то поняла, что они с Костей не одни. Кругом лошади и люди... Потом она услышала голос отца... И перепугалась за Костю...

Но Козяков еще не встречался с Ворониным. Ничего не знал... И он, вероятно, спросил Костю, почему они здесь. И Костя что-то сказал...

Когда Анастасия проснулась, то все уже очень торопились. Козяков сказал ей, что встретились они кстати. И бродить, и скитаться осталось им недолго. Он угадал, словно смотрел в воду. Но, конечно, вкладывал совсем другой смысл в свои пророчества...

Сели на лошадей. Анастасия ехала рядом с Волгиным. Наступало уже утро. Красивое утро. Но вдруг впереди крикнули:

— Красные!

А потом началась беспорядочная стрельба. Конь понес Анастасию, и Волгин едва догнал ее. Схватил коня под уздцы.

А пули шипели и свистели. И кора отскакивала от деревьев, и белые щепки тоже. Вспышки выстрелов мелькали, будто кто-то размахивал желто-красными цветами. А потом упал один человек, и другой лежал на земле с разбитым в кровь лицом.

Козяков подтащил пулемет. Пулемет «максим». Поставил на очень хорошее место, а красные были внизу, и прошивать их из пулемета было очень сподручно. Козяков сам лег за пулемет. Брызнуло пламя. И люди внизу словно начали спотыкаться. Тогда Волгин, разгоряченный боем, крикнул:

— Уходи, атаман, я прикрою.

Козяков кинулся к лошади. Прокричал:

— Аполлон, мы поддержим твой отход огнем! Действуй!

Костя лег за пулемет, а козяковцы повскакивали на коней и подались в горы... Но когда они отъехали метров на сто, Волгин развернул пулемет и стал стрелять им вслед. И они падали и кричали. И тяжелые кони летели через головы, ломали хребты, ноги...

Стреляли и сверху, и снизу.

Анастасия лежала рядом с Волгиным и стреляла в бандитов из пистолета. И пуль было больше, чем пчел в улье. И попробуй узнай, чья пуля нашла Костю Волгина. Попробуй узнай!

Костя, конечно, видел, как выпал из седла прошитый очередью полковник Козяков. А что он еще видел, никто не знает...

...Утром кавалерийский дозор задержал молодую де-

вушку с обезумевшими глазами. Она сжимала в руке браунинг и пыталась стрелять. Но патронов в обойме больше не было...

10

Золотухин стоял у тополя, торчавшего на изгибе улицы Отсюда ему был виден дом Розы Карловны, вернее, верхняя часть дома и калитка, потому что высокий фундамент и ступеньки крыльца прикрыли вьющиеся по забору розы. И хотя розы сейчас уже не цвели, кусты их были достаточно густыми, чтобы делать невидимым с улицы двор и нижнюю половину дома.

После полуночи Золотухин подошел к забору вплотную. Теперь он мог лучше рассмотреть дом и дорожку, пролегающую между домом и палисадником. Тишина. Даже слышно, как маневрируют паровозы, хотя железнодорожное депо неблизко... А на часы лучше не смотреть. Время тянется долго. Так долго, словно дремлют часовые стрелки, словно они тоже наморились за день.

И вдруг Золотухин различает звук... Будто скрипнула дверь, заунывно, протяжно... Или показалось?

Бесшумно и легко (уж такая у него походка) Золотухин пробирается к калитке. Отодвигает задвижку. Двор уложен камнями, разными по размеру и по форме разными. Обыкновенными, случайными камнями. Золотухин задевает один из них носком ботинка и едва не падает. Нехорошая примета. А он верит в приметы. Хотя никому не признается в этом. Комнаты, в которые ведет парадное крыльцо, занимают квартиранты. Роза Карловна живет в противоположной части дома.

Двор густо зарос деревьями и виноградом. Во дворе темнее, чем на улице. И плохо видно из-за темноты. Золотухин огибает дом. Если с улицы дом имеет высокое бетонное крыльцо с белыми гладкими ступеньками, то с тыльной стороны — длинная деревянная терраса, незастекленная.

Золотухин останавливается возле узких ступенек, заглядывает на террасу. Дверь в комнату приоткрыта. Немного приоткрыта. На ширину ладони. Ну, может, чуть больше. Странно. Одинокая женщина. Пожилая. Ложится спать и забывает прикрыть дверь. Некоторое время Золотухин неподвижен. Потом, вынув из кармана наган и

фонарик, он поднимается на террасу и рывком распахивает дверь.

Луч фонарика опережает его. Роза Карловна лежит на смятой подушке. Рот широко раскрыт, глаза большие, набрякшие.

...Приезжает Каиров и с ним несколько оперативных работников. Машина останавливается под горой. К дому поднимаются гуськом. Каиров тяжело дышит от быстрой ходьбы. Пока доктор Челни осматривает труп, Каиров и Золотухин бродят по саду. Выясняется, что сад заканчивается оврагом. Непроходимым? Как сказать! Просто поросшим кустами ежевики и хмеля...

Доктор Челни констатирует, что никаких внешних следов насильственной смерти на теле Розы Карловны нет. Окончательное решение покажет вскрытие.

Да, но где же роман Дюма? Может, в доме есть тайник? Нужно все обыскать тщательнее.

11

Когда он подержал письмо над паром, между строчек выступили цифры.

010	056	002	009
003	223	068	003
009	068	008	204

И еще другие цифры.

Тринадцатая страница романа «Граф Монте-Кристо» начиналась следующей строкой: «Будь в Париже улица Каннебьер, Париж был бы маленьким Марселем».

Десятой была буква «ж», третьей буква «д», девятой «и»...

«Жди...» и далее, таким же методом: «... яхту тридцатого косого мыса два часа ночи сигнал круги красным огнем».

Мужчина взял книгу, письмо, конверт. Подошел к печке. Открыл заслонку. И бросил письма и конверт в пламя. Затем он по два, по три листка вырывал из книги и тоже клал их в огонь, свертывая в трубочки...

После он разворошил пепел кочергой. И вышел из дому. Небо было облачным. Солнце не показывалось. Было прохладно.

На улице, в конце которой высилось, мутнея стеклянной крышей, здание рынка, женщины торговали

последними георгинами. На углу возле рыбного магазина мужчина остановился. Среди десятка объявлений, написанных на обрывках бумаги («Ищу няню», «Продаю шкаф», «Учу игре на баяне»...), мужчина отыскал одно, видимо заинтересовавшее его.

Коллекционер приобретет
старинные медали и монеты,
а также литературу
по нумизматике.
С предложениями обращаться:
Главпочтамт,
до востребования,
Лазареву Юрию Михайловичу.

12

Таблетка акрихина была горькой на вкус и очень приятной, светло-желтой на цвет. Каиров поморщился, запивая таблетку водой, и выругался в душе: опять подобралась лихорадка, нашла ключик. И всему причиной два последних происшествия: ночное — с Розой Карловной и утреннее — с механиком судна «Сатурн».

В голове гудело. И немного знобило. И пот, который выступал на лбу и под мышками, был очень холодным, как вода из-под крана.

Пришел Граф Бокалов.

— Здравствуйте, Мирзо Иванович.

— Здравствуй, Володя. Садись!

Граф подвинул стул поближе к столу.

— Ты не интересовался, Володя, почему в тебя стреляли?

Граф рассудительно ответил:

— Можно допустить один из двух вариантов: или меня с кем-то перепутали, или кому-то известно, что я на... — Он хотел сказать «на вас», но тут же поправился: — ...что я у вас работаю.

— У нас много людей работает. Но без причины в наших сотрудников не стреляют.

— Разве я сотрудник?

— Внештатный... Но при желании и старании... Ладно, мы еще вернемся к этому разговору в более подходящий момент. А сейчас, Володя, к тебе еще один вопрос. Ты мне обо всем рассказываешь?

— Мирзо Иванович, как вы можете сомневаться! Все, что представляет маломальский интерес, вам известно.

— А то, что не представляет маломальского интереса?

— Разве я имею право отнимать у вас время на всякую чепуху?

— Дорогой, если в человека стреляют, это не чепуха. Иди к Нелли, возьми у нее чистой бумаги. И опиши все, день за днем, до того вечера. Пиши, с кем встречался, о чем говорил, что делал. Факты, мне известные, можешь не описывать.

Как только Граф ушел, принесли заключение медицинской экспертизы. Оно подтвердило предположение Каирова: Роза Карловна не умерла своей смертью, ее задушили.

Оставалось последнее. Объявление.

— Нелли, разбудите Золотухина.

Золотухин вначале умылся. И лишь потом пошел к начальнику.

— Георгец раскололся? — первое, что спросил Золотухин.

— Нет.

— Вы его допрашивали?

— Нет. — Каиров говорил, как всегда, когда он был раздражен, «нэт».

Но Золотухин никогда не отличался особым тактом и, казалось, не замечал плохого настроения начальника.

— Не успели?

— Как ты угадал? Не успел.

— Может, допросим?

— Этого нельзя сделать. Сегодня утром, за завтраком, Георгец принял яд.

Золотухин присвистнул от удивления.

— Не знаю, где уж он хранил цианистый калий. Не могли же его подбросить здесь, у нас! В моем учреждении! Но он принял яд с чаем, предварительно аппетитно позавтракав. Эта деталь настораживает.

— Нужно проверить отпечатки пальцев на посуде, — решительно предложил Золотухин.

Каиров махнул рукой.

— А... Чтобы подбросить яд в чай, не обязательно касаться кружки. Дошкольники такими делами не занимаются. Вот что, дорогой мой Золотухин, пиши объявление.

В те времена членский билет Общества Красного Креста и Красного Полумесяца являлся документом, весящим достаточно для того, чтобы, взглянув в него, вам выдали корреспонденцию «до востребования».

Два дня спустя, после того как объявление появилось на углу рыбного магазина, что стоит возле колхозного рынка, Золотухин показал девушке с почты, сидящей за широким расколотым стеклом, членский билет Лазарева Юрия Михайловича и вежливо осведомился, не поступало ли что-нибудь на это имя.

Признаться, Золотухин был не в состоянии скрыть удивления, когда девушка приветливо положила перед ним пять писем. Достаточно было одного беглого взгляда, чтобы понять — письма писали разные люди.

Однако вежливость — прежде всего. Золотухин ответил улыбкой на улыбку девушки с почты. И поспешил к Каирову.

Итак, писем было пять.

Распечатали первое:

«Мы, члены краеведческого кружка школы № 8, прочитав ваше объявление, решили установить с вами контакт, но не на предмет купли и продажи старинных монет и медалей. А для взаимного обмена медалями и монетами... С пионерским приветом...»

Второе:

«Товарищ Лазарев!

У нас на чердаке лежат какие-то книги, на которых изображены монеты и медали. Но книги эти не русские. А на каком языке, не знаю. Если они вам нужны, отдам их даром. Василенко, работаю токарем».

Третье письмо было своеобразным:

«Ответьте мне на один вопрос, гражданин Лазарев: почему случается так, что в то время, как вся страна и весь народ напрягают силы на создание тяжелой индустрии, находятся люди, которые не помогают стране и народу в гигантском строительстве, а зарываются в мещанской трухе и выискивают разные монеты и медали, отлитые при ненавистном царском режиме? Недорезанный буржуй вы, гражданин Лазарев».

Подписи, разумеется, нет. Обратного адреса тоже.

В четвертом письме некий товарищ Коблев, шофер автобазы райпотребсоюза, предлагал товарищу Лазареву

черкесский кинжал в серебряных ножнах. Кинжал старинный... Но... Шофер Коблев честно признавался, что ни монет, ни медалей у него нет.

«В память о моем покойном муже я храню коллекцию монет, собранную им в первые годы нашей совместной жизни. Это большая коллекция. И я не очень разбираюсь в ней, но помню, что среди монет имеется даже луидор времен Людовика XIV, которым муж мой очень гордился. В свободное время можете навестить меня, во второй половине дня я всегда дома. Адрес: улица Мойка, 16, кв. 41. Седых Ольга Павловна».

Каирову было над чем задуматься. Золотухин сказал:

— В этом весь фокус. Лазарев один. Адресатов же в городе, где население триста тысяч, не считая приезжих... Адресатов может быть сколько угодно. Я не удивлюсь, если завтра милая девушка предложит десяток писем.

Конечно, Золотухин преувеличил. На другой день девушка с почты положила перед ним четыре письма, на третий день тоже четыре. Больше писем пока не поступало.

Тринадцать писем! Роковое число. Не будем приводить здесь содержание остальных писем. Первые пять достаточно характеризуют корреспонденцию, поступившую на имя Лазарева Юрия Михайловича.

— Знаешь что, — сказал Каиров Золотухину. — Козяков, видимо, сообщил Волгину не весь пароль, а только первую его часть.

— Не вижу смысла, — возразил Золотухин. — Я склонен думать, что Волгин не успел впопыхах рассказать все Кравцу. Или Кравец запамятовал. Будь Костя жив... Я одного не пойму, почему его тогда опять понесло в горы.

— Я говорил с Кравцом по телефону. У него создалось впечатление, что Волгин вернулся из-за этой девочки, из-за Анастасии. И Кравец не мог запретить ему. Так как задание не было выполнено до конца, он имел все основания вернуться в горы. Это было его право на риск, дело профессиональной чести.

— Да. Я знал Костю. Если он полюбил, значит, девчонка заслуживала этого.

С минуту было молчание. Может, как дань уважения погибшему товарищу. Может, это получилось просто само собой.

— Так, дорогой Золотухин, все-таки мне кажется, что Козяков сообщил Волгину первую половину пароля, вторую он сообщил другому человеку, который должен был ехать тайно от Волгина и даже следить за ним. Вероятно, этим человеком был Требухов. В момент, когда Волгин получил бы корреспонденцию «до востребования», они повстречались бы, и тот, другой, выбрал бы нужное письмо. Ибо он знал условные слова, которых не знаем мы. Выход один. Писем всего тринадцать. Пионеры не в счет и строитель индустрии тоже. Остается одиннадцать писем. Следует уточнить, что за люди их авторы. Действуй.

На столе под папками лежали листки, исписанные Графом Бокаловым. И когда Золотухин ушел, Каиров принял папки и подвинул листки к себе.

Граф писал крупным почерком, слегка наклоненным влево, жирно макая перо в чернила, и поэтому буквы вышли сочными и броскими. И читать было легко.

Вначале Каиров откладывал листок за листком, дивясь добросовестности Графа и тем не менее не находя в записях ничего интересного. Но вдруг вздрогнул, словно коснулся чего-то холодного. И вновь перечитал абзацы, насторожившие его.

«Не знаю, из каких источников Варвара узнала, что у старушки водится золото. Возможно, все это явилось плодом воображения Варвары. Я не высказывал определенного отношения к предложению Варвары, но и не мог отказаться от участия «в деле», чтобы не навлечь подозрений Левки Сивого.

Наконец, Варвара прямо высказалась, что пора нанести визит мадам Седых (так она называла старушку — хозяйку квартиры).

Мы работали втроем.

Левка остался на улице. Я и Варвара вошли в подъезд. И я тут же почувствовал беспокойство. И Варвара тоже. Мы остановились, одолев первую ступеньку. Дверь захлопнулась, и свет проходил через окно над дверью, которое было заделано цветными маленькими, размером с половину кирпича, стеклами. Зеленые и красные пятна лежали на полу и на обшарпанных стенах, словно в подсвеченном аквариуме.

По лестнице кто-то спускался. Секунд через пять мы увидели на площадке сухонького пожилого человека, немного сутуловатого, который, судя по звуку и частоте

шагов, спускался довольно легко. Заметив нас, человек остановился, круто повернулся и быстро пошел наверх.

Мы тоже пошли, потому что стоять было дальше неловко. И Варвара и я чувствовали себя скованно. Мужчина поднимался все выше и выше. Наконец на четвертом этаже он вошел, как нам показалось, в сорок первую квартиру — квартиру мадам Седых. Мы точно не видели, куда вошел мужчина. Но были уверены, что скрипнула именно левая дверь. Постояв на площадке, мы так и не рискнули стучать и представляться инспекторами городского жилищного управления. Мы вернулись вниз, а Левке сказали, что не достучались...»

Остальные записи не представляли ничего любопытного, разве что в психологическом плане. А между тем... В Графа Бокалова стреляли.

Каиров перевел взгляд на листок, где были записаны фамилии одиннадцати человек, откликнувшихся на объявление нумизмата, подчеркнул фамилию Седых и поставил против нее жирный восклицательный знак.

14

— Володя, ты смог бы опознать того пожилого мужчину, которого видел в подъезде дома мадам Седых?

— Разумеется, Мирзо Иванович. Тем более что я видел его не только в подъезде, но и в тот вечер, когда Варвара носила книгу в клуб моряков. На обратном пути он повстречался нам на Приморском бульваре. Я сразу шепнул об этом Варваре. У меня гениальная память на лица.

— Проверим, — решил Каиров.

И уже через час Бокалов с Золотухиным, как выразился Граф, «арендовали» комнату Варвары. Из окна отлично был виден шестнадцатый дом на Мойке и подъезд, ведущий в квартиру сорок один.

К Варваре в комнату провели телефон и обещали не отключать, что, естественно, обрадовало хозяйку.

Целый день Золотухин и Граф наблюдали безрезультатно. К вечеру набежали тучи. Стал моросить дождь. Разгулялся ветер... Людей на улице поубавилось. И это облегчало задачу Графа. Но окно сделалось мокрым, и приходилось всматриваться, до боли напрягая глаза.

Вероятно, Граф был человеком везучим. Когда каза-

лось, что темнота вот-вот наступит, наступит раньше, чем зажгутся фонари, Граф сказал:

— Он.

— Ты не ошибся? — спросил Золотухин, глядя на человека, шагавшего под дождем.

— Нет. Смотри, он сейчас свернет в подъезд. Ну? Что я говорил?

Золотухин позвонил Каирову:

— Мирзо Иванович, Бокалов опознал человека, зашедшего во второй подъезд дома шестнадцать. Да, но это, к моему удивлению... доктор Челни.

— Следите за ним, — сказал Каиров. — Поджидай на улице. Когда он выйдет из дому, пусть Граф сообщит мне по телефону.

Через полчаса Каиров получил у прокурора разрешение на обыск в квартире Седых Ольги Павловны. А также ордер на арест доктора Челни и на обыск в его квартире. Еще четверть часа назад, просматривая материалы расследования обстоятельств отравления механика судна «Сатурн», Каиров обратил внимание, что в момент приготовления завтрака на кухне, кроме повара, находился только один человек, доктор Челни, который снимал пробу пищи.

А еще через некоторое время Каиров установил, что отпечатки пальцев, оставленные доктором Челни на посуде, совпали с теми, что были обнаружены в комнате Нелли на стеклах книжного шкафа.

15

Доктор Челни вышел из дома мадам Седых черным ходом, через котельную. Нет, он не заметил, что дом находится под наблюдением. Но его чутье, поистине волчье чутье, взывало к осторожности.

Итак, человек, который дал объявление, на встречу не явился. Возможно, он уже задержан. Возможно, нет. Гадать не стоит.

На эту явку доктор больше не придет.

Девять лет прожил он в городе, нося личину подточенного годами старика. На последнем году даже в милицейские врачи пробрался. Репутация: не пьет, не курит, к больным внимателен. Достойный человек.

Интересно, довольны ли его работой там, за границей. Организовать банды и на первых порах снабдить их ору-

жием ему удалось. Но потом... Не хватило ловких людей, способных переправить боеприпасы из города в горы. Первая осечка вышла на Бабляке. Ему было обещано место на яхте при условии, что он отработает его — займется доставкой патронов Козякову. Бабляк согласился, но после струсил. Хмурый чисто убрал его. Но угро искало Хмурого за старые грешки. Опознало. Привесило хвост. Пришлось ликвидировать. Грубо. В самый последний момент. А заодно с Хмурым и Мироненко. Он мог слышать, как Челни звонил в гостиницу и велел не появляться возле афиши «Парижский сапожник», потому что встреча с этим олухом Хмурым была назначена у рекламного щита.

Георгец идиот. Да, ему пришлось работать с такими идиотами, как Георгец, который способен доверить девке важное поручение только потому, что он однажды с ней спал. Пришить бы эту Варвару, да некогда. Пришлось пожертвовать Розой Карловной. И самое печальное, оставить следы...

Челни свернул на Приморский бульвар. Здесь ветер был сильнее и слышался шум волн. Челни с испугом подумал, что, если разыграется шторм, яхта едва ли придет тридцатого. Ветер качал редкие фонари, и круги света прыгали по скамейкам, по голым деревьям, по мокрому асфальту. И представлялось, что это мечется сам бульвар. На душе доктора было очень неспокойно.

Лодочник Кузьмич, как и договорились, ждал его у «бочонка». Возле стойки, прямо на открытом воздухе, пили еще несколько забулдыг. Челни попросил стакан «хванчкары». Отошел с Кузьмичом в темноту.

— Ящики сегодня утопи, — негромко проговорил Челни.

— Все шесть?

— Да.

— Свежевато на море.

— Деньги тебе отправлены по почте.

Кузьмич кивнул, что понял.

Челни допил свое вино. Стакан поставил на прилавок. Купил пачку «Казбека». И пошел дальше. К набережной.

Возвращаться домой он считал опасным. Однако сутки нужно было где-то отлежаться. Идти к Кузьмичу было бы верхом неосмотрительности. Его вполне могут задержать, когда он будет сбрасывать в море ящики с оружием. Бро-

дить по городу — не лучший выход из положения. Каиров наверняка объявит розыск.

Есть только одно место, где можно укрыться. По адресу, который оставил Хмурый...

Ноздря встретил его неприветливо. Смотрел с подозрительной настороженностью. Отвечал кратко и негромко, словно ленился раскрывать рот. Но Челни не был обескуражен холодным приемом. Именно таких замкнутых, осторожных людей, как Ноздря, Челни считал надежными, достойными доверия.

Он выложил перед Ноздрей сто рублей и сказал:

— На текущие расходы. Завтра получишь вдвое больше.

Ноздря спросил:

— Где желаете находиться? В доме или в тайнике?

— Веди в тайник, — решил Челни.

Ноздря повел Челни тем же путем, которым когда-то шел Граф Бокалов.

В тайнике было холодно и сыровато.

— Да-а... — поежился Челни.

— Можно электроплитку организовать, — сказал Ноздря.

— Умно. Это было бы очень умно, — согласился Челни.

Вскоре Ноздря принес ржавую электроплитку и узелок с продуктами.

— Ужинайте. — Ноздря вытащил из кармана неполную бутылку самогона. Поставил ее на сундук перед Челни.

В узелке были яйца, хлеб, огурцы, пустой стакан. Челни налил самогону в стакан. И тут он совершил последнюю, роковую ошибку. Может, ему уж очень понравился Ноздря, может, осечка, вышедшая у него с Графом, раздражала, будто заноза, во всяком случае, он сказал:

— Вы знакомы с Графом Бокаловым?

— Да, — ответил Ноздря.

— Не доверяйте ему, он работает на Каирова.

Внешне Ноздря реагировал на предостережение так же «бурно», как если бы услышал: «Приготовьте галоши, завтра пойдет дождь».

Короче, он даже не шевельнул бровью. Словно Челни ничего и не говорил. Между тем в голове его мелькнула такая мысль: если Каиров подсылал к нему Графа, зна-

9*

чит, дела плохи, значит, надо спасать собственную шкуру. А как спасать? Можно ли спасти? Кажется, да.

И, выбрав момент, Ноздря ударил Челни бутылкой по голове. Связал. Очистил карманы. Деньги припрятал в укромном месте. Пистолет, какие-то порошки, бумаги завернул в сверток. И пошел к Каирову...

...Лодочник Кузьмич этой же ночью был задержан пограничниками. А еще через сутки чекисты встретили яхту у мыса Косого.

16

«Дорогая Марфа Гавриловна!

С большой скорбью сообщаю Вам тяжелую весть о героической гибели Вашего сына и товарища нашего, Лобачева Семена Матвеевича, который бесстрашно и не щадя жизни сражался с белобандитами, отстаивая завоевания рабочих и крестьян.

Ваш сын, Лобачев С. М., был храбрым и сознательным красноармейцем, пользовался любовью и уважением товарищей. Память о нем навсегда сохранится в сердце революционного народа.

Похоронен Ваш сын и наш дорогой товарищ, Лобачев Семен Матвеевич, на кладбище в станице Лабинской.

С командирским приветом!

Комэска Лихоносов

20 ноября 1933 года».

«Здравствуйте, Оксана Петровна!

С большим горем и скорбью спешу сообщить, что муж Ваш, Иван Антонович Поддувайло, героически погиб в схватке с белобандитами, отстаивая завоевания трудового народа.

Товарищ Поддувайло И. А. был храбрым и сознательным красноармейцем, пользовался уважением друзей. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Похоронен Ваш муж и наш дорогой товарищ, Поддувайло Иван Антонович, на кладбище в станице Лабинской.

С командирским приветом!

Комэска Лихоносов

20 ноября 1933 года».

Иван Беспризорный и Боря Кнут родственников и близких не имели.

ЭПИЛОГ

И опять светило солнце. Здесь всегда так. Сегодня дождь или мокрый снег, а завтра солнце, жаркое, южное. И словно нет на земле никакой осени, нет зимы. Только весна и лето. И небо было голубое. И море голубое. Они сливались совсем незаметно, и поэтому казалось, что город повис в голубом воздухе.

Башенки на железнодорожном вокзале были цвета неба, а все здание — белое и желтое, похожее на дворец какого-нибудь бухарского эмира.

Люди на перроне торговали виноградом, каштанами, вяленой ставридкой и белыми хризантемами. Проводница сказала, что здесь меняют паровоз и стоянка продлится двадцать пять минут, но Анастасия не вышла из вагона, а стояла на площадке прокуренного тамбура. Она знала, что ее должны встретить друзья Кости Волгина, и считала, что на площадке ее легче найти, нежели в толпе у вагона. Анастасия ехала в Гагру, в санаторий, куда была направлена ростовскими врачами, под наблюдением которых она находилась целый месяц.

Золотухин поднимал над головой букет хризантем. Каиров обеими руками прижимал к груди кулек с виноградом из сада старика Нодара.

— Я вас узнал сразу, — заявил Золотухин. — У вас внешность героини. Вам нужно сниматься в кино.

Анастасия была бледна. И улыбалась от смущения, но румянец не проступал на ее щеках. И они оставались желтыми, словно восковые. Только глаза были живые. И печальные. Она сказала, что очень тронута. Просила Каирова помочь ей оформить брак с Костей. Она хотела, чтобы ребенок Волгина носил фамилию отца.

Каиров заверил Анастасию, что любил Костю как родного и сделает для Анастасии все...

Потом поезд пятился назад. И Каиров, и Золотухин, и еще какая-то женщина, сунувшая ей в руку пакетик конфет, которую мужчины называли Нелли, махали Анастасии. А она стояла на площадке рядом с усатым абхазцем-кондуктором и смотрела на них.

Под колесами загремел мост через зеленую речку с черными от мазута берегами... И Анастасия увидела море.

Оно было живое. И от этого еще более величественное, чем на картинах в Третьяковке. Волны шли друг за другом. Большие волны с белыми холками. И разбивались где-то у поезда. Но Анастасия не увидела, как разбиваются волны. Лишь брызги попадали ей на лицо. Она знала, что брызги блестят на солнце. И они блестели. И хотелось, чтобы так было всегда.

Гудел паровоз, прикрываясь дымом, как зонтиком. Мельтешили телеграфные столбы. Город удалялся...

Этот незнакомый солнечный город, в котором она не была ни под одной крышей, не бродила по улицам. И все же больше не считала его чужим, потому что там остались люди, которые знали ее, верили ей. Люди — ее друзья!

Туапсе — Москва

ПОЛКОВНИК ИЗ КОНТРРАЗВЕДКИ







Берег, подобно чаше весов, то поднимался, то опускался, потому что волна о борт била крупная, серая. И сторожевик не резал ее носом. Взмывал вверх. Ухая, падал. И тогда корма задиралась высоко, словно занавеска, подхваченная ветром. Брызги белые, но тусклые, шипя, погружались в море, с какой-то торопливой обреченностью перекатывались по палубе, стальной, холодной.

Каиров в прорезиненном плаще, который боцман почти насильно заставил надеть поверх шинели, стоял на ходовом мостике рядом с капитан-лейтенантом — высоким простуженным грузином. Каиров трудно, что всегда удручало его, переносил качку. Но море пахло хорошо. И это было просто спасением.

Стылые тучи ползли вслед за катером, обгоняли, громоздясь друг на друга, зависали впереди над нечеткими вершинами гор. Слева, не далее чем в миле, море вскипало, подставляя зюйдвесту лохмы соленых брызг — это камни волнореза, старые, поросшие зеленым мхом, преграждали дорогу шторму. И море злилось. Бросалось на камни яростно, грозно. Темный мол, окаймлявший бухту, казался низким. Волны перекатывались через бетон, но не все. Большая часть их, взметнув к небу пенистые гривы, охая, откатывалась назад.

— Впервые сюда, товарищ полковник? — не оборачиваясь к Каирову, спросил капитан-лейтенант, собственно, не спросил, а выкрикнул.

— В начале тридцатых годов работал здесь начальником городской милиции. С тех пор и не был... — Каиров говорил тоскливо и тихо, без всякой надежды, что капитан-лейтенант услышит его. Но тот услышал. И снова выкрикнул:

— Немалый срок. Позапрошлой осенью немец превратил город в развалины.

Катер стал забирать влево. Волна валила его на борт. И небо покосилось, как старый, зализанный дождями забор.

Каиров, желтый, с набрякшими от бессонницы веками, полной грудью, будто зевая, вдохнул воздух, почувствовал, что тяжесть в груди спала, сказал:

— Жаль.

— Сегодня не сорок второй, сегодня сорок четвертый. Второй Украинский фронт уже в Румынии.

— Однако Гитлер еще в Крыму, — возразил Каиров с въедливой рассудительностью старого человека.

— Выбьем!

— Не сомневаюсь. И все же хочу напомнить разумную азербайджанскую пословицу. Вначале перепрыгни арык, а потом кричи «ура!».

Малыш МО-IV, прошмыгнув сквозь створы ворот, оказался в бухте, где вода была более спокойной, темно-зеленого цвета, с фиолетовыми маслянистыми разводами. Четыре подводные лодки, ошвартованные у пристани, чернели долгими, строгими, похожими на акул телами. Над мрачным тральщиком, покачивающимся в западной части гавани, кружились чайки. Они, наверное, кричали, но гул волн и шум мотора были сильны, и Каиров не слышал птиц и только подозревал, что они обязательно о чем-то кричат.

В береговой дымке проступали очертания зданий. Одни из них были разрушены, другие закамуфлированы: в коричневых, в зеленых пятнах. Лишь пирамидальные тополя да кипарисы, как и в прежние, довоенные годы, высоко качали вершинами.

— Лево руля! — крикнул капитан-лейтенант. — Так держать!

Теряя ход, катер плавно приближался к причалу.

По причалу, заложив руки за спину, расхаживал капитан в сухопутной длинной шинели. С мостика Каиров еще не мог разглядеть его лицо, но отметил, что капитан — человек приземистый и сутулый.

Заботливый боцман вынес из кубрика чемоданчик, Каиров снял плащ. Поблагодарил боцмана. Боцман был весь седой. Правую щеку его прорезал свежий шрам почти от глаза до угла губ. Когда боцман говорил, шрам натягивался, будто готовый лопнуть:

— Удачи вам, товарищ полковник. А коли в Поти снова надумаете, враз доставим.

— Боцман правильно говорит. Он службу знает, — весело заметил капитан-лейтенант. К его смуглому лицу с курчавыми бакенбардами очень шла морская форма. Он пожелал: — Счастливо оставаться...

— Всего вам доброго, друзья! — Каиров ступил на настил причала.

Капитан, у которого лицо оказалось самое обыкновенное, без всяких примет, и лишь взгляд был излишне холодным — он запоминался, — приложил правую руку к козырьку фуражки:

— Разрешите представиться, товарищ полковник, следователь особого отдела капитан Чирков.

— Каиров. Погон перекосился.

Глядя на грузного, немолодого полковника, страдающего одышкой и, кажется, въедливостью, капитан Чирков поспешно поправил погон и сказал четко и холодно, стараясь тем самым утаить досаду:

— Машина на набережной. Она отвезет вас в гостиницу.

— Спасибо, сынок, — удовлетворенно ответил Каиров.

— Начальник особого отдела просил выяснить, когда он может прибыть к вам для доклада.

— Я встречусь с ним завтра. Пусть подготовит в мое распоряжение человека.

— Этот человек я, — с грустью признался капитан Чирков.

— Тем лучше! Сводку Совинформбюро слушали?

— Утреннее сообщение. Наши войска овладели Симферополем.

— Спасибо за радостное известие, капитан... Шофера Дешина случаем не расстреляли?

— Никак нет, товарищ полковник. Исполнение приговора задержано по приказанию штаба фронта. Странно, такие высокие инстанции заинтересовались столь рядовым происшествием...

— Что такое рядовое происшествие? — Каиров шел на полкорпуса впереди Чиркова. Ему не хотелось смущать капитана своим взглядом. Ему не хотелось и говорить, и двигаться. Но он понимал, так или иначе нужно добраться до гостиницы, так или иначе нужно выяснить, что же за человек его помощник: вдруг придется от него отказаться.

— Не выходящее за рамки обыкновенного чепе, — ответил Чирков.

— Как отличить обыкновенное чепе от необыкновенного?

Чирков отвечал торопливо:

— Теоретически, возможно, и трудно. Но на практи-

ке нам, хоть мы и рядовые следователи, виднее, чем там... — и он поднял руку кверху.

Набережную и дорогу разделяли два ряда колючей проволоки, натянутой на высоких неоструганных столбах. Машина стояла по эту сторону ограды.

— В твои годы я думал то же самое... — Каиров махнул рукой, давая понять, что разговор окончен.

Но капитан уже не мог остановиться:

— Вы можете пересмотреть дело. Заменить расстрел штрафной ротой. Возражать, чинить препятствий никто не будет... Тем более что серьезных мотивов для преступления у Дешина не было. Их ничто не связывало с Сизовым, даже знакомство. Несчастный случай, а потом трусость. Элементарное дело... Прошу вас.

Капитан Чирков открыл дверку «виллиса».

В БИБЛИОТЕКЕ

— «Женщины потеряли тут всякую сдержанность...» Нет, ты послушай, Танечка... «Они появляются перед мужчинами с открытыми лицами, словно просят о собственном поражении, они ищут мужчин взорами; они видят мужчин в мечетях, на прогулках, даже у себя дома; обычай пользоваться услугами евнухов им неизвестен...»

Если бы китайцы не изобрели фарфор, трудно сказать, с чем можно было бы сравнить лицо Татьяны. Кремы, пудра, краски, тушь — все это так умело совмещалось на лице, что оно действительно казалось вылепленным из фарфора. Дрогнув ресницами, она почтительно спросила:

— Миша, и тебе нравится Монтескье?

Миша Роксан, майор интендантской службы, упитанный, румяный мужчина лет сорока, нарочито почесал затылок и, сморщившись, сказал:

— Нравится — это по-школьному. Меня поражают глубина его взглядов, широта тем, философское осмысление событий.

— Древние писали обо всем, — вздохнула Татьяна.

— Монтескье не столь древен, как ты думаешь. Восемнадцатый век. Эпоха французского Просвещения.

— Мы что-то учили об этом в школе. — Татьяна вспомнила: — Атос, Портос, д'Артаньян... Правильно я говорю?

— Да, милая, — несколько смутился Миша Роксан, —

но я бы, с твоего позволения, добавил: Дидро, Даламбер, Руссо, Гольбах, Гельвеций. И, конечно же, великий Вольтер!

— Помню, помню, — сказала Татьяна. — Он был любовником царицы Екатерины.

— Я, например, слышал, что они только переписывались. И старик Вольтер пытался внушить императрице основные идеи просветителей. Ликвидацию крепостничества, гражданские свободы, широкое просвещение народа, приобщение его к богатствам культуры...

— Одно другому не мешает. У нее было очень много мужчин.

— Ты ей завидуешь? — Миша спросил шутливо, мягко, почти шепотом.

И словно признаваясь в сокровенном, Татьяна зарозовела и ответила:

— Мы, женщины, все немножко завистливы...

Она сидела у столика, за которым пестрели корешками книги на длинных стеллажах, закрывающих всю стену от пола до потолка. Другие стеллажи, короткие, стояли посреди комнаты. На них тоже лежали книги. Слева на узком, покрытом скатертью столе белели подшивки газет.

— А я завидую вашей работе. Еще бы год — и я окончил бы филологический, — сказал Миша Роксан. Он облокотился на перегородку, которая отделяла стол Татьяны и стеллажи от остального зала. И теперь смотрел на нее сверху вниз. Пальцы у библиотекарши были вымазаны в чернилах. Она старательно оттирала их промокашкой.

— Где учился?

— В Москве...

— Этому нужно завидовать, — вздохнула Татьяна. И улыбнулась. Ее забавляла неуклюжесть Роксана, навязчивость, стеснявшая его самого.

— Война скоро окончится. У тебя все впереди, Таня, — сказал он убежденно.

— У меня все позади, Мишенька, — сказала она без всякого кокетства. Искренне. И это так понравилось Роксану, что, сам тому не веря, без всякого страха он произнес: — Таня, будь моей женой.

Она не смутилась, не покраснела. Подняла удивленные глаза. И... вдруг заплакала.

— Нет, нет. Я не хотел тебя обидеть, Таня. Честное

слово, — Роксан склонился над барьером, коснулся рукой плеча женщины. — Я понимаю. Нелепая гибель Валерия. Я понимаю...

— Ничего ты не понимаешь, — она вынула из сумки носовой платок. Заглянула в зеркало, прислоненное к фанерному ящику с абонементными карточками. — Валерий никогда не любил меня.

— Ты ошибаешься, — в словах Роксана не было уверенности. Просто ему не хотелось в это верить.

— Я говорю правду. Незадолго до того, как он попал под машину пьяного шофера... Мы поругались из-за письма...

— Какое письмо? — Роксан почувствовал, как неприятно дребезжит его голос.

— Он разве ничего тебе не говорил?

— Нет.

— Письмо от женщины, — устало вздохнула Татьяна. Она уже привела свое лицо в порядок. И только глаза ее блестели, как листья после дождя.

— Ты что-то путаешь.

— Я нашла письмо в кармане кителя. А он ударил меня по лицу. И сказал, что лазить по чужим карманам свинство.

— Ты приняла это близко к сердцу?

— Когда тебя бьют по лицу, тут уж хочешь не хочешь — примешь близко к сердцу.

Миша Роксан нахмурился. Сказал на этот раз без срывов в голосе:

— О покойниках не говорят плохо. Но в данном случае майор Сизов вел себя недостойно.

Резкая, пронзительная сирена вспучила тишину. И это было так неожиданно, как если бы рухнул потолок или в окно хлынуло море. Молчавший до сих пор репродуктор вдруг забасил:

— Внимание! Внимание! Говорит радиоузел штаба противовоздушной обороны. Воздушная тревога! Воздушная тревога!

МЕЖДУ ТРЕВОГОЙ И ОТБОЕМ

Коридор гостиницы был пуст. Сирены уже не гудели, зенитные орудия еще не стреляли. И в здании, и за его стенами хозяйничала тревожная тишина. Выйдя на лестничную площадку, Каиров увидел часть освещенного вес-

тибюля, стол с табличкой «Дежурный администратор» и однорукого мужчину в неновом матросском бушлате. Когда Чирков привел Каирова в эту гостиницу при Доме офицеров, в вестибюле дежурила женщина. Значит, произошла смена.

Заметив спускающегося по лестнице полковника, однорукий администратор поднялся со стула и предупредительно сказал:

— Бомбоубежище направо во дворе. — И добавил: — Под горой, товарищ полковник.

— Будет бомбить? — спросил Каиров.

— Да кто же его знает. Может, и пронесет... В сорок втором прикладывался крепко. Дня не было, чтобы дватри раза не шуровал. А теперь, случается, гуднет сирена, попужает... Да и отбой дают. Наши-то Симферополь взяли!

— Знаю.

Администратор, видимо, ровесник Каирова. Только лицо у него более жухлое и морщинистое. Он, кажется, охотник поговорить.

— Вот, кинь-перекинь, можно сказать — век отживаю, товарищ полковник, а только теперь понял, что города — они точь-в-точь как люди. В каждом из них какая-то штуковина заложена до поры до времени. Возьмите наш город... Живу я здесь с одна тысяча девятьсот седьмого года. Представление о нем имел самое обыкновенное. Моряки, грузчики, курортники. На рынке кубанцы с картошкой, адыгейцы с кизилом. Знаменитостей в нашем городе не рождалось, театра нет, трамвай опять-таки не ходит... А пришла беда, и у нашего города характер открылся. Что только немец не делал, сколько дивизий не бросал. Бомбил и днем и ночью... А люди наши по шестнадцать часов в сутки работали. Баррикады строили, противотанковые ямы рыли. Враг в город не прошел... И порт в самое лихое время всесоюзное переходящее знамя получил.

— Про характер верно подмечено, — согласился Каиров.

— Жизнь, она тайна сильная. Я бы сказал: могучая. Она как трава весной. Отбили немца. И помаленьку все налаживается. Детишки в школы пошли. Баня стала работать. Три раза в неделю танцы.

— И есть кому танцевать?

— Еще бы... Война, она не сильней людей. Фигу ей!

Слыхал я, ребята и на передовой с гармонью не расстаются.

— И песни поют.

— Товарищ полковник, — администратор хитро улыбнулся. — Лицо мне ваше, сдается, знакомо. Не бывали ли у нас до войны?

— Может, где в другом месте виделись?

— Нет. Я тута уже тридцать седьмой год безвыездно.

— Каиров — моя фамилия.

— Все ясно. Вспомнил... В тридцать втором, в тридцать третьем вы у вас милицию возглавляли.

— Было дело.

— О вас здесь добрая молва осталась... Рад с вами познакомиться — Сованков Петр Евдокимович.

— Очень приятно.

— Значит, к нам в гости.

— Служба.

— Понятное дело. В каком номере остановились?

— В одиннадцатом.

— Там один майор жил. Погиб недавно.

— Война.

— Все так... Однако на войне геройская смерть красна.

Дверь, как занавес, поползла влево. Вошла молодая женщина. Лицо правильное. Губы яркие, словно сами по себе. Глаза большие, темные, как ночные бабочки. Рядом с женщиной майор интендантской службы. Богатырь.

— Кто эта красавица? — с откровенным восхищением спросил Каиров.

— Таня Дорофеева из библиотеки. Невеста погибшего майора.

— Привлекательная женщина, — очень серьезно сказал Каиров. И даже немножко вздохнул.

В НОМЕРЕ КАИРОВА

— Надо поправить шторы, — сказал Чирков. — Кажется, свет проникает на улицу.

Он пластично, с женской аккуратностью переставил стул. Подоткнул штору под потертые ребра батареи парового отопления, давным-давно выкрашенные в синий цвет, который теперь уже был не синим, а просто грязным.

— Не надо переоценивать светомаскировку, — ворчливо сказал Каиров.

— Ночью с самолета хорошо виден каждый огонек.

— Ты когда-нибудь летал ночью на самолете, сынок?

— Нет, товарищ полковник, — виновато ответил Чирков, видимо, непривычный к манере обращения, свойственной Каирову. Он не знал, куда деть руки, где стоять и как: вольно ли, смирно.

Кивнув капитану на кресло, Каиров стащил сапоги и, не раздеваясь — в галифе, в гимнастерке, лег на постель, поставив вертикально подушку, чтобы лучше видеть Чиркова.

— Спасибо, товарищ полковник, — Чирков присел на краешек кресла.

— Вижу, ты устал за день, капитан, — сказал Каиров. — Обещаю не задерживать долго. Выкладывай свою версию дела шофера Дешина.

— Я не могу этого сделать, — смутился капитан. Тут же поправился: — Никакой особой моей версии не существует. Есть одна общая версия, установленная следствием и подтвержденная судом.

— Одна так одна... — чуточку недовольно проворчал Каиров. — Эту версию я и имел в виду.

— Четырнадцатого марта в двадцать два часа десять минут из городского отделения милиции позвонили к военному коменданту. Сказали, что на третьем километре за Рыбачьим поселком стоит наша машина и под ней — мертвый офицер.

Следствие установило, что машину водил шофер местного гарнизона рядовой Дешин Николай Николаевич. Будучи за рулем, полагаю, в пьяном виде, он сбил машиной майора Сизова Валерия Ильича. Оставив смертельно раненного майора истекать кровью, шофер Дешин из-за страха, обуревавшего его, сбежал в горы, а точнее — дезертировал...

— Его нашли?

— Он вернулся сам. Однако на вторые сутки. Да... В предъявленных обвинениях шофер Дешин признал себя виновным. За совершенные преступления Дешин приговорен к расстрелу.

— Это мне известно.

Натужно заскрипела сетка кровати. Каиров сел, опустив ноги на пол. Некоторое время задумчиво смотрел мимо Чиркова на стену, где в небольшой лакирован-

ной рамке висела картина, изображающая берег моря, кипарис и яхту, белую-белую, на рейде. Потом сказал неожиданно официально:

— Капитан Чирков, у меня еще один вопрос. Вы вели следствие и, конечно же, сможете назвать мне фамилии людей, которые дружили или близко общались — я понимаю, это все относительно — с покойным майором Сизовым.

— Да, только относительно... Хорошо его знала Татьяна Дорофеева. Дружил с интендантом Роксаном. Вот это близкие... Ну еще кто? Общался он с товарищами по работе. Это нужно взять список офицеров штаба.

— Он всегда жил здесь, в гостинице?

— Нет. В начале пребывания в гарнизоне. И в последнюю неделю. Более двух месяцев он жил на квартире у Дорофеевой.

— Вы допросили Дорофееву, Роксана?

— Не считал нужным. Какое отношение они могут иметь к дорожным происшествиям?

— Понимаю... Так. Прошу завтра к десяти утра представить мне сведения на Дорофееву, Роксана и других офицеров, с которыми Сизов сталкивался по службе. Подготовьте мне список служащих гостиницы: дежурных администраторов, горничных, коридорных... Я имею намерение с ними побеседовать. Ясно?

— Так точно, товарищ полковник.

— Будь здоров, сынок. До завтра.

— Товарищ полковник, разрешите?.. Я вспомнил. Есть еще один человек, с которым Сизов находился в приятельских отношениях. Барабанщик Жан...

— Фамилия?

— Это легко выяснить. Три раза в неделю он играет в джазе здесь, при Доме офицеров.

— Хорошо, капитан. Спасибо.

Чирков, как на смотре, щелкнул каблуками. Четко повернулся кругом.

— Постой, сынок, — остановил его Каиров. — Ты не знаешь, кто сейчас начальник городского отделения милиции?

— Майор Золотухин.

— Золотухин! Отлично. Еще раз спасибо, капитан. Хороший ты человек.

— Спокойной ночи.

— Тебе тоже.

Несмотря на доброе пожелание Чиркова, Каиров не уснул. Он долго глядел на картину — на белую яхту и зеленый кипарис. Картинки, подобные этой, он видел почти во всех южных гостиницах. Море на них всегда было синим, небо розовым, а кипарисы походили на огурцы, поставленные вертикально. Но, странное дело, сегодня картина не вызывала у полковника обычного раздражения. И он смотрел на нее спокойно, как на рядовой гостиничный инвентарь, оставшийся от славного довоенного времени и уже по одному этому милый для глаз.

Звонок у телефона повизгивающий, как разношенные борта машины. Каиров резковато хватает трубку:

— Слушаю.

— Товарищ полковник — это Чирков. Фамилия барабанщика — Щапаев Жан Герасимович.

— Спасибо за оперативность.

— Не стоит.

ТАЙНИК

Вечер был не слишком холодным, но ветреным, пронизанным морской сыростью и шумом волн, которые, накатываясь на берег, грохотали, словно взрывы. Может, в те, другие, мирные годы грохот разгулявшейся соленой волны никто бы и не стал сравнивать со взрывами, но после огневой осени сорок второго люди нет-нет, да вздрагивают от грохота волн.

«Эх, чайку бы не помешало!» — подумал старшина милиции Туманов и даже поежился, вспомнив о сопящем чайнике. Как ни рассуждай, что Черноморское побережье — рай, только вот такой сырой ветер в сто раз хуже самого лютого сибирского мороза.

Туманов вырос в Сибири. Детство в Красноярске провел, юность. Знает он цену тому краю. Не в пример другим, которых Сибирью пугать можно, как детей милицией. Там если мороз, то мороз. Днем солнце. Воздух звенящий. Ночью звезды считай! И благодать — ветер отсутствует. Ежели ты одет нормально, то морозу и кум и сват.

Здесь же листочки зазеленели, однако постоял час без всякого движения — и зуб на зуб не попадает.

«Да, — думает Туманов, — одиночество завсегда на размышления тянет. И самое паршивое, что закурить нельзя. Вдруг вспугнешь того, значит, неизвестного, что

к тайнику прийти должен. Черт знает, когда он придет. Может, ему плевать на этот баул с десятью банками свиной тушенки. Может, у него тушенки — ящиками. Ловкое жулье. В городе по хлебным карточкам раз в неделю еще кукурузную муку дают, на продуктовые лишь хамсу получить можно. А в развалинах под полурухнувшей лестницей — баул с пестрыми американскими баночками, на которых такие аппетитные кушанья нарисованы: тарелочка, значит, со свиной тушенкой, по краям — свежие помидорчики, молодая петрушечка. И как это я сегодня в полдень случайно на баул наткнулся? В развалины зашел и глазам своим не поверил».

Сам начальник милиции товарищ Золотухин крепко тряс руку. Молодцом назвал. Велел баул на прежнее место положить и скрытый пост выставить. Все так и сделали. Одна лишь разница. В бауле не тушенка, а три кирпичины, в газеты завернутые.

Человек, которого ждет старшина Туманов, уже идет по улице. Их еще разделяют два квартала. Но это немного. Семь минут ходу.

Человека зовут Жан. Ему двадцать лет. Он удивительно маленького роста. Один метр и сорок сантиметров. По этой причине или по какому другому дефекту здоровья в армию не призван.

На Жане куртка с «молнией», берет. Куртку, как и остальную одежду, Жану сшила мать. Она портниха. В городе известная.

Темно. И сейчас трудно рассмотреть лицо Жана. Проще это будет сделать в Доме офицеров, где Жан играет в джазе на барабане.

В городе введен комендантский час. Но у Жана есть пропуск. Об этом позаботился начальник Дома офицеров.

Музыка в жизни Жана — целый мир. Но время трудное. Жан понимает это. И потому еще работает приемщиком в мастерской по ремонту металлических изделий.

Погода нравится Жану. Улицы пустынны. Вой ветра и грохот моря глушат звуки шагов. И луны нет. Пусть отсыпается...

На перекрестке улиц Вокзальной и Карла Либкнехта патруль проверял документы. Конечно, можно топать прямо, пропуск законный. Но лучше обойти. Так спокой-

нее. Зачем привлекать к себе внимание. Зря разве мамочка учила: «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». И Жан повернул в подъезд разрушенного дома...

Все-таки старшина Туманов замечтался. Он увидел неизвестного, когда тот уже миновал проем окна и приближался к лестнице. Старшина Туманов был обязан дать возможность неизвестному взять баул. Только после этого он имел право произвести задержание. Раньше нельзя. Если раньше, неизвестный скажет — зашел в развалины нужду справить. Потом доказывай...

Вот почему старшина Туманов строго придерживался инструкции. В левой руке у него был фонарик, в правой пистолет. Он не торопился, но и не медлил. К сожалению, из-за темноты старшина не мог видеть, взял ли неизвестный баул. И когда от лестницы вновь отделился силуэт, старшина нажал кнопку фонарика. Однако произошло непредвиденное. Фонарик только мигнул и загас.

Старшина крикнул:

— Стой!

Неизвестный не выполнил приказания, а бросился бежать со всех ног.

— Стой! Стрелять буду! — в инструкции предусматривалось и это.

Но, когда фигура появилась в проеме окна, выделявшегося на фоне густой, вязкой синевы, старшина был поражен маленьким ростом неизвестного.

Подлецы! Мальчишку подослали.

— Стой, паршивец! — и старшина выстрелил вверх. — Стой!

Жан и не думал останавливаться. Перебежав улицу, он прошмыгнул в другие развалины. Спрыгнул в подвал. Оттуда вышел в бездействующий канализационный туннель. И через четверть часа был далеко от места происшествия.

НАЧАЛЬНИК МИЛИЦИИ

Золотухин смотрел, как Каиров закрыл за собой дверь. Как неторопливо, словно сомневаясь в прочности пола, вышел на середину кабинета. Остановился, по-хозяйски огляделся. Сказал с ухмылкой:

— Ты такой же лохматый, точно десять лет назад.

Золотухину давно казалось, что он забыл голос Каирова. Как забыл вкус березового сока, первые цветы медуницы: розовые, фиолетовые, синие. Судьба накрепко приковала его к этому городу. И все, что лежало вне города, было похожим на случайный сон.

— Седины прибавилось, Мирзо Иванович. Да и волосы лезут, точно солома с крыши.

Широк и грузен был Каиров. Золотухин обхватил его за плечи. Прижались щека к щеке.

— Не думал, что увижу вас, — почему-то виновато произнес Золотухин.

— Это очень хорошо. О встречах не нужно думать. Тогда они радостнее, — произнес Каиров с расстановкой и, шаркая подошвами, направился к дивану.

— Мы сейчас поедем ко мне домой. Я предупредил Нелли, как только вы позвонили. Она ждет вас с нетерпением.

— Сегодня поздно, — сказал, глядя на усталое, изможденное лицо Золотухина, Каиров. — Лучше завтра. Я пробуду здесь несколько дней. А может, всю неделю.

— Мы вам многим обязаны, Мирзо Иванович, — на шее у Золотухина пульсировала жилка. — Мы вас так любим.

— Ты правильно сделал, что женился на Нелли. Она верная женщина. Моя Аршалуз по-прежнему зовет ее дочкой.

Каиров почему-то не сел на диван. Стал ходить по кабинету. Смотрел вниз. И руки его были за спиной, будто сцепленные. Золотухин, хорошо знавший привычки своего бывшего начальника, молчал, терпеливо ждал, когда заговорит Каиров.

— Побит город, — Каиров расцепил руки, потер подбородок.

— Побит, — согласился Золотухин.

— Жаль.

— Само собой, Мирзо Иванович.

Каиров сел в кресло. Закрыл ладонями глаза.

— Извини... Я лишь сегодня приехал. А в море немного покачивало.

— Да, погода стоит дрянная... — согласился Золотухин и умолк, выжидая.

Положив руки на подлокотники, Каиров запрокинул голову и, глядя вверх, в угол, где встречаются потолок со стеной, сказал:

— Как понимаешь, я приехал к вам не случайно... В местном гарнизоне совсем недавно произошло на первый взгляд заурядное событие. Я подчеркиваю, на первый взгляд... Шофер по пьяной лавочке задавил офицера. Испугавшись, протрезвел. И два дня скрывался в горах. Машину и труп обнаружили твои люди.

— Совершенно точно.

— Кто именно?

— Старшина Туманов.

— Я хотел бы с ним поговорить.

— Завтра. Сейчас Туманов выполняет задание.

— Хорошо, — Каиров опустил голову. И теперь смотрел прямо на Золотухина. — Меня интересуют сведения о двух людях. Помоги узнать все, что можно.

— Постараюсь.

— Дорофеева Татьяна Ивановна. Библиотекарша при Доме офицеров. И еще... Щапаев Жан Герасимович. Где работает, еще не выяснил. Но подвизается в джазе барабанщиком. Тоже при Доме офицеров.

— Барабанщика Жана знаю в лицо. Виртуоз! — без восхищения, но с данью уважения произнес Золотухин.

— Надо будет посмотреть его в деле. Давно не слышал приличной музыки.

— У нас есть патефон. Десятка три пластинок. И бутылка коньяку из довоенных запасов.

— Ладно. Уговорил, — согласился Каиров.

НЕЛЛИ

Над горой висела звезда. Голубая, большая. Больше, чем в две ладони. Нелли никогда не видела ее раньше, ни в этом, ни в другом месте. Но звезда висела над черной, похожей на вещмешок горой, и это было не наваждение. Мелкие, другие звезды точками прокалывали небо где-то высоко, неярко, неподвижно. А эта покачивалась низко и лениво, точно медуза в спокойной волне.

«Красавица», — подумала Нелли. Почувствовала, что ей хочется погладить звезду, как щенка или котенка. Усмехнулась этому желанию. Сошла с крыльца.

За забором лежала темная улица, пахнущая молодой листвой кисловато, весело. Где-то орали коты, переплаивались собаки, одинокие светлячки пунктирили ночь вдоль и поперек. Машины не были слышны. Нелли при-

слушивалась долго. Далеко-далеко шумело море. На товарной станции маневрировал паровоз. Нелли поняла, что волнуется в ожидании встречи с Каировым.

Мирзо Иванович, какой он теперь?..

Нелли рано осталась сиротой, воспитывалась в детдоме. В общем это было славное время. Хотя и голодное. Учителем по литературе был старенький, щуплый мужчина — Александр Михайлович. Он носил пенсне. И какую-то старую форменную куртку синего цвета.

Держась правой рукой за стол, словно для устойчивости, он, приподнимая вверх согнутую в локте левую руку, читал:

И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал:
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял,
И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял,
И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел, — и горный зверь и птица,
Кружась в лазурной высоте...

Александр Михайлович любил Лермонтова. И многие его вещи помнил наизусть.

— Человечество никогда не узнает, кого потеряло в лице Лермонтова, — часто повторял старый учитель. — Оно может лишь догадываться, какой это был гений.

Теплота, которой Александр Михайлович согревал свои уроки, увлечение, с которым он рассказывал о кудесниках русского слова, оставили след в памяти Нелли. Она даже мечтала поступить в педагогический институт.

Нелли не пришлось учиться в институте. Семилетка по тем временам считалась хорошим образованием. Каиров взял ее секретарем в отделение милиции. И он, и его жена Аршалуз Аршаковна отнеслись к Нелли как к родной дочери. Своих детей у них не было. И Нелли больше года жила в доме Каировых, пока Мирзо Иванович не выхлопотал для нее коммунхозовскую комнату.

Люди в милиции работали, конечно, разные. Характером, образованием, возрастом. Но у всех у них было два общих качества: доброта и смелость.

Нелли исполнилось семнадцать, когда она в коротком заштопанном пальтишке, пошитом из старой английской шинели, пришла к Каирову. Было это в 1932 году. Двенадцать лет назад. Время, время... Так и хочется сказать — тяжелое. А может, и хорошо, что оно было не легким, как трухлявое полено. Милиционеры спорили о Маяковском. И бились с бандитами. И с другой сволочью.

С гордостью вспоминается, что она, Нелли, не только подшивала бумаги, регистрировала входящие и исходящие документы, разбирала почту. Каиров давал ей маленькие поручения оперативного характера. Пусть они были просты, несложны, и выполнение их не было связано с чрезвычайным риском, все же именно эти поручения помогали Нелли чувствовать себя своим человеком среди сотрудников милиции. Своим и нужным.

Потом она полюбила. Начальника уголовного розыска Мироненко. Она уже год работала в милиции. А Мироненко приехал из Ростова. Он был лирик. И писал повесть про их жизнь, про работу. Писал на оборотной стороне физкультурных плакатов. С бумагой тогда было бедно. Не хватало... Дописать повесть не успел. Погиб... Тогда шло трудное дело «Парижский сапожник». И оперуполномоченный Костя Волгин погиб. Он поначалу нравился Нелли. А она ему нет.

В тридцать шестом году Нелли вышла замуж за Золотухина. У нее был двухлетний мальчик от Мироненко. Золотухин любил ее. Человек он был стеснительный и толковый.

Теперь у нее двое детей. Старшему девять, младшему — шесть. А ей самой двадцать восемь.

Нелли с тоской взглянула на голубую звезду. И вернулась в дом.

Осторожно ступая, она подошла к детской комнате, прислушалась. Отворила дверь. Полоса света легла на красный с синими квадратами половик. Разделила комнату надвое. Справа, скомкав одеяло, лежал на постели младший — Алешка. Слева, уткнувшись лицом в подушку, спал старший — Генка.

Нелли накрыла Алешку одеялом и по-прежнему осторожно вышла из комнаты.

У них был отдельный дом с садом. Правда, далековато. В пригороде. Но именно вот такие далекие улицы, точно ступеньки, шагающие в горы, уцелели во время

бомбардировок города. При саде был огород. Небольшой. Но Нелли, которая давно уже нигде не работала, а хозяйничала дома, умела собрать с него и капусты, и огурцов. Солила целых две кадушки. Их сделал сосед, старый грузин Нодар. Он же научил Нелли давить вино из винограда «изабелла». И сейчас в подвале домовитой хозяйки дремал бочонок, накрытый для сохранности температуры изношенной шинелью.

Вернувшись в столовую, Нелли еще раз критически осмотрела стол. Переставила тарелки. Повернула бутылку коньяку этикеткой в сторону двери. Взяла с буфета графин. Потом остановилась. Посмотрела в круглое висевшее на стене зеркало и поправила локоны.

Какой он все-таки сейчас, Мирзо Иванович? Семь лет — это срок. За семь лет меняется многое. «Я, конечно, постарела, — подумала она. — И прическа у меня не прежняя, не под мальчика». Повертела головой. Волосы у нее не были длинными. И даже не касались плеч, а хорошо закруглялись на уровне подбородка. Спереди темнела челка, скошенная налево, поэтому правая часть лба была открыта и белым углом уходила в прическу. Это молодило лицо. И глаза у Нелли были молодыми — карие под густыми черными ресницами.

На крыльце посмотрела вверх. Звезды над горой не было. По-прежнему тускнели мелкие дальние звезды. Но голубой звезды, которую хотелось гладить и ласкать, не было. Это не удивило Нелли. Удивляться было не в ее натуре. «Я фантазерка, — может быть, сказала она сама себе. — Я могу придумать все, что угодно».

Подвал был сделан под домом. Дом упирался в склон горы. И фундамент с фасада был немного выше, чем под глухой стеной, выходящей в гору.

Нелли повесила фонарик на гвоздь. И он светил прямо на бочку, покрытую старой милицейской шинелью. Нелли достала из ящика резиновый шланг, смахнула с него ладонью пыль, продула.

Вино из шланга, булькая, лилось в графин. И он темнел, наполняясь, и становился удивительно красивым. Лучи фонарика падали на графин, преломляясь, оставляя в вине яркие блестки.

Она услышала шум подъезжающей машины, когда запирала подвал на замок.

Собака, с лаем бросившаяся к забору, приветливо завизжала. И Нелли поняла, что это приехал муж...

— Засекли, проклятые! — выпалил Жан, переступая порог комнаты. — Засекли. И стукача поставили.

Марфа Ильинична, побледнев, каким-то механическим, словно заученным движением проворно задвинула засов и повернула ключ в двери.

— Вот им! Шиш! Баул-то я унес, — по щекам Жана катился пот, смешанный с пылью, будто минуту назад, надрываясь из последних сил, долбил он ломом твердую известковую землю.

— Тебя преследовали? — испуганно спросила мать сына.

— В меня стреляли. Только черта им... Ночь прикрыла.

У Марфы Ильиничны, грузной, седоволосой женщины, подкосились ноги. И ее глаза, обычно властные, утратили свою гранитную твердость... Хорошо, что под рукой оказалась спинка стула...

Жану пришлось торопливо отсчитывать капли. Но он, как всегда, был не в ладах с пипеткой, потому в стакан попало гораздо больше восемнадцати капель. И ему пришлось менять воду, к недовольству мамочки.

Лекарство подействовало не сразу. Некоторое время Марфа Ильинична сидела, закрыв глаза, и дышала шумно, и грудь ее под ярким халатом опускалась и поднималась, точно насос.

Жан снял куртку, брюки. Он был в пыли, в извести. А в доме не любили грязи.

На сундуке, прикрытом суровым чистым рядном, он увидел щетку с надтреснутой, блестевшей от долгого употребления ручкой. Он хотел немедля, сию же секунду, чистить одежду. Однако Марфа Ильинична уже открыла глаза. Повелительно, хотя и негромко, она сказала:

— В бауле-то что? Посмотри в баул!

В трусах и в майке Жан поспешил к столу, щелкнул замком.

— Что-то есть, — сказал он обрадованно.

— Бестолковый ты... По всему пора догадаться, что не пустой.

— Мамочка! Кирпичи! Кирпичи в газете. Целых три штуки.

— Подменили, — спокойно сказала Марфа Ильинична. — Я так и думала, что подменили...

— Вы этой шлюхе деньги не отдавайте! — закричал Жан разгневанно и нервно.

— Она ни при чем. Милиция подменила, — спокойно ответила Марфа Ильинична и плотно поджала губы.

— Все равно мы не должны нести убытки.

— Убавь голос, — поднялась Марфа Ильинична. — Да не маячь перед родной матерью без порток, бесстыдник!

— Я сейчас, мамочка. Я моментально.

Он убежал в другую комнату, не прикрыв дверь. Она заглянула в баул, взвесила кирпич на ладони.

Спросила громко:

— Уверен, что тебя не проследили?

— Премного.

Она задумалась. Поглаживала кирпич, будто ласкала. Вдруг спросила:

— Ну а если с собакой?

— Я махру в трех местах ронял, мамочка, — беспокойно ответил Жан. И добавил поспешно: — Как вы учили.

— Мне тайник этот с самого начала не по сердцу был, — сказала Марфа Ильинична.

— Ой, мама... Опять двадцать пять, — Жан появился теперь уже одетый. — Не могла же интеллигентная, хрупкая женщина таскать вам баулы да корзины, точно лошадь.

— Не в глаз, а в бровь... У этой хрупкой женщины бедра как лошадиные.

— Зря, мама... — возразил Жан. Правда, не очень уверенно. И даже опасливо.

— Противоборствуешь? Разума не приложу, Жан... Однажды ты ее шлюхой называешь, вторижды — интеллигенткой, хрупкой да красивой. Таишься что-то... Сдается мне, влюбился в нее? Али ревнуешь?

— Мне двадцать лет, мама. А я на вас работаю. Получку до последней копейки на этот стол кладу. Вы же мне от щедрот своих по пятерке на кино выдаете. При таких деньгах, опять же рост мой учитывая, у меня век невесты не будет.

— Глупый, — ласково, нараспев произнесла Марфа Ильинична. — При такой маме у тебя все будет. Что надулся, как индюк? Таньку пожалел... На родную мать рассердился. Эх! Глупый, глупый... Своя матка бья не пробьет, а чужая гладя проглядит.

— Вам легко говорить. Вы старая...

Марфа Ильинична руки в бока. Глядит козой:

— В старухи отрядил. Рановато, сынок! Мне пятьдесят шесть лет. Да если я захочу, ко мне еще сватов засылать станут. При моем доме, при моем саде, при достатке моем...

Усмехнувшись, раздумчиво покачала головой Марфа Ильинична:

— Только не захочу я этого, не пожелаю... Для тебя живу, для сына своего... А Танька пустая. На мужиков падкая. Думаешь, она за тебя не пойдет, роста твоего постесняется? Ничего подобного. Посулить ей богатство нужно... И все хлопоты!

— Вот и посулите, — Жан, кажется, испугался собственного упрямства.

— Нет! — словно отрубила Марфа Ильинична. — Старше она тебя на четыре года. Мужиками избалована.

— Красивая да гладкая...

— Слышал, как в народе говорят: на гладком навоз кладут, а на рябом пшеницу сеют.

— Рябая мне не нужна.

— Без тебя знаю. И сама обо всем позабочусь, — эти слова она произнесла строго. Но потом ласка появилась у нее в глазах. Она приблизилась к сыну, положила руки ему на плечи. — Думаешь, для чего я в городскую баню вот уже второй месяц хожу? Невестку себе присматриваю. Жену тебе, глупенький. В бане девчонки-то без маскарада, как под стеклышком...

— У меня свои глаза есть, между прочим, — напомнил уныло Жан. — И потом, душа-то в шайке не моется. Ее-то как разглядишь?

— Хватит! — нахмурилась Марфа Ильинична. — Спать пора. А мне еще помолиться надо.

Она пошла в угол, где под потолком висела большая широкая икона — дева Мария с младенцем Иисусом на руках. Опустилась на колени. В это время в наружную дверь громко постучали.

— Матерь божья, пронеси и помилуй... — зашептала Марфа Ильинична. Кивнула сыну: дескать, ступай к двери, спроси.

— Кто там? — голос у Жана был неуверенный, дрожащий.

— Откройте! Милиция!

Каиров обнял Нелли. По-отечески поцеловал ее в обе щеки. И она поцеловала его.

Золотухин прошел вперед. А они замешкались у крыльца. И Каиров сказал:

— Пойдем. Я хочу рассмотреть тебя при свете.

Перила — их было видно в темноте — подпирали крыльцо, но длинные ступеньки оставались невидимыми. И Нелли посветила фонариком, а Каиров держал ее под локоть.

Дверь, которую успел открыть Золотухин, оголила светлый проем, прикрытый колышущимися портьерами. Каиров поднялся на крыльцо. И его крупная фигура едва протиснулась сквозь дверь, а занавески он раздвинул руками.

Нелли поставила графин с вином на стол. Подошла к Каирову.

— Постарела я? Сильно? — спросила она с надеждой, чистой и чуть-чуть забавной.

— Что значит постарела? Я не постарел, а в твои годы... Тридцати нет.

— Скоро двадцать восемь.

— Двадцать восемь? Я этот возраст за детский считаю. Вот когда тебе будет шестьдесят, а мне девяносто, ты придешь, спросишь: «Постарела, Мирзо Иванович?» А я отвечу: «Шутишь, Нелли, ты стала зрелой женщиной».

— Вы такой же веселый человек, как и прежде...

Каиров и вздохнул и улыбнулся:

— На том стоим, Нелли... Грусть — она хуже старости.

— Раздевайтесь, Мирзо Иванович. Нелли заговорит кого угодно.

— Ладно, Золотухин, — Нелли сказала с улыбкой, но решительно, — не проявляй остроумия.

Каиров посмотрел на стол. Покачал головой, вздохнул:

— Сдаюсь... Тут уж ничего не поделаешь...

— Сейчас мы организуем патефон. И довоенные пластинки, — сказал Золотухин и ушел.

— Как живете? — спросил Каиров, передавая Нелли шинель.

— По-семейному...

— Не ругаетесь?

— Он так выматывается на службе, что не способен даже ругаться.

— Мне не нравится твой ответ, дочка... Аршалуз Аршаковна просила передать тебе привет. И велела разузнать все о твоем житье-бытье.

— За привет спасибо. Житье-бытье у меня обыкновенное. А для военных лет — прямо хорошее. У других мужья на фронте, а мой рядом. У других дома разбомбили, а наш целый...

— Не нравится мне твой голос, Нелли.

— Ой, милый Мирзо Иванович, мне много чего не нравится.

— Выкладывай.

— Пойдемте на кухню. Умывальник на веранде, но там нельзя зажигать свет.

— Тогда я сниму китель.

— Конечно. Повесьте его на спинку стула.

Каиров склонился над белым эмалированным тазом, а Нелли сливала воду, держа обеими руками коричневый глиняный кувшин с черным широким орнаментом.

— Говори, — попросил Каиров.

— Что?

— Он тебя любит?

— Да.

— А ты?

— Вы же знаете.

— Он хороший человек.

— Хороший.

— Чем же еще недовольна?

— Засосала меня семья!

— Вай! Вай! Некрасиво говоришь.

— Домохозяйка я. Повариха, прачка, садовник, огородница...

— Полезные специальности.

— Я литературу люблю. На педагога хотела учиться.

— Еще не поздно.

— Легко говорить. А мне газету почитать некогда, не то что книгу.

— Э... Умение выкраивать время — это тоже талант.

— Сколькими же талантами должен обладать человек, чтобы прожить так, как он хочет?

— Видимо, многими. Однако к талантам нужна еще одна штука — сила воли. Иногда ее подменяет везение...

— Тогда все верно, — Нелли подала Каирову полотенце. — Значит, я на своем месте. И Золотухин здесь ни при чем... Понимаете, когда-то вы давали мне маленькие задания, пустяковые... А я, дура, думала, что вот так, от одного дела к другому, смогу стать оперативным работником. Человеком полезным... Увы, наивные мечты кончились детьми и корытом...

— Видишь ли, Нелли, — они еще минуту стояли на кухне, — возможно, у вас с Золотухиным где-то и не все ладно получилось. Но нельзя игнорировать и то сложное время, в которое мы живем. Не погибни от пули бандита Гена Мироненко — и твоя жизнь могла сложиться сейчас иначе. И ты бы не стояла, как говоришь, у корыта, а может быть, работала разведчицей в тылу врага... Или исполнилась первая мечта — и ты читала бы литературу в школе... Понимаешь?

— Понимаю... А поныть иногда все равно хочется.

Каиров засмеялся, хлопнул Нелли легонько по плечу:

— Ребенок ты еще маленький... А говоришь, постарела.

— А что мне еще говорить...

— Правильно. Тема исчерпана. Молчание... Нет, дочка, ты мне открылась, теперь моя очередь. Слушай, жизнь сложна, но и несовершенна. И мы в зтой жизни не случайные гости, а бойцы. Так уж повелось, что у бойцов не спрашивают, кем бы они хотели быть, чем бы желали заниматься. Наше дело бороться за то, чтобы жизнь стала лучше. Я, сама знаешь, только и занимаюсь тем, что разных подонков и сволочей вылавливаю. А душа у меня, между прочим, к другому лежит. Если бы жизнь была идеальной, если бы не было на земле врагов рабочего класса, я знаешь бы чем занимался? Не поверишь, засмеешь... Я бы растения домашние выращивал...

— Цветочки?!

— Это для человека непосвященного они цветочки, травки, кустики. А у них имена есть, да еще какие... Мирзина африканская, санхезия благородная, бегония королевская, рафиолепис индийский, арегелия представительная... Вот так-то, милая. Я недавно роман одного американца прочитал про сыщика Ниро Вульфа. Толковый такой сыщик, ленивый, правда. Так он, дочка, не только всякие убийства раскрывает, но и выращивает орхидеи самых редких, самых знаменитых сортов.

Нелли ласково положила руку на плечо Каирова. Тихо и очень искренне сказала:

— Мирзо Иванович, вы хороший...

— Хороший, хороший... Лучше некуда. А бедные цветочки возрастают сиротинками.

Они вернулись в комнату.

Золотухин поставил на пластинку круглую, как луковица, мембрану, спросил:

— Подходит?

Песенка была глупенькая, но очень модная в довоенное время. И мелодия была простенькая, приятная. Вадим Козин пел слащаво, по-женски. Однако настроения песня рождала мирные, беззаботные. И слушать ее было приятно.

Хмуришь брови часто,
Сердишься все зря.
Злость твоя напрасна —
Я люблю тебя.
Улыбнися, Маша,
Ласково взгляни.
Жизнь прекрасна наша —
Солнечные дни.

— И напьюсь же я сегодня! — сказала Нелли.

— Дома можно, — согласился Каиров.

— А кто будет стол убирать? — спросил Золотухин.

— Вот так всегда, — сказала Нелли. — Сплошная проза...

Им не пришлось долго сидеть за столом, предаваться воспоминаниям. Позвонил дежурный по отделению милиции. Сказал, что вернулся старшина Туманов.

— Пришлите машину, — приказал Золотухин.

Каиров решил ехать с ним, чтобы еще сегодня побеседовать со старшиной.

Нелли сказала:

— Мы увидимся, Мирзо Иванович. Вы же не уедете не попрощавшись?

— Конечно, нет. Мы еще отведаем твоего вина, Нелли. Это я говорю, Каиров. А Каиров всегда держит слово.

Старенькая «эмка», похожая на черепаху, неуклюже развернулась и подкатила к калитке. Она пыхтела. И газ возле стоп-сигнала клубился красный.

Золотухин и Каиров сели на заднее сиденье.

Каиров сказал:

— Черствый ты человек, Золотухин. Может, слова мои покажутся тебе давно известными. Но женщины — это цветы. Розы, гранат, персик. Они требуют внимания, заботы, восхищения.

— Мужчины — камни. Цемент, бетон. Седьмой год живем... Она меня ни разу по имени не назвала. Все Золотухин да Золотухин... Наверно, и не знает, что Дмитрием зовут.

ПРОВЕРКА

Услышав слово «милиция», Марфа Ильинична напряглась, побелела лицом. Сутулая фигура ее, окаменевшая, будто бы потянулась к выкрашенную полу. И руки висели как плети.

За дверью переминались нетерпеливо: явно несколько человек. Кто-то сопел, покашливал.

Марфа Ильинична мотнула головой, стряхнула с себя оцепенение. Шепнула:

— Открывай не торопясь.

Быстро, словно ветер, подхватила со стола баул. Сунула его в пустую духовку. Метнулась в другую комнату: ну конечно же, грязную одежду бросил Жан прямо на стуле. Марфа Ильинична — разом брюки и куртку в шкаф. Все в полном порядке. Все?!

Кирпич, оранжевый, заметный, остался лежать на столе, бросая тень на чистую голубоватую клеенку.

Первой мыслью Марфы Ильиничны было схватить кирпич и сунуть его хотя бы под стол. Но два милиционера — один повыше, помоложе, другой — пожилой, с усами, — уже вошли в комнату.

Молодой приветливо сказал:

— Добрый вечер, хозяева.

— Спасибо, здравствуйте, — ответила Марфа Ильинична, расплываясь в улыбке.

— Одни в доме?

— Господи, спросят же... А кто еще у нас может быть? В такое-то время. До войны, когда муж, царство ему небесное, жив был, гостей мы часто принимали. Любил он компанию... Да вы садитесь, сынки. В ногах правды нет!

Младший сел. Подозрительно посмотрел на кирпич. Дрогнул взгляд у Марфы Ильиничны, что-то похожее на

тень коснулось углов рта. Однако, пересилив себя, она выдавила стеснительную улыбку. Сказала тягуче:

— Извините уж... Не прибрано. Потому как гостей не ждали. А нынче прострел у меня в хребте. Так и ноет, и ноет... Надумала кирпичину прогреть. Да в постель с собой. Хорошее народное средство.

— Грелка лучше, — сказал милиционер с усами.

— Не скажу... — возразила Марфа Ильинична. — Грелка, она пар выделяет. А при простреле пар — что ни есть яд!

— Принесите паспорта и домовую книгу, — сказал молодой милиционер.

— Для чего, милый? — всплеснула руками Марфа Ильинична. — Чай, нас не знаете? Со дня рождения безвыездно и безвыходно в городе живем.

— Не волнуйтесь, мамаша. Пора привыкнуть. Обыкновенная проверка документов.

— Сей минут, сей минут, — Марфа Ильинична торопливо направилась в другую комнату. Милиционер с усами пошел вслед за ней.

Молодой милиционер поднял кирпич, подержал его на весу и, словно убедившись, что он не из золота, положил на клеенку. Барабанщик Жан стоял, прислонившись к косяку двери, ни живой ни мертвый.

— Квартиранты имеются? — спросил молодой милиционер.

— Нет, нет, — быстро ответил Жан.

— На чердаке кто прячется?

— Он заколочен, чердак...

— Тоже непорядок. А если пожар?

— Пожар? — переспросил Жан и заморгал часто, будто собираясь расплакаться.

— Именно пожар, — назидательно повторил милиционер и добавил: — Расколотить надо.

— Сейчас?

— Можно завтра.

— Обязательно, — поспешно заверил Жан и при этом почему-то поклонился.

— Придем проверим.

Марфа Ильинична положила на стол домовую книгу и два паспорта. Пришел и милиционер с усами. Доложил:

— Посторонних нет.

— Ну и ладно.

Молодой милиционер деловито перелистал домовую книгу. Посмотрел паспорта. Встал:

— Извините за беспокойство, хозяева. Спокойной вам ночи!

— Спасибо, сынки. Вам тоже.

Марфа Ильинична проводила милиционеров до двери. И только когда щелкнул замок, а потом и задвижка, Марфа Ильинична облегченно вздохнула. И перекрестилась.

ПЕРВЫЙ ЧАС СУТОК

Часы в шестигранном футляре из темного полированного дерева висели на противоположной стене. Каиров видел, как большая стрелка под круглым выпуклым стеклом сползла с цифры «двенадцать» и стала клониться к цифре «один».

Старшина Туманов — мужчина сорока лет — несколько удрученный разговором с начальником милиции, настороженно и вопросительно смотрел на незнакомого тучного полковника.

— Вы садитесь, товарищ Туманов, — сказал Каиров, всматриваясь в лицо старшины, рябоватое и плоское.

— Ничего. Я постою, товарищ полковник, — уважительно ответил старшина, полагая, что приглашение начальника не более чем вежливость, что рассиживать ему, старшине Туманову, нет никакого резона.

— Садитесь, — настоял Каиров. — Вот так... Старшие знают, что говорят. Правильно?

— Так точно.

— У меня к вам вот какой вопрос: расскажите, где вы несли службу вечером четырнадцатого марта? Что произошло на вашем участке?

— Это вы про машину, которая офицера сбила? — догадался Туманов и тяжело вздохнул.

— Совершенно верно.

— Вечером четырнадцатого марта я нес службу в районе Рыбачьего поселка, — начал Туманов монотонно, словно пересказывал текст, заученный наизусть.

Каиров понял, что старшина не первый раз рассказывает эту историю, что она ему порядком надоела. Потому перебил вопросом:

— Во всем поселке?

— Нет. Ну... — старшина почесал затылок. — По тре-

угольнику, можно сказать. Рыбозавод. Начало улицы Плеханова. И третий километр Приморского шоссе. Ну... Я ходил.

— Вы были без мотоцикла?

— Да. У нас на той неделе вышли из строя сразу три мотоцикла.

— Понятно.

— Ну... Когда я пришел на третий километр... Там большая трансформаторная будка. Ну... Она, можно сказать, ориентир...

— Действующая будка? — для Каирова ровным счетом не имело значения, была будка действующая или нет, но он еще улавливал монотонность в голосе старшины и стремился добить ее, эту монотонность, неожиданными вопросами.

— Нет. Она разбита. Ну... Когда я подошел к будке, мне показалось, что кто-то побежал в гору. Ветра не было, а камень посыпался. Я вынул пистолет. И поспешил за будку. Ну... Там такой съезд с дороги. Я смотрю, машина стоит, «студебеккер». По номеру вижу — военная... Ну... К ней у меня интерес сразу и отошел.

— Отошел, значит?

— Конечно. У военных своя служба. Мало ли они по какой причине машину за будкой поставили. Ну... У меня к тому времени курево вышло. Я спросил: «Хозяин, не найдется ли закурить?» Никто не ответил. Ну... — старшина стеснительно пожал плечами. — Я подумал, или шофер по какому делу в гору полез, или с девчонкой притих в кабине.

— Бывает и так? — весело спросил Каиров.

— Всякое бывает... Я решил обойти машину. Ну... С фонариком, ясное дело. Смотрю... Метра за два от переднего колеса — след крови. А под передним левым колесом офицер...

— Какой это был час? Точно не скажете?

— Минут пять-десять одиннадцатого. Ну... Я скоро остановил попутную машину. И сообщил военному коменданту.

— А в милицию сообщили?

— И в милицию. Дежурному. Но сначала военному коменданту. Если машина военная, мы первым делом докладываем в комендатуру.

— Вы уверены, старшина, что, когда подходили к машине, какой-то человек полез в гору? — Каиров накло-

нился над столом, примяв лежащую на краю газету. Смотрел на старшину пристально и тревожно.

Туманов было заерзал под неожиданно потяжелевшим взглядом полковника, выдержал этот взгляд. Сказал тихо:

— Полез, точно. Ну... Человек ли? Судить трудно. Темно как было. Может, шакал. Может, бездомная собака.

— Следствием установлено, что машина шла из города. Случаем, вы не видели ее?

— Мы не автоинспекция. Наша задача следить за порядком. Чтоб хулиганства не было, разбоя. В ночное же время машин идет много.

— «Студебеккер» — приметная машина.

— Товарищ полковник, машина что человек. Ее остановить надо, разглядеть... Тогда запомнишь... Шли по дороге в тот вечер «студебеккеры». Два или три видел. Ну... Что из этого? Номеров не знаю, водителей в лицо не видел.

— Скажите, а сколько человек сидело в кабинах тех «студебеккеров»? По одному, по два?..

Старшина Туманов сочувственно, как-то по-отечески, хотя был намного моложе Каирова, посмотрел на докучливого полковника, но твердо ответил:

— Два человека, три...

— Вы уверены?

— Да. В сторону Новороссийска редко ездят в одиночку. Машина с одним шофером сразу привлекает внимание.

— Спасибо, старшина. Вы свободны.

Туманов вышел. Он неплотно прикрыл за собой дверь, и его тяжелые шаги еще долго и глухо слышались в коридоре.

Кряхтя по-стариковски, Каиров поднялся из кресла. Прошел к трехногой вешалке, где висела его шинель и фуражка. Золотухин сидел за столом, отрешенно глядя на откидной календарь.

— Я пойду, — сказал Каиров. — Чертовски выдохся за этот день.

— Я распоряжусь, и вас отвезут в машине, Мирзо Иванович, — Золотухин встал, намереваясь подать полковнику шинель. Но Каиров покачал головой, выражая этим недовольство. И Золотухин стоял возле вешалки немного растерянный.

— Здесь недалеко, — сказал Каиров. — Я пойду. Это полезно — пройтись перед сном. Иначе я не усну. И буду долго мучиться.

— Вам виднее, Мирзо Иванович, — устало ответил Золотухин и опустил голову. Скорее всего он был серьезно огорчен неудачей, постигшей Туманова. Каиров застегнул шинель. Сказал спокойно:

— Я тебе не начальник. Но, как старший товарищ, как твой учитель, должен сказать, что ты неправильно поставил задачу Туманову. Не нужно было пытаться брать этого неизвестного мальчишку, или кто бы там ни пришел, на месте, в развалинах... Нужно было проследить, куда он пойдет. Какие-то связи, какие-то каналы... Поискать каналы, по которым они достают эти продукты. А теперь что? Дело кончилось испугом. И все перекрыто.

Золотухин состроил гримасу. Видимо, он был очень недоволен словами Каирова, видимо, ему было больно слышать эти слова, хотя он, разумеется, и понимал всю их правоту. Но тем досаднее и обиднее было слышать это ему, сгорающему на работе и днем и ночью.

— Это все правильно, Мирзо Иванович. Правильно, так сказать, с точки зрения нормальной, мирной жизни. А сейчас разве есть возможность проследить что-либо?.. Это все может быть настолько случайно... Здесь нужно брать сразу, на месте. Потому что нас всегда поджимает время. Спекулянты. Их нужно хватать. И все. На допросах сознаются. Я в этом не сомневаюсь. Просто Туманова подвел фонарик. И сам он неточно все сделал...

Это сбивчивое и даже наивное объяснение, конечно же, не удовлетворило Каирова И он напомнил недовольно:

— Нельзя было посылать одного старшину.

— У меня некомплект людей. Не хватает народу. Так работать трудно.

— Всем сейчас трудно. Война...

Они не сказали друг другу ни «до свидания», ни «спокойной ночи», но это не означало, что между ними пролетела холодность. Скорее всего они действительно измотались за минувшие сутки.

Ночь по-прежнему была темная. И ветер цеплялся за улицу. И вертелся на ней, как гимнаст на перекладине. Гудок маневрового паровоза прозвучал жалобно, а точнее — тоскливо и одиноко. Грузовые машины с притемненными фарами двигались осторожно, словно па ощупь.

Солнце ласкало развалины. Короткая и очень зеленая трава пробивалась мелкими клочками между обуглившимся кирпичом, искореженным бетоном, ржавым железом. На баррикадах, осевших после нудных дождей, чирикали птицы. Пахло белой акацией, сиренью. Просто морем.

— Покажите мне вещи Сизова, — попросил Каиров.

Чирков привел полковника на какой-то широкий двор, вход в который охранял часовой с винтовкой. Во дворе стояли старые продолговатые здания, низкие — в один этаж. Видимо, это был склад, скорее всего вещевой, потому что у одного из зданий солдаты грузили в машину тюки шинелей.

Вынув связку ключей, Чирков долго искал нужный. Наконец открыл замок. И они оказались в маленькой комнате, где было немного света благодаря небольшому окну, заделанному решеткой. Мебель в комнате отсутствовала. На полу вдоль стены лежали папки с бумагами, на которых крупно было написано лишь одно слово: «дело...», «дело...», «дело...» Черный потертый чемодан выглядел очень приметным. Он стоял перед папками. Рядом лежал узел.

— Это и есть вещи Сизова, — сказал капитан Чирков.

— Все забрали?

— Все, — ответил Чирков и добавил: — Естественно, представляющие ценность.

— Да, — задумчиво сказал Каиров. — Ответ расплывчатый. Ценность, видите ли, может представлять все. Например, меня интересует, не было ли у майора Сизова дневников, записных книжек. Не нашли ли вы среди вещей каких-то бумажек, может, клочков, на которых что-нибудь написано или не написано. Мне это очень важно.

Чирков пожал плечами.

— Я не могу вам сказать ничего точно. Я лично не был... Вернее, не присутствовал, когда забирали вещи. Я послал за ними в гостиницу солдат. Понимаете, товарищ полковник, Сизов не был подследственным. Подследственным был шофер Дешин.

— У него не было библиотеки? — спросил Каиров.

— У Дешина? Не знаю... Ей-богу, не знаю...

— Сынок, меня интересует прежде всего майор Сизов. И только потом — шофер Дешин.

— Виноват, товарищ полковник. Но мне трудно судить, почему вас интересует пострадавший, собственно, даже жертва, а не преступник? — Чирков говорил почтительно, но настойчиво.

— Вы уверены, что Сизов жертва? — спросил Каиров, рассматривая чемодан.

— Это подтверждают факты.

— Меня уже в твои годы смущали дела, которые легко подтверждались фактами.

Чирков нахмурился, по-мальчишески зашмыгал носом:

— Никто не станет отрицать, что пьяный шофер Николай Дешин четырнадцатого марта сбил майора Сизова. Испугавшись расплаты, Дешин бросил истекающего кровью офицера и убежал в горы. Фактически дезертировал, тем самым усугубив свое положение. Логично?

— Относительно... А тебе не приходила в голову такая элементарная мысль, почему вдруг вечером четырнадцатого марта майор Сизов оказался на третьем километре за Рыбачьим поселком у разбитой трансформаторной будки? Что его могло привести туда?

— Я не ставил перед собой задачи уточнить это. Видимо, были какие-то причины, по которым он пришел туда. Может, он пришел на свидание.

— К Татьяне Дорофеевой? — серьезно спросил Каиров. — Едва ли. Он мог встретиться с ней и дома.

Чирков согласился:

— Да. Конечно, не к Татьяне Дорофеевой.

— Хорошо, что по этому пункту у нас общая точка зрения. Но меня интересует, почему все-таки Сизов оказался у трансформаторной будки.

— Товарищ полковник, у Сизова было сто дорог, у нас — одна. И всегда, если подумать, можно найти сто, двести, триста версий, вполне логичных, закономерных, оправданных, по которым Сизов оказался у трансформаторной будки ночью.

— Пожалуй, да, — покладисто согласился Каиров. И повторил: — Пожалуй, да... Вот и давайте искать вариант, тот самый, единственный, верный.

— Нужно ли? — недовольно спросил Чирков. — У меня по делу нет никаких сомнений.

— Спасибо за откровенность.

— Это, пожалуй, самое главное в отношениях между людьми.

— Не самое главное. Но качество важное... Как-нибудь мы выберем свободный вечер, капитан, и поговорим на отвлеченные темы.

— С удовольствием.

— А сейчас можете заниматься своими делами, — неожиданный переход на «вы» будто подстегнул Чиркова.

Он щелкнул каблуками:

— Слушаюсь... Только вот... — Капитан Чирков протянул Каирову связку ключей. — К замку подходит вот этот.

— Спасибо, капитан.

— Разрешите идти?

— Идите.

Чирков четко повернулся, еще раз щелкнул каблуками. Такой лихости позавидовал бы завзятый строевик. Полы его шинели на мгновенье растопырились, словно зонт. Каиров невольно улыбнулся. Потом негромко и спокойно сказал:

— Одну минутку, капитан.

И опять повернулся Чирков, не мог же он разговаривать со старшим, стоя к нему спиной. Но теперь Чирков повернулся, переставив ноги, как обыкновенный штатский человек.

Рука Каирова легла на плечо капитана. И, повинуясь этой руке, словно в танце, Чирков двинулся шаг в шаг с Каировым. Они остановились у стены, против входа. Каиров тихо произнес:

— Есть одно обстоятельство, о котором ты раньше не знал, сынок. Я открою его... Майор Валерий Ильич Сизов, одна тысяча девятьсот пятого года рождения, уроженец города Астрахани, умер четырнадцатого ноября сорок третьего года от ран в батумском госпитале. Нам надо выяснить, чей агент работал здесь четыре месяца по документам Сизова. И за что его бросили под машину. Ясно?

— Да, — так же тихо ответил капитан Чирков, с лица которого сразу исчезло выражение плохо скрытой обиды.

— Что думаешь по этому поводу?

— Сразу и не ответишь... Скорее всего агентура абвера.

— Немцы в Крыму. Вывод кажется правильным... — Каиров сощурился. — Хотя как же быть с батумским госпиталем? Батуми далеко от фронта.

— У абвера широкая амплитуда действий.

Каиров не любил, когда молодые офицеры щеголяли мудреными словами, будто новыми хромовыми сапожками. Он считал, что такая манера говорить равно свидетельствует о недостаточной скромности и о недостаточной профессиональной подготовке сотрудника. Поморщившись, он сказал:

— Так-то оно так... Но диверсионной деятельностью занимаются не только агенты Канариса. Уже два года действует «Цеппелин» — орган главного управления имперской безопасности. В отличие от абвера «Цеппелин» прежде всего интересуется глубоким тылом.

— Они могут действовать совместно, — предположил Чирков.

Каиров сказал:

— По нашим данным, особой дружбы между военной разведкой и гестапо не наблюдается. Но... ворон ворону глаз не выклюет. И координировать свои действия, по логике, эти службы могут вполне.

ВАРИАНТ

Видимо, можно утверждать, что профессия контрразведчика, помимо честного отношения к ней, влюбленности, трудолюбия, требует еще и таланта. Видимо, можно сравнить талант этот с водой, давшей возможность произрасти зерну, брошенному на сухое поле, вспаханное щедро, влюбленно, трудолюбиво.

Кроме личной храбрости, контрразведчик должен обладать еще целой обоймой человеческих качеств. Таких, как принципиальность и наблюдательность, интуиция. Он должен обладать отличной памятью и великой выдержкой. От умения держать себя, быть терпеливым может зависеть исход всей операции, результат труда многих дней и ночей. С остротой журналиста или художника он обязан схватывать детали. И не просто схватывать, но и уметь их сопоставить и сделать выводы, способные запугать врага, загнать его в тупик. Само собой разумеется, что контрразведчик должен быть разносторонне эрудированным человеком. Знание языков, литературы, искусства, техники необходимо контрразведчику,

как тиски или напильник слесарю. Контрразведчик должен быть тонким психологом, прирожденным актером, с присущим этой профессии умением скрывать свои чувства. И не только скрывать, но и радоваться, когда хочется плакать, восхищаться, когда естественнее выразить презрение, в гневе оставаться сдержанным и спокойным.

Но прежде всего, всего главнее — обязательное творческое начало в человеке, решившем бороться со шпионами.

Каиров прожил долгую жизнь и достаточно сложную. Он редко учился чему-то специально. Жизнь учила его сама. И в общем неплохо... Очень нежный и тонкий по своей натуре человек, он, конечно же, затвердел за годы службы, подружился с маской человека иронического, умудренного, всевидящего. Он по-прежнему любил природу, часами мог со своей Аршалуз разговаривать о комнатных растениях, наставляя ее, как правильно выращивать алоэ, амариллисы или бальзамины. Но маска нужна была ему, как дирижеру фрак, как футболисту бутсы. Он работал в ней. Аршалуз, его дорогая и славная, ворчала:

— Ты много повидал... Ты много знаешь. Не понимаю, зачем напускаешь на себя важность? Голова твоя от седины белая, как луна. Будь скромнее, Мирзо!

Он и сам бы рад быть скромнее. Не получается. А переделывать, перекраивать себя поздно. Стар. И голова действительно седая...

Аршалуз, как всегда, во всем права. Повидал он много. И знает — дай судьба каждому... Книгу бы ему написать. Опытом поделиться. С пользой бы прочитали такую книгу те, кто будет после него. Только времени взяться за перо нет. Нет времени... Вот война кончится. Тогда другой разговор. Тогда многие писать станут. Будет что рассказать людям...

Еще в Поти, ознакомившись с обстоятельствами гибели майора Сизова, Каиров пришел к выводу, что под машиной Сизов оказался по одной из следующих причин. Либо его убрала своя же немецкая разведка, либо действительно произошел несчастный случай. Помочь выяснению этого мог только пересмотр дела под новым углом, изучение деталей, малейших подробностей. Если Сизова убрали агенты немецкой разведки, вероятно по заданию

центра, то должны быть причины, вызвавшие такое решение. Надо искать эти причины, надо искать агентов. Их, конечно же, словно мошкару на свет, тянет к порту, ставшему в эти дни важной базой Черноморского флота.

Если верен второй вариант, если действительно произошел несчастный случай, то следует выяснить каналы связи Сизова. Он вполне мог быть резидентом. Но если он даже был рядовым шпионом, все равно существовали каналы, по которым он получал и передавал информацию.

Один знакомый археолог как-то рассказывал Каирову, что, обнаружив глиняную статую исполинского будды, ученые снимали с нее тонны грунта маленькими кисточками, потому что малейшее усилие, неосторожное движение могли погубить находку, превратить ее в пыль. И вот сейчас у Каирова было такое чувство, что где-то здесь закопан глиняный будда и что к нему тоже необходимо добраться с осторожностью. Гораздо деликатнее, чем археологам. Этого будду можно вспугнуть. И он исчезнет. И тогда его придется искать снова. Долго и трудно искать.

Опыт подсказывал, что лучше всего идти от простого к сложному. Проверить версию с несчастным случаем. В пользу его говорило одно немаловажное обстоятельство. Какой смысл немецкой разведке инсценировать несчастный случай, если она могла убрать неугодного ей агента менее хлопотливым способом? Убрать, не оставляя никаких следов.

Каиров поднял запись допросов шофера Дешина.

«Вопрос. Признаете ли вы себя виновным в том, что вечером 14 марта сего года, нарушив правила вождения автомобилей, что выразилось в необеспечении безопасности движения, сбили майора Сизова Валерия Ильича, что и явилось причиной его смерти?

Ответ. Признаю.

Вопрос. Осветите подробно обстоятельства происшествия.

Ответ. Какие обстоятельства? Сбил — и все!

Вопрос. Есть одно обстоятельство. Вы сбили его не на проезжей части, а в тупике за трансформаторной будкой. Как вы попали в тупик?

Ответ. Не знаю. Может, меня осветила встречная машина.

Вопрос. А точнее?

Ответ. Встречная машина осветила».

— Тупик — это зацепка, — сказал Каиров Чирко-

ву. — Вы заметили, Дешин заколебался в данном пунктике. Лишь на повторный вопрос ответил утвердительно.

— Здесь бы надо поднажать, — сказал Чирков.

— В самый раз, — подтвердил Каиров.

— К сожалению, я же тогда не знал, кто такой Сизов на самом деле.

— Не все еще потеряно, — сказал Каиров. — Я должен видеть шофера Дешина.

— Это просто. Его сейчас приведут.

— Нет, — покачал головой Каиров. — Мне еще рано допрашивать. Посмотреть бы его между прочим. И поговорить бы между прочим...

— Со стороны понаблюдать?

— Не совсем. В камере какое отопление?

— Паровое.

— Батарея есть?

— Да.

— Отлично, капитан. Достаньте мне рабочую спецовку. Погрязнее только. Разводной ключ. Молоток. И перекройте паровое отопление.

В КАМЕРЕ

Он редко садился на табурет, а больше мерил камеру шагами, сутулый, обросший человек с воспаленными от бессонницы глазами. Прислушиваясь к каждому звуку, раздававшемуся в коридоре гауптвахты, он замирал, напрягая слух и зрение. Узкая дверь в черных трещинах завораживала его. А когда она, скрипя, уползала в коридор, дыхание его останавливалось, словно шершавая петля захлестывала горло.

Никто точно бы не угадал, сколько ему сегодня лет, но по документам он числился 1916 года рождения. Значит, ему пошел двадцать восьмой год. Девять лет он проработал шофером. Образование — неполное среднее, холост. Беспартийный. Уроженец города Читы. Фамилия Дешин. Звать Николай. И отца Николаем звали.

Каиров заметил все: и испуг, и смятение, и облегчение, которое, как дыхание жизни, коснулось щек, глаз Дешина, уголков его рта, когда он увидел, что часовой остался за дверью, а в камеру вошел немолодой слесарь в промасленном комбинезоне и с сумкой, откуда торчал большой разводной ключ.

— Здорово, сынок! — приветливо сказал Каиров и,

схватившись рукой за поясницу, сморщился. — У, черт, кости ломит. Можно? — он кивком показал на табуретку.

— Валяй, отец, — грубовато, но уже как-то тоскливо сказал Дешин.

Каиров, кряхтя, добрался до табурета. Полез за папиросами. Не вынимая пачки из кармана, достал одну папиросу. Потом в руках у него оказалось кресало. Оно было сделано из напильника. И концы кресала закруглялись, как колеса. Кремень, на который Каиров положил фитиль, голубел узкими, изломанными прожилками. Он хорошо давал искры. Они веером разлетались в разные стороны. В камере приятно запахло огоньком.

— Не найдется закурить, отец?

Каиров прокашлялся. Нехотя, явно скупясь, ответил:

— Поищем.

— Да ты не жмись. Шестой день без курева. Уши опухли.

— Зарос-то как! Давно сидишь, что ли?

— Не спрашивай, — прикурив, ответил Дешин.

— Давно. Значит, скоро отпустят.

— Почему так думаешь? — быстро и настороженно спросил Дешин.

— Теперь долго не держат. Смысла нет. Воевать надо.

— Я хоть сейчас на фронт! — Дешин схватил себя за грудь. — Я фашистов!.. Я их, гадов!.. Да боюсь, не пошлют. Вышку мне, отец, приляпали.

— Не шути.

— Правду говорю, — Дешин произнес эти слова тихо и спокойно. Подошел к стене. Прислонился спиной. — Вот и сижу, как в мышеловке. Дожидаюсь.

Каиров сокрушенно сказал:

— Выходит дело, каждую минуту тебя могут того? — И он показал пальцами вверх.

— На помилование подал. Откажут, значит, того...

— Трудно ждать?

— Ой как трудно, — Дешин закрыл глаза. — Лучше бы пулю в лоб. Сразу. Чтобы не думать. Сыграть в ящик не страшно. Страшно думать об этом.

— Может, оно там спокойнее.

— А на хрена мне покой нужен, если земля останется, а меня не будет. Это же все... Больше не закуришь, девку не обнимешь. Песню не услышишь...

— Ох! — Каиров, покряхтывая, вынул из сумки разводной ключ, присел на корточки возле батареи парового

отопления. Хмуро и укоризненно посмотрел на Дешина. — Натворил ты, видать, малый, дел нехороших. Раз по такой строгости к тебе подошли.

— Офицера задавил, — моргнул Дешин короткими ресницами. И тоска была в его голосе. И страх.

— Шофер... — Каиров осуждающе покачал головой. — Водить машину не умеешь, ходи пешком.

— Я?! Ты не мели глупостей, отец. Я девять лет за баранку держался. — Теперь в голосе звучала только обида. Нет, пожалуй, не одна обида, но и раздражение.

— Он к тебе сам под колеса бросился?

— Не должен бы... — засомневался Дешин. — Баба у него здесь красивая. Сам майор. При деньгах.

— Знакомый?

Дешин неопределенно пожал плечами, будто и не знал, что ответить на этот вопрос.

— Знакомым не назовешь. Офицер из штаба. Иногда на машине его подбрасывал. У нашего брата шофера таких знакомых гарнизон. Дай еще закурить.

— Трудно сейчас с куревом, — поморщился Каиров и тяжело вздохнул.

— Не жмись, батя... — чуть ли не взмолился Дешин. — Еще достанешь себе. А для меня она, может, и последняя...

Каиров опять стучал кресалом о камень.

— Спасибо, отец. На том свете встретимся. Угощать папиросами буду я.

— Зачем так шутишь? Я старый человек. Я тоже о смерти думаю. Не надо шутить на эту тему.

— А я, может, от страха шучу. Я боюсь, может!

— Ты мужчина.

— Ну и что... Мне вот один парень рассказал. В далекие времена за границей, во Франции или в Италии, такой обычай был. Приговоренному к смерти мужчине в ночь перед казнью приводили молодую красивую девушку. И спал он с ней, чтобы семя все из него вышло. Чтобы не погибала вместе с ним будущая жизнь, которая в каждом из нас заложена.

— Красивый обычай, — согласился Каиров.

— Понятно.

Каиров уныло посмотрел на ключ, тяжело встал с табуретки. Сказал с сомнением:

— А мне одно непонятно. Задавил ты человека. Тяжелый случай, так за это же не стреляют.

— Стреляют не стреляют. Любопытный ты, отец, очень.

— К старости все любопытные... Я о чем говорю. Не умеешь водить машину — ходи пешком.

— Опять свое. Я шофер второго класса. Автобус в Чите водил. А здесь влип. И ничего не докажешь... Шел я в рейс. Напросился ко мне Сизов. Подбрось, говорит. Круг нужно было сделать. Выехали на третий километр. Он говорит — стой. Друга обождать надо. В женское общежитие он, что при рыбзаводе, значит, захаживал. И сам ушел. А мне фляжку с водкой оставил. Съехал я с проезжей части в тупичок. За трансформаторную будку. Выпил. Может, оттого, что обедал плохо, отключился я. Пропала память. А когда очухался, майор под колесами мертвый... Я бежать.

— Перепугался.

— Перепугаешься... — грустно усмехнулся Дешин.

Каиров будто через силу подошел к стене, всем своим видом показывая, что ему нездоровится. Пощупал рукой батарею. Спросил:

— И сколько же ты бегал?

— Двое суток.

— Вышка тебе за дезертирство.

— Не помилуют, думаешь?

— За других решать трудно.

— Это верно... — Дешин делал затяжки часто-часто, будто его торопили.

— А тот, друг майора, не приходил? — поинтересовался Каиров.

— Нет. Не приходил.

— И кто он, не знаешь?

— Мне это без надобности.

— Зря... Я вот из твоего рассказа не разберу, когда же ты майора задавил?

— Сам не пойму. Вот думал, думал... Если только он когда слез, — может, пошел за обочину помочиться. А я тут сворачивать в тупик стал, фары не включая. И, может, задел его. Потом протащил...

— Да. Незавидное у тебя положение, — Каиров отвернулся к стене и несколько раз ударил ключом по батарее.

Через минуту в коридоре послышались торопливые шаги и кто-то громко спросил:

— Где сантехник будет?

— В шестой!

Открылась дверь. Запыхавшийся выводной сказал:

— Товарищ мастер! Быстрей в котельную, там трубу прорвало!

ТАТЬЯНА, ПОМНИШЬ ДНИ ЗОЛОТЫЕ...

Старый шкипер Пантелеймон Миронович Обмоткин, впервые увидевший свою родную внучку Татьяну, когда ей пошел шестнадцатый годок, назидательно произнес: «Красива. Слишком красива! А красота, как и выпивка, хороша в меру». Дед ходил по многим морям, обметал клешами набережные Марселя, Сингапура, Шанхая... Ни один даже самый большой танкер в мире не вместил бы в себя столько спиртных напитков, сколько выпил Пантелеймон Миронович за сорок лет плаванья. Виски, ром, джин, водка, коньяк... Эх, да разве перечислишь.

— Я много раз изменял своей жене, — говорил старый шкипер. — Вот почему мне достаточно взглянуть на молодую девицу — и я лучше всякой ворожеи определю, что из нее получится.

Татьяне запомнилась встреча с дедом. Многое из времен юности позабылось, схлынуло, не оставив в памяти следа, так скатывается малая вода, успевшая только лизнуть берег да пошелестеть галькой. Но приезд деда она помнила ясно, точно это было вчера, а не девять лет назад — в тридцать пятом году. Считалось, что дед живет в Одессе. Там жила и бабка. Но потом бабка умерла. Она попала под машину «Скорой помощи». И Татьяна считала и до сих пор считает кончину бабки непростительной глупостью. О деде она много слышала. Представляла его высоким и сильным. И красивым, потому как милые родственники, все без исключения, заявляли, что Татьяна похожа на деда.

Очень радостно было отметить — дед оправдал ее лучшие ожидания. И рост, и осанка, и глаза деда могли украсить любого мужчину. Вот только старым был дед. И лицо его было морщинистым и коричневым, словно кожа портфеля.

Пантелеймон Миронович привез внучке подарки. К сожалению, он не знал ее роста, полноты. И все платья оказались в груди тесными Татьяне, а белье — велико. Но последнее не так уж страшно. Важно, какое это было белье, какие умопомрачительные гарнитуры!

Татьяна догадалась, что, конечно же, не внучке покупал их в Гонконге дед. Но по какой-то причине они не дошли по назначению. Татьяна благодарила судьбу за это.

Весна. 1937 год. Татьяна заканчивает десятилетку. Последняя четверть. Пора надежд, ожиданий. Правда, в классном журнале против фамилии Тани стоит некрасивое слово «пос.». Ну и что? Посредственно — тоже государственная отметка. На «хорошо» и «отлично» пусть страшненькие учатся. Им нужнее...

Цветет белая акация. Каждую весну цветет. Кажется, и привыкнуть можно. Но так только кажется... А вот потеплеет земля, засинеет небо, словно подрисованное. И море — разноцветная клумба напоит запахами воздух. Тогда смотри на ветки акации. Скоро появятся белые гроздья. И к запахам моря прибавится еще один; приятный-приятный... Он вносит в душу смятение, будит мечты...

Каждый мечтает о своем: один хочет покорить горную вершину, другой — написать оперу, третий — получить толковую специальность...

Татьяна мечтала попасть в ресторан «Интурист». Она не задумывалась над тем, сдаст ли экзамены за десятилетку или нет, выйдет ли замуж или нет, станет ли в будущем доктором или пожарником. Ей было глубоко безразлично все это. Она могла бы мечтать о красивом платье, о лакированных туфлях. Но и шелковое платье, и модельные туфли, покрытые черным лаком, и даже тончайшее нижнее белье из Гонконга у нее были. Предметом ее устремлений стал ресторан «Интурист».

Он голубел невдалеке от набережной, между городским парком культуры и отдыха и Домом моряков. Его обвитые глицинией террасы казались наполненными особой таинственной жизнью, где царствовали официанты в накрахмаленных куртках и вечерами играл золототрубый джаз.

Женщины с улыбками и без оных поднимались по широким ступеням. Женщин поддерживали мужчины. А ступени поддерживали выбеленные колонны. Они были вылеплены в форме ваз. Поэтому в каждой чаше росли розовые лохматые цветы, названием которых Татьяна не интересовалась.

Гуляя с подругами близ ресторана, Татьяна, словно воздушный шар, свободная от всякой тяжести и прежде всего от тяжести предрассудков, с тоскливой завистью смотрела вслед входящим и выходящим парам. И думала,

что когда-нибудь и для нее начнется настоящая жизнь. Начнется именно в ресторане «Интурист».

Это правильно, что человек — кузнец своего счастья. Это правильно: кто ищет, тот всегда найдет.

Парень был рослый. И мышцы у него играли под загорелой кожей, когда он лег на песок, а потом повернулся на бок и стал пристально разглядывать Татьяну. Она тоже лежала на песке. В сине-белом купальнике. А на парне были не черные сатиновые трусы, в которых обычно на пляже загорали местные ребята, а узкие пурпурные плавки с ярко-желтой тесемкой по краям и на боку. Татьяна поняла, что парень с корабля. И покраснела, как умеют краснеть еще не испорченные девочки, считая, что моряк неприлично долго разглядывает ее грудь.

— Где вы успели так загореть? — спросил парень.

— На крыше, — ответила Татьяна.

— Удивительно. Откройте секрет.

— Никакого секрета нет. С марта месяца ежедневно забираюсь на крышу сарая. Лежу там минут сорок, тридцать...

— Барсуков, — представился парень и спросил, как ее зовут.

Она ответила... Вообще, если смотреть со стороны, все было предельно обыкновенно. Тысячи, а может, десятки, сотни тысяч людей знакомились вот так, между прочим, на этом берегу, а потом встречались еще и еще...

Вечером Татьяна сидела в ресторане «Интурист», и деловитый официант с перекинутой через руку салфеткой записывал огрызком карандаша то, что диктовал ему Барсуков. Они расположились у окна. Скатерть на столе была не такая свежая, как казалось с улицы. И соль вокруг прибора была просыпана, и перец тоже.

В центре зала за тремя сдвинутыми столиками — веселая компания моряков. Очень часто кто-то из них подходил к оркестру, шептался о чем-то со скрипачом, скомканная кредитка переходила из ладони в ладонь. И тогда скрипач громко объявлял:

— По заказу экипажа танкера «Дунай» исполняем любимую песню их дорогого и любимого боцмана...

Любимый боцман сидел к Татьяне спиной, и она не могла видеть его лицо, но решила, что он некрасивый. Боцман обожал народные песни. «Светит месяц» сменялся «Калинкой», а «Калинка» «Коробейниками». Наконец боцман соизволил послушать «Очи черные». И Барсуков

пригласил Татьяну танцевать. Он водил как бог. Это решило все...

Увы! Первая любовь оказалась столь же недолговечной, как и морская волна.

Через десять дней Барсуков ушел в рейс, а она познакомилась со студентом юридического факультета Чирковым, который проходил практику в местном народном суде.

В первую же ночь 1938 года Татьяна стала его женой. Супружеское счастье могло быть долгим, не страдай Чирков застарелой навязчивой идеей. Он полагал, что его жена должна иметь высшее образование и стремиться к знаниям, словно речка к морю. Но увы! Татьяну прельщало другое русло. Оно виляло между магазинами, ресторанами, парикмахерскими. Однако материальный достаток практиканта оказался шаткой посудиной для такого извилистого пути.

За Дорофеева Татьяна вышла в мае сорок первого года. Меньше чем через месяц началась война. Дорофеев был знаменитым в городе футболистом. Левым крайним в команде «Порт». Чирков, который не пропускал ни одного матча, водил с собой на стадион и Татьяну. Как-то получилось, что она запомнила игру Дорофеева. Он числился рабочим порта. Но, разумеется, не работал. А приходил два раза в месяц за зарплатой. Татьяна после развода с Чирковым устроилась кассиром в бухгалтерии морского порта. Так они и познакомились.

По сравнению с Чирковым новый муж показался ей таким пустым и глупым, что она через неделю поняла — они не смогут осилить медовый месяц.

Рассудила их война.

Уже в июле Татьяна овдовела.

Беженцы из Одессы и Крыма наводнили город. Горкомхоз стал проявлять естественный интерес к Татьяниной двухкомнатной квартире. Подселения можно было ждать со дня на день. Тогда Татьяне пришла счастливая мысль: пускать на постой офицеров. Они долго не задерживались в городе. И, как правило, были мужчины остроумные и веселые.

Татьяна припудрила кончик носа. Кожа на нем немного шелушилась. Это раздражало молодую женщину. Даже пугало. Она понимала, что лицо ее стареет. И она

вся стареет. И если доживет, то когда-нибудь станет такой же старой, как Марфа Ильинична. И мужчины будут смотреть на нее без воодушевления или просто не замечать. Что делать тогда? Для чего жить? Правда, при ее фигуре, при ее женских данных лет пятнадцать еще можно продержаться. А дальше? Трудно гадать... Жизнь подскажет. Закрыв коробку с пудрой, Татьяна взглянула на часы. Скоро на работу. А еще нужно забежать к Марфе Ильиничне. Торопливо накинув пальто, она схватила сумку и вышла в коридор. В это же время в дверь постучали. Татьяна повернула ключ. На пороге — Марфа Ильинична.

Протиснувшись в коридор, портниха шепотом спросила:

— Одна?

— Никого больше нет.

— Беда, — сказала Марфа Ильинична. — Несчастье.

ДЕШИН МЕНЯЕТ ПОКАЗАНИЯ

Его вызвали ночью. После двенадцати. Заскрежетал замок. И дверь, скрипнув, вывалилась в коридор. Грязная стена, близоруко высвеченная лампочкой, словно подталкивала выводного, который не остановился в дверном проеме, а шагнул в камеру. Сухо сказал:

— Собирайся.

— Совсем? — без всякой надежды спросил Дешин. И что-то оборвалось у него под дыхом, и он почувствовал, что лицо, и руки, и все тело его мокрые, словно он стоит под дождем.

Выводной ничего не ответил. Снял с плеча карабин, поставил на пол. Приклад грохнул о доски, точно выстрел. Предчувствия Дешина усилились. Он спустил ноги с нар, поднялся, не ощущая собственного веса. Подумал, что сделает шаг и упадет, бесшумно, плавно, как поставленная на ребро бумага. Он хотел накинуть шинель, но выводной остановил:

— Не надо.

— Может, и сапоги возьмешь, — сказал Дешин. — У шофера они всегда ноские.

— Прекратите разговоры! — отрезал выводной.

В коридоре Дешин увидел начальника караула, младшего лейтенанта, и с ним двух солдат. Вооруженных. Он сказал начальнику караула:

— Не имеете права. Вы обязаны показать мне ответ. Я просил о помиловании.

— Не дрожите, — ответил младший лейтенант. — Вас вызывают на допрос.

Слегка закружилась голова, вес стал возвращаться в тело. И Дешин почувствовал под собой цементный пол. И похвалил в душе выводного, что тот не воспользовался его минутной слабостью и отказался от сапог.

Свет в кабинете поставили так, чтобы освещался только стул, на котором будет сидеть допрашиваемый. Каиров отодвинул кресло в дальний угол кабинета. И оттуда мог спокойно следить за ходом допроса.

Как и договорились, Чирков начал без предисловий.

— Дешин, я допрашивал вас уже четыре раза. Поэтому опустим формальности. Уточним детали.

— Слушаю вас, гражданин следователь, — с готовностью ответил Дешин.

— Вот и отлично. Припомните, в какое время, где и куда майор Сизов просил вас его подбросить?

Нет. Дешин не вздрогнул. Он только оторопело посмотрел на Чиркова. Насупился. Глуховато ответил:

— Я не показывал это на следствии.

— Знаю... Поэтому спрашиваю.

— Если знаете, нечего и спрашивать.

— Дешин, полное и самое откровенное признание — ваш единственный шанс спасти жизнь. Я вас не обманываю, Дешин. Дело может быть пересмотрено лишь в том случае, если вскроются какие-то новые, особые обстоятельства. В ваших интересах говорить только правду.

— Я и говорю правду.

— Не всю.

— Меня помилуют? — с надеждой спросил Дешин, глаза забегали, казалось, из них вот-вот брызнут слезы.

— Возможно, — голос невидимого Каирова, прозвучавший из глубины кабинета, казалось, напугал Дешина. Он внезапно сник, расслабился.

Чирков покачал головой:

— Будете молчать?

— Нет... Я скажу, — вяло ответил Дешин. — Майора Сизова встретил после обеда, когда вышел из солдатской столовой. Сизов спросил, как у меня сегодня со временем.

Я сказал, что вечером отправляюсь в рейс. Он сказал: «Выбирайся раньше, подкинешь меня в Перевальный».

— Вас не удивила эта просьба?

— Нет. Я уже раза два или три возил майора туда.

— Для какой цели?

— У начальства не спрашивают.

— А все же? Он поручал вам перевезти груз или пассажиров?

— Нет. Он ездил один. Там госпиталь... Понимаете, гражданин начальник? — Дешин развел руками. И жалкое подобие улыбки появилось на его лице.

— Объясните, — сухо потребовал Чирков.

— Молоденькие медицинские сестры. Там даже я с одной познакомился. А майору и бог велел иметь среди них зазнобу.

— Кто она?

— Не могу ответить.

— А женщина, с которой встречались вы?

— Женщина? — удивился Дешин. Возразил печально: — Она еще почти девчонка.

— Фамилия?

— Не спрашивал. Аленкой ее зовут. Там все знают.

— Дальше? — поторопил Чирков. Если бы Дешин мог хорошо видеть лицо следователя, он бы легко понял, что капитан недоволен его вялыми, неопределенными ответами.

— Вечером, значит, я поехал. Затормозил у госбанка. Там ко мне в кабину сел майор Сизов. На третьем километре велел остановиться, друга, значит, забрать нужно было.

— Друг не ожидал майора у трансформаторной будки?

— Не... Он был в общежитии рыбзавода. Майор вылез. А мне фляжку с водкой оставил. Я в тупичок съехал, чтобы автоинспекцию не раздражать. Там и приложился к фляжке...

— Вас не удивило, что майор дал вам водку?

— Нет. Он всегда что-нибудь давал. Водки ли, папирос...

— А когда же вы задавили майора?

— Сам не пойму. Выпил. Вздремнул маленько... Когда пришел в себя, майор был готов.

— Почему вы скрыли это обстоятельство на следствии? — спросил Чирков.

— Я боялся... За нетрезвый вид получить больше.

— Получили под завязку... — подал голос Каиров. — А скажите, куда вы девали фляжку?

— Кажется, она осталась в кабине.

Ответ не удовлетворил Каирова:

— А если точнее...

— Я не брал ее.

— Выходит, она исчезла.

— Я не брал ее, — повторил Дешин.

— Вспомните, когда вы очнулись, фляжку видели?

— Не обратил внимания.

— Жаль. Это единственное вещественное доказательство, которое могло подтвердить правдивость ваших слов. Но его нет.

— Может, фляжку взял милиционер, — сказал Дешин.

— Не думаю, — ответил Каиров. — Но мы уточним.

ГОСПИТАЛЬ В ПЕРЕВАЛЬНОМ

В тот день хорошо светило солнце. И молодые листья, желтые и клейкие, смотрели в небо, как в зеркало. Густо пахло землей и терпкой зеленью, а когда шоссе выходило к морю и оно веером разворачивалось перед машиной, воздух свежел, словно распахивалась форточка, и можно было угадать, как пахнут водоросли, ракушки, галька.

Они ехали вдвоем. Машину вел Чирков. Каиров сидел рядом. Щурясь от яркого солнца, глядел на дорогу, обсаженную выкрашенными в цвет земли столбиками, за которой, опускаясь вдаль, светлела лощина. Разбросанные по лощине домики и заборы вокруг них казались Каирову игрушечными.

Обогнали полуторку, заполненную какими-то ящиками. Вышли на крутой подъем, оплетавший безлесную гору, чуть прикрытую мелким кустарником.

Чирков, у которого сегодня не чувствовалось холодности во взгляде и настроение было под стать погоде, рассуждал:

— Если фляжка существовала в действительности, значит, ее кто-то взял. Получается, что был третий. Кто? А если это друг Сизова...

— Нужно уточнить, были ли в тот вечер гости в женском общежитии. Возьмите это на себя.

— Слушаюсь, — кивнул Чирков.

— А про фляжку... Я, например, не вижу причин, ради которых Дешину следовало придумать эту историю.

— Я тоже... Тем более он говорил про фляжку там, еще в камере, когда вы пришли к нему сантехником.

— Он узнал меня сегодня ночью? — спросил Каиров.

— Не думаю.

— Да. Запутанная история... Кстати, вам не кажется, капитан, что «дело шофера Дешина» звучит уголовно и не выражает сути. Наступила пора дать операции кодовое название.

— Согласен. Так удобнее. Неизвестно, что мы еще здесь раскопаем.

— Будду.

— Как вы сказали? — не понял Чирков.

Каиров опустил стекло. Быстрый ветер прошмыгнул между сиденьями, потом вернулся еще и еще...

— Предлагаю назвать операцию «Будда». Вам понятно, почему?

— Нет, — сознался Чирков.

— Я потом объясню...

— Дело не во мне. Такое название не понравится начальству.

— Начальство знает мои вкусы. Оно просило меня только не кодировать операции названиями цветов. Представляете — операция «Азалия». Красиво?

— Вполне.

— Когда-нибудь видели ее?

— Нет.

— О! Это роскошные густо сидящие цветы с маленькими, узкими листьями.

— У меня такое впечатление, что вы знаете все на свете.

— Контрразведчик должен обладать именно такими знаниями. К сожалению, в мире есть много вещей, о которых я не имею понятия.

В госпитале медсестру Аленку все считали похожей на мальчишку. И виной тому были не только волосы, подстриженные очень коротко, но и задиристые глаза, и походка, как у мальчишки-подростка, и манера говорить, отчаянно жестикулируя. Если учесть, что с лица она была миленькая, да еще светловолосая, всегда носила чистенький халат и белоснежную косынку, характер имела

отзывчивый, то нетрудно догадаться, — она слыла всеобщей любимицей. И никто не знал и, может быть, даже не подозревал, что Аленке вовсе не нравилось, когда в госпитале ее называют Ленька и добавляют при этом «свой парень». Она все-таки была девчонкой. Самой обыкновенной девчонкой...

Месяца два назад промозглым февральским днем, когда широкие тучи шли низко, чуть ли не касаясь крыши госпиталя, и колкий дождь хлестался, точно кнут, Аленка познакомилась с шофером Николаем. Он привез какого-то майора и сидел в кабине машины. Аленка бежала через круглый асфальтированный двор в особняк, двухэтажный, с толстыми мрачными колоннами у входа, где жил весь медицинский персонал госпиталя. Николай открыл дверцу, крикнул:

— Девушка, притормози!

Она остановилась. А он сказал:

— Угости чайком, милая. Промерз как сатана.

— Беги за мной, — ответила она.

И он побежал.

Раскрасневшаяся и веселая, она напоила его чаем с крепкой заваркой и кусковым сахаром. Он пил с удовольствием. Дул на край металлической кружки. И рассказывал смешные анекдоты, многие из которых Аленка слышала раньше. Но она все равно смеялась. Ей было весело с ним. И она чувствовала, что нравится ему...

Николай приезжал еще три раза, все с тем же майором. Но дважды Аленка, как назло, дежурила. А в последний раз майор пробыл в госпитале лишь несколько минут.

Прощаясь, Николай обещал заскочить в скором времени. Но обещания не выполнил...

...Койка Аленки стояла у окна. В комнате с высокими, окрашенными в салатный цвет панелями было свежо и чисто. Широкий шкаф, поставленный к стене торцом, загораживал вход, образуя перед дверью маленький тамбур, прикрытый узенькой цветастой занавеской. Комната на троих. В центре — стол. На нем темная бордовая цветочница с молодыми веточками распустившегося граба.

Сдернув покрывало, Аленка присела на кровать. Высоко подняв руки, стянула блузку. Тут же услышала, как дверь без стука отворилась. Аленка испуганно спросила:

— Кто там?

Колыхнулась портьера. Девушка в белом халате, лицом непривлекательная, остановилась у стола, покосилась на цветочник, потом сказала:

— К начальству госпиталя тебя вызывают, Алена.

— Спать хочу.

— С ночи?

— В шестой палате перед утром моряк скончался. При сознании умирал. Все пальцы мои рассматривал. И твердил, что они музыкальные, что мне нужно играть на виолончели. А я этот инструмент и не знаю. Ты когда-нибудь видела виолончель?

— Много раз, — уверенно ответила девушка. — Она на саксофон похожа. Только труба длиннее.

— А я почему-то думала, на гитару. Он так хорошо про пальцы говорил.

— Нет. На саксофон... Одевайся.

— У меня нет сил подняться с кровати, — призналась Аленка.

— Я скажу, что тебя не нашла.

— Все равно не отвяжутся.

В кабинете начальника госпиталя Аленка увидела только двух офицеров.

— Извините, мне нужен начальник, — сказала она. И хотела выйти.

— Не торопитесь, прекрасная девушка, — сказал немолодой тучный полковник. — Вас зовут Аленка?

— Да.

— Вот и отлично. Мы вас ждем. Проходите, пожалуйста, Аленка. Садитесь... Я полковник Каиров. А это капитан Чирков.

Капитан был намного моложе полковника и, как показалось Аленке, серьезнее. За все это время он даже не шевельнулся и только смотрел на Аленку пристально, точно просвечивал рентгеном. Растерянность, коснувшаяся было Аленки, сменилась любопытством. Девушка неторопливо прошла в глубь кабинета. И опустилась в низкое неуклюжее кресло, покрытое мятым холщовым чехлом.

Каиров спросил:

— Аленка, вы знакомы с шофером Николаем Дешиным?

— С шофером Николаем. Да... Но я не знаю, как его фамилия.

— Посмотрите, пожалуйста, — сказал капитан Чирков и вынул из лежащей перед ним папки крупную фотографию Дешина.

— Что он натворил? — мельком взглянув на фотографию, спросила Аленка.

— Это он? — повторил вопрос Каиров.

— Да.

— Он ваш друг?

— Мы знакомы, — спокойно, с внутренним достоинством ответила девушка.

— Давно?

— С февраля месяца. Он приезжал сюда.

— Часто? — спросил Чирков и почему-то смутился. Кончики его ушей покраснели очень заметно.

— Три раза.

— Один? — доброжелательно поинтересовался Каиров.

— Нет, — покачала головой девушка, перевела взгляд на Чиркова и ответила так, будто спрашивал капитан: — Он приезжал с майором.

— Вы знаете фамилию майора? — голос у Чиркова был напряженный, словно он через силу выдавливал слова.

— Не интересовалась, — виновато призналась Аленка.

— А в лицо его помните?

— Видела один раз.

— Он здесь есть? — Чирков положил перед ней несколько фотографий.

Аленка быстро нашла фотографию майора Сизова.

— Вот он.

— Вы не путаете?

— Нет. Я его запомнила. Он посмотрел на меня так... Я поняла, что не понравилась ему.

— У женщин есть такое чутье, — заметил Каиров.

— Есть, — подтвердила Аленка.

— К кому он приезжал? — спросил Каиров.

— Не знаю.

— Жаль, — Каиров сокрушенно покачал головой. — Очень жаль. Мы на вас крепко рассчитывали, Аленка.

— Если нужно, я постараюсь узнать.

— Мы были бы вам за это благодарны, — сказал Чирков и неожиданно улыбнулся Аленке. Хорошо, нежно.

И она твердо ответила:

— Я узнаю.

— Только делать это нужно, не привлекая излишнего внимания, — пояснил Каиров. — Между прочим... Понятно?

— Да, — тихо и серьезно ответила Аленка.

— Пусть это будет вашим комсомольским поручением. Боевым поручением, — сказал Каиров, любивший (а что делать!) громкие фразы.

— Я приеду к вам завтра в это время, — сказал Чирков, вставая. — Срок достаточный?

— Вполне, — Аленка тоже поднялась.

— До свиданья! — Чирков протянул ей руку.

АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Чирков Егор Матвеевич, родился 2 апреля 1917 года в семье юриста. Отец мой, Чирков Матвей Романович, был членом Минской городской коллегии адвокатов. Мать — домохозяйка.

В 1924 году мы переехали в город Борисов, где отец работал в нотариальной конторе, а я учился в средней школе. В 1927 году я был принят в пионеры, в 1933 году — в члены ВЛКСМ. Общественные поручения выполнял. Был редактором школьной стенной газеты.

В 1935 году я поступил в Московский юридический институт, который окончил в 1940 году.

В армии с первых дней войны.

Был женат. Но недолго, с января по август 1938 года. С гражданкой Татьяной Обмоткиной мы не сошлись взглядами на жизнь.

Родители мои погибли в 1941 году при бомбардировке города Борисова.

Под судом не был.

Родственников за границей не имею.

Капитан Е. Чирков.

20.12.1942 г.

ЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ

— Что я ему скажу? — испуганно спросила Татьяна.

— Уж не знаю, не ведаю, — пряча взгляд, заявила Марфа Ильинична, и второй подбородок ее неприятно колыхнулся.

— Он не поверит.

— Его дело... Только появляться близ тайника, тем паче товар туда класть, не советую.

— Он сказал, что вы ему должны две тысячи.

— За кирпичи? Разбогатеет быстро, — сказала как отрезала Марфа Ильинична, махнула при этом рукой и покраснела.

— Он приносил не кирпичи.

— Мне неизвестно, и тебе тоже.

— Вы никогда никому не верите, — вздохнула Татьяна.

— Это мой недостаток.

— С недостатками нужно бороться.

— О, если бы только с недостатками! До них руки не доходят.

— Марфа Ильинична, вы заговорите кого угодно.

— Верно, Танечка. Сызмальства я заикалась. Потом выровнялась. И теперь тараторю, удержу нет. Жан другой раз начнет на инструменте репетировать. Я к нему с разговорами. Он у меня послушный, вежливый. И то взмолится: «Мама, вы кричите так, что я барабана не слышу».

— Вам хорошо шутить, — горестно заметила Татьяна. — А что я скажу ему?

Марфа Ильинична уклонилась от ответа:

— Дай воды попить.

Они прошли на кухню.

— У меня квас есть, — сказала Татьяна.

— Лучше воды. Я квасом не напиваюсь.

Крякнув громко и неприятно, Марфа Ильинична поставила опорожненный стакан на подоконник. И повернулась спиной к окну, которое крест-накрест было заклеено узкими полосками марли.

— Ты, Татьяна, не печалься. Положись на меня. Твой, он человек осторожный, даже мне не рискует показаться. Он все разумеет... Передай ему — наперед товар пущай к тебе приносит. Когда я сама носить буду, когда ты... Ни у кого подозрения это вызвать не может. Ты моя клиентка довоенная. Ясно?

— Ясно, но... Кто две тысячи платить будет?

— Плюнь и забудь. В торговле всегда случается естественная убыль. Об этом каждый продавец знает.

В шестом часу вечера еще было светло, хотя солнце уже пряталось за мысом Косым, и свет над городом лежал мягкий, и все было без теней, как на детском рисунке. Каиров направился к Золотухину. Он медленно, словно прогуливаясь, шел по стертому, давно не ремонтированному тротуару, тянувшемуся от здания к зданию, большинство из которых давно лишились крыш и окон. Возле продуктового ларька женщины дожидались своей очереди. Продавщица резала хлеб длинным, будто сабля, ножом, и он мерцал тускло и холодно.

Сквер, заселенный старыми, кряжистыми кленами, был пуст.

Скамеек уцелело мало. Да и уцелевшие имели удручающе неприглядный вид. Но листья на деревьях уже набирали силу. И смотреть на них было приятно.

На выходе из сквера Каиров остановился, чтобы пропустить мчавшуюся на большой скорости машину, но, заскрежетав тормозами, машина лишь чуть проскочила мимо Каирова и замерла у тротуара. Показалась кудлатая голова. Знакомый голос:

— Мирзо Иванович!

— А я к тебе, Дмитрий, — сказал Каиров Золотухину.

— Милости прошу в машину.

— Здесь недалеко. Пойдем пешком. Подышим свежим воздухом, — предложил Каиров. — Это возвращает силы и бодрость.

— Как всегда правы, Мирзо Иванович.

Золотухин вылез из машины. Сказал шоферу:

— Поезжай.

Выглядел он устало. Протянул Каирову руку:

— Я подготовил сведения, которые вы просили.

— Спасибо, Дмитрий. Как Нелли?

— Что с ней станется? — недовольно ответил Золотухин.

— Слушай, дорогой, — Каиров произнес эти слова властно и строго, — в таком тоне никогда не смей говорить о Нелли. Она мне почти как дочь.

Золотухин смутился:

— Мирзо Иванович, ради бога, не горячитесь. Кажется, я немного устал.

— Немужское дело жаловаться на усталость.

— Я не жалуюсь. Я объясняю. Не сердитесь, Мирзо Иванович. Я люблю Нелли.

— А понимать ее — понимаешь? — Каиров склонил голову набок, заглядывая в глаза Золотухину.

— Это уже тонкости. Сейчас не до них. Пусть она меня понимает. У нее больше свободного времени.

Каирову ответ показался странным. Мало того, не понравился. Вначале ему захотелось осадить Золотухина или прочесть ему мораль о супружеской жизни, но Золотухин выглядел таким несчастным, таким замотанным, что Каиров не нашел ничего лучшего, как просто спросить:

— Подсчитал?

— И не думал.

— Не верю.

— Честно, Мирзо Иванович... У нас с Нелли все в порядке. Хорошо мы с ней живем. Правда, укоряет она, что простора во мне маловато, что суховатый я человек. Не спорю... Говорю, обожди, после войны жизнь настоящая начнется...

Нота горечи прозвучала в голосе Золотухина громко и явственно, как петушиный крик на рассвете. Каирову не понравилось это. И он сказал нудновато, по-старчески:

— С жизнью лишь когда расстаются, понимают, что она настоящая. А после войны, дорогой, свои трудности придут.

— Ясное дело, — без воодушевления согласился Золотухин.

Они миновали площадь. Голубой сумрак лежал над ней, как опрокинутая чаша. Поднялись по улице, которую перегораживала сложенная из кирпичей баррикада. Вышли к зданию милиции.

— Старшина Туманов на месте? — спросил Каиров.

— Сейчас выясним, — ответил Золотухин.

Но выяснять не пришлось. Старшина Туманов сидел возле стола дежурного, набирал номер телефона. Увидев вошедших, он положил трубку, встал и поздоровался.

— Мне нужно задать вам только один вопрос, — сказал Каиров. — Вы не находили в машине Дешина фляжки с водкой?

— Нет, товарищ полковник.

— Значит, не находили, — многозначительно уточнил Каиров.

Старшина стоял перед ним навытяжку, смотрел на

полковника честно, с пониманием. И Каиров поверил, что такой человек не утаил бы фляжку, пусть даже наполненную водкой.

— Фляжки в кабине не было. Я осветил кабину. Думал увидеть кровь. Или другие следы преступления.

— Ничего не увидели? — Каиров уже не смотрел на старшину. Окрашенные в белую краску стекла окна за спиной дежурного светились слабо и мерцающе.

— Подозрительного ничего.

— Спасибо.

Потом, повернувшись к Золотухину, Каиров сказал:

— Ладно, всего хорошего.

— Вам не нужна моя помощь, Мирзо Иванович?

— Пока нет.

Выйдя из милиции, Каиров решил не спускаться вниз к площади, а вернуться в гостиницу верхней дорогой. Она выведет его к узкой, немощеной улочке, на которой он когда-то жил. У них с женой был уютный деревянный домик. И персиковый сад. И виноград «изабелла» над окнами. Из винограда осенью Каиров давил вино. Но получалось мало. И вино выпивали молодым, не позже Нового года. Оно очень хорошо пахло. Изумительно! И было почти как виноградный сок, только немножко с градусами. И цвет у вина был темно-красный. Оно приятно смотрелось в бокале, если свет попадал на тонкие стенки и катился вниз желтым искристым комком.

И море искрилось. И летом и зимой... Потому что и зимой было много солнечных дней. Небо в январе голубело еще чище, чем в августе.

Белые панамы, яркие одежды курортников на бульварах пестрели, как украшения. Они придавали городу праздничный и немного легкомысленный вид.

Сегодня море и небо остались прежними, но курортную панаму город сменил на матросский бушлат.

Каирову не довелось быть осенью сорок второго года среди защитников города. Однако он много, очень много слышал о мужестве людей, сокрушивших врага, преградивших ему путь на Черноморское побережье Кавказа.

И сейчас, вглядываясь в сильные и спокойные лица горожан, Каиров верил, что эти люди сделают все. И город, их родной город станет еще лучше довоенного. Как и прежде, он будет солнечным, красивым, веселым, но он будет и строже и сдержаннее, потому что подвиги мужчин и женщин, отстоявших его, не забудутся никогда.

Обелиски и памятники встанут рядом с тополями и кипарисами, а легенды о мужестве и бесстрашии будут передаваться из уст в уста.

Сложится очень много легенд — о пехотинцах, моряках, летчиках, зенитчиках. И вначале, видимо, ничего люди не узнают о чекистах. Потому что деяния их известны лишь ограниченному числу лиц и по служебным законам до поры до времени разглашению не подлежат.

...Женщина с полными ведрами шла через улицу. Вода плескалась на землю с каким-то шлепающим звуком.

Увидев воду, Каиров сразу вспомнил о фляжке.

Куда же девалась фляжка, из которой Сизов поил шофера Дешина? В вещах Сизова ее нет. Да и не должно быть. Вещи брали из гостиницы. А в гостиницу Сизов не вернулся, потому что остался лежать под колесами. Фляжку Дешин не уносил (Каиров верил в это). Значит, был третий. Кто он? В чем заключалась его роль?

ОПЯТЬ ПЕРЕВАЛЬНЫЙ

«Совершенно секретно.
Полковнику М. И. Каирову.
Отп. I экз.

3 апреля 1944 года сотрудниками военной контрразведки «Смерш» фронта совместно с территориальными органами государственной безопасности и внутренних дел в районе станции Южная задержан Примаков Евгений Васильевич (он же Авраменко, Одинец, Парцалиадис, Домогацких). Агентурная кличка — Длинный. Прошел специальную подготовку в диверсионно-разведывательной дивизии «Бранденбург-800». С апреля по декабрь 1941 года находился в распоряжении разведуправления «Валли-VI». С февраля 1942 года — сотрудник зондеркоманды «Марс» разведоргана «Цеппелин», подчиненного главному управлению имперской безопасности. Шел на связь с агентом по кличке Зуб, которого знал в лицо. Из десяти фотографий, предъявленных ему, с изображением различных людей без колебаний отобрал фотографию Сизова. Имел запасную явку в Перевальном.

Ниже, для ориентировки, приводятся отрывки из стенограммы допроса.

Следователь. Где вы должны были встретиться с Сизовым?

Примаков. Я не знаю никакого Сизова. Я шел на

встречу с агентом по кличке Зуб. У него было много фамилий.

Следователь. И фамилия Сизов была тоже?

Примаков. В дивизии «Бранденбург-800» он носил фамилию Неделин. Но я подозревал, что она у него не первая и не последняя.

Следователь. Хорошо. Тогда ответьте на вопрос, где вы должны были встретиться с агентом по кличке Зуб?

Примаков. 15 марта с половины третьего до трех у входа в городскую баню мне надлежало прохаживаться с дубовым веником в правой руке.

Следователь. Пароль?

Примаков. Мы хорошо знали друг друга. И пароля не было.

Следователь. В чем заключалось ваше задание?

Примаков. Зуб должен был устроить мне встречу с человеком по кличке Японец, в распоряжение которого я и поступал.

Следователь. Я не очень верю, что вам не дали пароля. А если Сизов не явился бы к месту встречи? Ваши начальники должны были учитывать и такой вариант.

Примаков. Так и получилось. Сизов не пришел к баням. У меня был запасной вариант. Очень сложный. Потому что здесь огромную роль играли число месяца и час суток. 18 марта я должен был к семи вечера приехать в госпиталь в Перевальном. Сказать дежурной сестре, что я родственник раненого офицера Колесова из Чимкента. Поскольку офицер Колесов скончался несколько дней тому назад, я попросил бы разрешения остаться до утра, чтобы навестить его могилу. Утром на кладбище ко мне должен был подойти человек и спросить: «Это вы из Чимкента? В Чимкенте есть улица Ленина?» Ответ: «Улица Ленина есть в любом городе».

Следователь. Как же сложились дела в действительности?

Примаков. Я уже говорил, что Зуб в баню не пришел. На другой день я добрался до Перевального. Двое суток прятался в горах. И лишь в семь часов появился в госпитале. Все сделал по инструкции. Меня оставили ночевать. Положили одного в маленькой комнате. Там были только стол и кровать, на которой я лежал. Даже не было стула. И я сложил одежду на столе. Комната не запиралась ни на какие замки. Да и дверь прикрывалась неплотно. Я чувствовал себя словно в западне. Все вре-

мя держал руку с пистолетом под подушкой. Сон не брал меня, хотя я не спал уже почти три ночи. Прошло больше часа, как вдруг дверь отворилась. В комнату кто-то вошел. По звуку шагов мне показалось — женщина. Я спросил: «Кто это?» В ответ действительно женский голос: «Это вы из Чимкента?» — «Да», — не веря своим ушам, сказал я. «В Чимкенте есть улица Ленина?» — «Улица Ленина есть в любом городе».

Следователь. Вы можете описать внешность незнакомки?

Примаков. Нет. Окно было зашторено. А выключатель у двери, при входе. Женщина не включила свет. Видимо, она хорошо знала комнату, потому что смело сделала три шага. И остановилась надо мной. Я попытался подняться. Она сказала: «Лежите! И не вздумайте стрелять через подушку. Знаю, что нарушила инструкцию. Но у меня нет возможности ждать утра. Зуба выследил НКВД. Он убит, как я понимаю, при задержании. Вот вам документы. Утром без промедления возвращайтесь в город. Попытайтесь устроиться на нефтеперегонный завод. Эта явка закрывается. В городе вас найдут».

Следователь. Вы не смогли бы по голосу определить возраст женщины?

Примаков. Голос чистый, молодой.

Следователь. Это могла быть дежурная сестра, которой вы представлялись как родственник офицера Колесова?

Примаков. Не думаю. Дежурной сестрой была пожилая женщина с хриплым, басовитым голосом.

Конец стенограммы.

В связи с вышеизложенным предписываю Вам при осуществлении операции «Будда» особое внимание уделить госпиталю в Перевальном. Ускорьте выяснение личности сотрудника госпиталя, к которому ездил Сизов (Зуб). Внедрение на завод нашего человека по документам Примакова считаю нецелесообразным. Пароль не назначен, и, очевидно, неизвестная женщина помнит Примакова в лицо.

О ходе операции докладывать каждые 12 часов. В случае обнаружения новых значительных данных докладывать немедленно.

На завершение всей работы даю 72 часа.

Начальник Управления военной контрразведки «Смерш» фронта...»

Чирков оставил машину метрах в двухстах от ворот госпиталя. Дорога там размашисто поворачивала вправо. И горы отделялись от нее продолговатой ровной поляной. Трава на поляне была свежая, незатоптанная. И хорошо смотрелась под солнцем, поблескивая нежным зеленым цветом. С чувством сожаления Чирков въехал на поляну. А выйдя из машины, сокрушенно посмотрел под ноги. Две темных полосы, точно тропки, протянулись от дороги к колесам машины. И сок выступил, точно слезы. И скаты были влажными и зелеными.

Высокие ворота из кованого железа, красуясь причудливым орнаментом, стражем вставали на дороге. Перед ними ходил еще один страж — матрос в бескозырке, с винтовкой за спиной. Примкнутый широкий штык нанизывал на себя солнце. Издалека, оттуда, где шел Чирков, казалось, что моряк мечет молнии.

Столь грозным часовой выглядел лишь на расстоянии. Когда Чирков подошел ближе, он увидел совсем еще молодого паренька, светловолосого, курносого, с веснушками на щеках. Часовой не спросил у Чиркова пропуск, даже не поинтересовался, куда и к кому он идет. Как-то безразлично взглянул на капитана и отвернулся.

Громадные здания госпиталя, когда-то белые, а сейчас в больших серо-зеленых пятнах, возвышались справа. Перед госпиталем была широкая асфальтовая площадка. В центре фонтан. От него лучами расходились аллеи. Аллеи были обсажены кипарисами, но среди них встречались и клены, и магнолии, и каштаны. Где-то там, за аллеями, были корпуса пониже. Чирков хорошо знал это место. До войны тут был санаторий. И хотя ему не довелось отдыхать в санатории, он несколько раз приезжал сюда по делам. Здесь тогда царило веселье. По вечерам играл духовой оркестр. И звуки фокстротов слышались даже на берегу.

Катя-Катюша, Катя моя...
Помнишь ли знойное лето это?

Старожилы рассказывали, что в давние годы, до революции, это была усадьба, а вернее — летняя резиденция кого-то из членов царствующей фамилии. И главное здание (остальные три корпуса построены позже, в тридцатые годы) некогда выглядело праздничным и нарядным.

Беломраморные колонны охраняли его. А стены были увенчаны скульптурными фризами и фронтонами, окрашенными в темно-лиловые и ярко-синие цвета. На фоне этих красок обозначались скульптуры чистого, светлого мрамора. При усадьбе была небольшая церквушка, построенная из блоков известняка. На многочисленных плитах пентелийского мрамора просматривались рельефные изображения мужественных старцев, диковинных птиц и зверей. Близ входа, у полукруглой арки грудастая женщина в ниспадающих одеждах держала за рога упирающегося быка. Видимо, неизвестный художник пытался разработать темы фризов Эрехтейона. И особа с короткими, но сильными ногами была не кто иная, как богиня Ника, ведущая к алтарю жертвенного быка.

Церковь сохранилась. Но использовалась не по назначению. До войны там находился павильон, в котором можно было выпить стакан холодного «Абрау-Дюрсо».

Аленку Чирков нашел в главном корпусе. Она шла через вестибюль, неся под мышкой лечебные карточки. Увидев Чиркова, девушка покраснела и, как ему показалось, растерялась.

Он сказал ей:

— Здравствуйте, Аленка. Вот я и приехал.

— Здравствуйте, — сказала Аленка. — Я сейчас. Я только отнесу карточки.

Он сказал:

— Хорошо.

Она ответила:

— Посидите здесь на диване. Я вернусь совсем быстро.

Он сел на диван. Вестибюль был большой, чистый, светлый. Два раненых, выздоравливающие, пересекли вестибюль и поднялись по лестнице.

Лестница была сделана из пожелтевшего мрамора. Но дорожка ее не прикрывала. Только латунные прутья, лежащие вдоль ступенек, напоминали о том, что когда-то лестница была устлана тяжелой ковровой дорожкой.

Аленка вернулась действительно быстро. Она не села на диван, остановилась и спросила:

— Будем говорить здесь или выйдем?

— Лучше выйдем, — сказал Чирков. — Очень хорошая погода.

— Да, погода очень хорошая, — сказала Аленка и повернула голову в сторону окна.

— У вас есть свободное время? — спросил Чирков.

— Немножко, — она ласково взглянула на него.

Он поднялся. Пошел рядом. Она тихо и быстро сказала:

— Возьмите меня под руку.

Мимо шел мужчина в белом халате, наверное — врач. Он странно посмотрел на Аленку.

— Ваш поклонник?

— Нет. Хирург. Большой хирург.

Свежесть встретила их во дворе. Они обогнули фонтан, в котором давно не было воды. На дне лежала сухая грязь да сморщенные прошлогодние листья. Воробьи сидели на цементном потрескавшемся дельфине, из пасти которого когда-то струилась вода.

— Мне нравится эта аллея, — сказала Аленка и увлекла Чиркова в аллею, ведущую к морю.

— Чем вы меня порадуете? — спросил Чирков.

— Я все узнала, — ответила Аленка.

— Все-все?

— То, о чем вы меня просили.

— Говорите.

— Майор, которым вы интересовались, приезжал к нашей сестре-хозяйке. Зовут ее Серафима Андреевна.

— Фамилия? — нетерпеливо спросил Чирков.

— Погожева.

— Как мне ее увидеть?

— Это невозможно.

— Почему? — Это больше походило на испуг, чем на удивление. Чирков остановился. Выпустил руку Аленки.

И она подумала, какой же он нервный. И ей стало жалко его. И она ответила тихо-тихо:

— Ее нет больше в госпитале.

— Давно?

— С восемнадцатого марта.

— Что с ней случилось?

— У нее погибла сестра. Где-то при бомбежке. Она взяла отпуск. И больше не вернулась.

— Руководство госпиталя не поинтересовалось — почему? — спросил Чирков.

Аленка виновато улыбнулась:

— Такое сейчас время. Со всяким человеком все может случиться.

— Да, — сказал Чирков. — Время такое, что все может случиться... Спасибо вам, Аленка. Вы молодец.

— Это не так трудно было сделать... Я... Сделала с большой охотой. Мне очень хотелось помочь вам.

— Спасибо еще раз. Вы сегодня дежурите. До которого часа?

— До шести вечера.

— Хорошо. А на следующей неделе вы когда дежурите?

— Ночью.

— Будете свободны днем?

— Да. Но дежурить ночью плохо, потому что все равно днем хочется спать. И как-то получается, что не видишь ни дня, ни ночи. Вернешься утром, упадешь в постель. Проснешься только к обеду. Пока туда-сюда... Приведешь себя в порядок. И нужно вновь заступать. Лучше дежурить днем.

— Хорошо, — сказал Чирков. — Я это учту. А сейчас мы расстанемся. Я пойду к начальнику госпиталя. Должно же сохраниться личное дело Серафимы Андреевны Погожевой.

В отделе кадров Чиркову принесли потертую тощую папку, в которой лежали трудовые книжки, справки, заявления, видимо, части вольнонаемных сотрудников госпиталя.

— Сейчас найдем, — сказал седой лысоватый мужчина с нездоровым лицом пыльного цвета. Он был в гражданском костюме. И прихрамывал на левую ногу.

— Так, что же мы имеем? — мужчина перебирал документы. — Погожева... Погожева... Есть. Вот, пожалуйте.

Он протянул Чиркову донорскую справку о сдаче крови Погожевой Серафимой Андреевной в городе Батуми.

— И все.

— Не густо, — скептически заметил Чирков.

— Ее к нам прислали из Батуми. Документы, надо полагать, там.

— Как же вы... Взяли человека без документов, без проверки? — голос у Чиркова строгий, словно черный цвет.

Однако кадровика не смутишь. Старый он, чтобы смущаться.

— Людей, дорогой товарищ, не хватает. Все палаты переполнены. Раненые в коридорах лежат. Поднимись, взгляни. Железнодорожный вокзал, а не госпиталь.

— Все это не снимает вопрос о бдительности.

— Правильно... Однако мы под начальством ходим, — стоит на своем кадровик, точно лодка на приколе. — Начальство наше в Батуми. Они направили — они в ответе.

— Направление где?

— Найдем направление... в другом деле. Стало быть, по командировочной линии посмотрим.

Звенит ключами кадровик, словно корова колокольчиком. Ящиками гремит. А на лбу испарина выступила. От натуги или от волнения?

От натуги, думается. Тяжело, видать, ему нагибаться. Годы сопротивляются.

— Вот, пожалуйте... — победоносно подходит к Чиркову, неся перед собой папку, будто каравай хлеба. — Все при деле...

Читает капитан. Верно.

«Начальнику госпиталя в Перевальном...

В ответ на Ваше письмо № 2/347 сообщаем, что направить в Ваше распоряжение врача-рентгенолога — 1, врача-терапевта —3, врача-окулиста — 1 и младшего медицинского персонала — 25 не имеем возможности. В данный момент командируем в Ваше распоряжение старшую медицинскую сестру Погожеву С. А.

Одновременно предлагаем откомандировать в наше распоряжение врача-невропатолога — 1, которых у Вас — 2.

Начальник управления медицинской службы...»

— Документ законный, — сказал кадровик. — Шел специальной почтой.

Чирков нервно барабанил пальцами по столу.

— Паспорт вы у нее смотрели? У вас же военное учреждение.

— Паспорт непременно смотрели. С паспортом все обстоит благополучно.

— Вы это хорошо помните?

— Конечно, нет.

Чирков понимает, говорить кадровику о бдительности — попусту терять время.

— Фотографию бы мне... Этой самой Погожевой.

— Чего нет, того нет, — разводит руками кадровик.

И вот Чирков опять в коридоре. Только невеселый, угрюмый. Аленка словно поджидает его. Она внезапно появляется из-за колонны. Спрашивает:

— Удачно? Все хорошо?

— Порядочки у вас. Хаос в документации, — сокрушается Чирков.

Аленка не разделяет его печали.

— Людям жизнь здесь возвращают, — говорит она. — О здоровье человека заботятся. Не до бумажек. Понимаете?

— Не понимаю, — морщится Чирков, лицо у него обиженное-обиженное. — Удар от врага нужно ждать не только на фронте. Враг — он коварен...

Фразы какие-то стандартные получаются. Зол Чирков очень. Зол на людей безответственных.

— Фотографию бы мне Погожевой, — вслух думает он. — Посмотреть на лицо, какая она.

— Есть фотография, — радостно говорит Аленка. — Конечно, любительская. Но разобрать лицо вполне можно.

Чиркову хочется поцеловать Аленку. Милая, хорошая она. Фотография — это же совсем другое дело. Это уже удача.

— Я сейчас, — говорит Аленка. Потом секунду колеблется: — Пойдемте вместе.

Он держит ее за руку. Они не идут, а бегут по аллее. Пахнет морем, водорослями и чистой галькой. Волны накатываются где-то здесь, рядом. Их еще не видно за корпусом и деревьями. Но они шумят. На сердце у Чиркова от этого шума радостно и сладко. А может, волны тут ни при чем. Может, причиной тому медсестра, похожая на мальчишку.

Комната Аленки пуста. Девушка предлагает:

— Садитесь.

— Нет, нет...

Она открывает тумбочку, там альбом, пухлый от фотографий.

— Сейчас я найду...

Аленка ловко, точно карты, перебирает фотокарточки.

— Вот! Крайняя слева. Нас подполковник фотографировал из газеты. Думали — не пришлет. А он два дня назад прислал...

Крайней слева была высокая худая женщина с крупными мускулистыми ногами, удлиненным лицом и густыми бровями, сросшимися у переносицы.

— Спасибо, Аленка, спасибо...

Они рядом. Они близко. И, сам того не ожидая, Чирков целует девчонку в губы.

КАИРОВ В ГОСТЯХ У ТАТЬЯНЫ

— Может, в небесах и есть рай, но в нем все равно не уютнее, чем у вас в квартире.

Татьяна с изумлением смотрит на гостя, солидного, седого полковника, и заученно улыбается. Но Каирову давно известна эта милая женская хитрость. Впрочем, улыбка у Татьяны получается нежная, непосредственная. И, глядя в ее чистые серые глаза, Каиров в общем-то понимает мужчин, влюблявшихся в эту женщину.

— Если вы хотите снять комнату, — мягко, словно извиняясь, произносит Татьяна, — то... Я не могу сдать. Сейчас... у меня уже есть постоялец.

— Майор интендантской службы Роксан.

— Вы знаете? — удивлена Татьяна. И тут же спрашивает кокетливо: — Это он вас прислал?

— Я сам по себе, — признается Каиров.

— Сожалею. Но ничего другого сказать вам не могу.

— Не огорчайтесь. Я остановился в гостинице Дома офицеров. Кстати, в том самом номере, где жил майор Валерий Сизов. Он, кажется, был вашим квартирантом?

— Это не имеет значения, — сухо ответила Татьяна. Ее, видимо, начал раздражать осведомленный и разговорчивый полковник. — Прежде всего Сизов был моим другом.

— Простите, — сказал Каиров. — Но, коль я здесь, разрешите задать вам несколько вопросов. Они касаются именно вашего друга.

— Кто вы такой? — тихо и чуточку испуганно спросила Татьяна.

— Полковник из контрразведки.

Чирков скептически отнесся к идее Каирова посетить Татьяну в ее квартире.

— Лучше вызвать. Допросить. А в доме устроить обыск.

— У тебя ни грамма фантазии, сынок. Ты скучный реалист. Может быть, я покажусь несколько старомодным, но мне кажется, для вдохновения нужно посмотреть

дом, где живет Дорофеева. Я хочу пройти той дорогой, по которой много раз ходил Сизов. Посмотреть двор, подняться по лестнице, постоять у двери. В доме есть подвал. И наверняка есть чердак. Я хочу посмотреть квартиру. Она может быть чистой или грязной. Я хочу посмотреть обстановку. Вещи — тоже отличные свидетели... Я предпочитаю застать хозяйку квартиры врасплох... Все это для меня очень важно. Я должен определить свое отношение к Дорофеевой — была ли она только любовницей Сизова или еще и соучастницей.

— Вам виднее, товарищ полковник, — сказал Чирков. — Хочу лишь предупредить. Я, слава богу, знаю свою бывшую жену. Неофициальная беседа с ней может иметь нулевой результат. Во-первых, Татьяна врушка. Во-вторых, если вы сразу не поставите точки над «и», не скажете, кто вы и зачем пришли, она решит, что вы просто набиваетесь к ней в постель. И в ответ на ваши хитроумные вопросы будет нести безответственный треп.

— Спасибо, капитан, за предупреждение.

— Не мне вас учить, но профессионально грамотнее было бы вызвать Дорофееву на допрос.

— Милый Егор Матвеевич, запомни. Контрразведка — это не просто профессия. Контрразведка — искусство. А в искусстве каждый идет своим путем...

...Низкая арка, хмуро глядевшая на улицу, вела во двор. В глубине двора по левую сторону стоял двухэтажный коттедж, в котором жила Татьяна Дорофеева. Ее квартира находилась на втором этаже. Двор был маленький. Бомбоубежище, желтым холмом возвышавшееся невдалеке от старой груши, делило его на две части. Дверь в бомбоубежище была распахнута. Темнота черным глазом смотрела на забрызганный солнцем двор и дышала сыростью. Две девчонки играли в классики. Смеялись они легко, беззаботно. Пальтишки на них распахивались, короткие и латаные.

Из репродуктора, висевшего на сером, зажатом рельсами столбе, слышался голос московского диктора. Он читал утреннее сообщение Советского Информбюро. Новости были хорошие. 4-й Украинский фронт рвался к Севастополю...

На лестничную площадку, деревянную, с перилами, давно утратившими свой первоначальный коричневый

цвет, выходило три двери. Короткая и, словно трап, крутая лестница вела на чердак. Люк над ней был закрыт. Ступив вверх на несколько ступенек, Каиров убедился: крышка заколочена поржавевшими гвоздями. И нет никаких следов, что люк недавно открывали.

Еще внизу Каиров обратил внимание: окна первого этажа висят низко над землей, в доме едва ли есть подвал.

...Услышав, что он из контрразведки, Дорофеева не испугалась, не смутилась. Наоборот, с интересом, точнее — с любопытством, посмотрела на Каирова. Без улыбки, но вполне гостеприимно сказала:

— Чувствуйте себя. как дома, полковник. Давайте я помогу вам снять шинель.

— Я сам. Ради бога, не принимайте меня за дедушку.

— Зачем же? — улыбнулась Татьяна. — На мой взгляд, человеку столько лет, на сколько он выглядит.

— Я смотрю, вы прогрессивно мыслите.

— Не терплю условностей.

Каиров пристально посмотрел ей в глаза. Она выдержала взгляд.

Он сказал:

— Я думаю, разговор у нас с вами получится.

— Вы хитрый, — ответила она.

— Неожиданный вывод.

— Цыгане все хитрые.

— Я не цыган.

— Армянин?

— Я из Азербайджана.

Она села на диван. Перебросила ногу за ногу. Платье из серо-голубой материи сжалось в складки и теперь лишь самую малость прикрывало колени. Откинувшись, она вдруг заломила руки и стала поправлять прическу.

Голова Каирова уже давно из черной превратилась в цвета махорочного пепла, и он, конечно же, понимал: поза, в которой сейчас находится Татьяна, давно разучена и отработана. Но вместе с тем именно жизненный опыт не позволял сделать иного вывода — эта дама сложена безукоризненно.

— Вы обо мне плохо думаете? — внезапно спросила Татьяна.

— Я думаю о вас хорошо.

— Нет. Вы обо мне плохо думаете. Я красивая, и все

мужчины думают про меня одно и то же, — горечь была в ее голосе и во взгляде тоже.

— К сожалению, я пришел сюда не как мужчина, — он понял, что упускает инициативу в разговоре.

— Я вам не верю.

— У меня единственный способ убедить вас в обратном: задать несколько вопросов.

Она недоверчиво покачала головой и сказала устало:

— Все начинают с этого.

— У ваших поклонников бедная фантазия, — пошутил Каиров. И вынул портсигар. — Разрешите?

— Пожалуйста, — она поставила перед ним пепельницу. Вновь опустилась на диван. Пожаловалась: — Я несчастливая.

— Сейчас не время говорить о счастье, — нравоучительно заметил он. Прикурил от зажигалки.

— Что вы, мужчины, понимаете во времени. Вот вы мне в дедушки годитесь, а на вас смотреть приятно. И куда угодно с вами пойти можно.

— Благодарю.

Татьяна грустно усмехнулась:

— Доживи я до ваших лет — на меня никто и не посмотрит. Для женщин другой счет времени, полковник.

— Может, вы и правы... Но я все-таки перейду к делу. Когда вы познакомились с майором Сизовым?

— Какое это имеет значение? — вдруг напряглась она. И взгляд ее похолодел. И на лице обозначилась бледность, может быть, от испуга.

— Не задавайте встречных вопросов, — кажется, рассердился Каиров.

— В декабре. Число не помню. Но можно уточнить. Он пришел в библиотеку. Я выписала ему читательскую карточку. Там стоит дата.

— Видимо, вы знали его близко. Не было ли в поведении Сизова чего-либо подозрительного?

— Все мужчины одинаковы. В глаза: ля-ля, хорошая, милая. А из дому вышел — ни одной юбки не пропустит.

— У него была женщина?

— Значит, была, если письма писала.

— Вы их видели?

— Одно. Ну и этого достаточно.

— Поспешный вывод. Прежде необходимо прочитать письмо.

— Он учил меня другому. Ударил по лицу, сказал, чтобы я не смела читать чужие письма.

— Письмо сохранилось?

— Нет.

— Может, вспомните содержание?

— Ничего интересного там для вас не было.

— Охотно верю... Но любопытства ради хотел бы услышать.

— В начале письма она слюнявилась: дорогой, любимый... Встретиться бы желала, да обстоятельства не позволяют. Видно, замужняя, шлюха... Просила на брата повоздействовать, который после контузии совсем опустился. И теперь вениками торгует возле бани.

— Дубовыми?

— А вы откуда знаете?

— Проходил мимо бани... Там всегда вениками дубовыми торгуют.

— Не знала. В бани не хожу. У меня ванна... Правда, горячей воды сейчас нет. Но я моюсь холодной. Привыкла. А кожа от этого становится эластичнее и здоровее. Смотрите, — она заголила руку выше локтя. Кожа у нее была смуглая, хорошо сохранившая следы прошлогоднего щедрого загара.

— Что было еще в письме?

— Ничего. — Ей был неприятен этот разговор. Настолько неприятен, что бледность, будто талый снег, исчезла с ее лица. И теперь, от злости ли, или простого раздражения, оно было покрыто большими розоватыми пятнами.

— Кем подписано письмо? — спросил Каиров.

— Подпись неразборчива.

— Обратный адрес?

— Без адреса, — она отвечала, нервно покусывая губы.

— Не обратили внимания, из какого города отправлено письмо?

— Местное... Поэтому я и выгнала его. Последнюю неделю он жил в гостинице.

— Вещей своих Сизов не оставил у вас?

— Все забрал. Позабыл только фляжку.

— Покажите ее.

Татьяна без всякой охоты встала с дивана. «Странная она женщина... — подумал о ней Каиров. — А может, и нет. Может, все закономерно. Родилась красивой.

В своем роде произведение искусства. Легкомысленная. Это тоже от рождения... Как бы выглядела жизнь на земле, если бы все женщины были вот такими красивыми. И такими легкомысленными. Наверное, сложились бы другие обычаи, нравы. Понятие морали было бы тоже совсем иным.

Почему она так разговаривает со мной? То злится, то кокетничает. Скорее всего Татьяна иначе и не может разговаривать с мужчиной. Она привыкла нравиться. Привыкла, как пьяница к алкоголю».

Татьяна принесла фляжку. Обыкновенную, из алюминия. В зеленом матерчатом чехле. Встряхнула. Булькнула жидкость.

— Что здесь? — спросил Каиров.

— Вино. Рюмочку?

— В первой половине дня не употребляю.

— Хорошая привычка.

— Сизов пил?

— Много. Но никогда не пьянел. Только глаза краснели.

— Я заберу с собой фляжку. Слейте вино в графин.

— Графин не пустой. А это вино выпейте во второй половине дня за наше знакомство.

— Спасибо, — Каиров встал. — Скажите, Сизов вел с вами разговоры о событиях на фронте?

— Редко. Мне кажется, они не очень интересовали его. Он любил повторять, что теперь фронт везде.

— Это точно. Спасибо... Всего хорошего. Извините уж...

— Пожалуйста, пожалуйста, — вежливо ответила Татьяна.

БЕЖЕНКА ИЗ НОВОРОССИЙСКА

Рыбколхоз «Черноморский» притулился к морю за высокой, ступающей в волны скалой, на которой моряки поставили мощную береговую батарею. Там же и глазастые прожекторы. Ночью, словно пули, темноту пронизывают. А днем спят под густыми пятнистыми сетками. Скала, стройная, точно девушка, красивая, приметная. Немцы на нее в сорок втором зуб точили. Только устояли моряки. Сколько чернобрюхих, крестастых самолетов дельфинами в море кувыркались!

Пострадал рыбколхоз. Конечно, меньше, чем город. Но... Семилетнюю школу прямым попаданием в щепки

разнесло. На рыбзаводе от коптильного цеха лишь груды кирпичей остались. С полдюжины жилых домов тряхануло. Правда, прямых попаданий в дома не было, но с окнами, с дверями распрощаться пришлось.

Колхоз славился рыбой. До войны имел торговые договоры со многими санаториями и домами отдыха. Держал свой ларек на городском рынке. Делал консервы в цехах собственного маленького завода.

С войною улов упал. Большинство мужчин ушло в армию. Женщины теперь верховодили на шаландах. Честь им и хвала. Ничем сильному полу не уступали. Да вот беда, нынче в море далеко выходить рискованно. Немецкие подлодки еще, как акулы, рыщут. Мин — что медуз перед штормом. Промышляют колхозники возле берега. А какой улов на мелкоте — дело известное. И все же шаланды никогда не возвращались пустыми. День на день не приходился — кефаль, ставрида, хамса, битый дельфин. Дельфинье мясо было вполне съедобным. Но, когда его жарили, вонь стояла над всем поселком, уползающим в горы узкой ящерицей. Хозяйки посноровистее добавляли в жаркое стручковый перец, укроп, чеснок, лук...

Ваня Манько шмыгнул носом. Нет, есть ему не хотелось. Он сыт по горло дельфиньим мясом. Ему бы простого, говяжьего. Но это будет потом, когда батька вернется с фронта. А сейчас... Сейчас Ваня бежал с уроков. И крутой тропкой, огибающей кусты, спускался к морю. Море сегодня было ласковым и тихим. Волны не шумели, а разговаривали друг с другом шепотом, как мальчишки на уроках.

Учился Ваня в четвертом классе. Когда школу разбомбило, их перевели в клуб. Концертный зал большой. В каждом из четырех его углов занимался класс. И гул стоял плотный и неразборчивый, словно на колхозном рынке. В утреннюю смену ходили первый класс, второй, третий, четвертый. После обеда — с пятого по седьмой.

Скучно в школе было Ивану. Он любил море. Любил узкий, словно тростинка, рыбколхозный причал. Запах ветра морского, соленого. Он давно решил стать рыбаком. И сетовал, что из-за маленького роста взрослые не берут его в море.

А учеба? Какой с нее прок. Рыбе лично начхать, кто ее неводом вытаскивает — грамотный или не очень.

Берег долгий. И полукруглый, словно край блюдца. Галька на нем светлая. Лишь возле самой воды — тем-

ная и блестящая. Потому что влажная. Не успевает высыхать. Волны лижут ее и лижут, как кот сметану... Хорошо на берегу. Да от посторонних глаз не скроешься. Увидит кто из колхозников Ивана — не пощадит. За ухо возьмет. И... водворит в школу.

Лучше всего бы спрятаться дома. Так раньше Иван и делал, когда мать на шаланде выходила в море. Но теперь лафа кончилась... Третью неделю у них квартирантка живет, беженка из Новороссийска. Строгая такая тетенька — учительница. Взяли ее алгебру да геометрию преподавать. В старших классах, значит. Вот она и околачивается в первой половине дня дома.

Вздыхает Иван. Тяжело, будто старик. Думает: а если осторожно-осторожно на чердак перебраться? Квартирантка и не заметит. Валяется, наверное, на кровати. Книгу читает.

Верная мысль! На чердаке сено. Поспать можно...

Задами выходит Иван к своему дому. Возле колодца в заборе дыра. А вокруг крапива молодая — богатство по нынешним временам. Суп из нее варят.

Подобрался к сараю Иван. Посмотрел через щель. Занавешено окно в комнате квартирантки. Теперь шмыг в сени. А там и лестница на чердак. В сенях на лавке ведро с водой стоит. И кружка рядом. Испить бы водицы, да зашуметь кружкой можно. Иван переводит дыхание и пьет прямо из ведра.

Лестница в доме хорошая, не скрипит. Люк гавкнуть может. Петля там одна перекошена. Накормить бы ее рыбьим жиром. Иван, подталкивая одной рукой люк вверх, другой приподнимает край, где заедает петля. Ура. Обошлось!

Тщательно закрыв люк, Иван шагает в сено к слуховому окну. Жаль, что из окна не видно моря. Зато скалу видно. И батарею на ней. И морячков тоже... Счастливые ребята — моряки, никто в школу не ходит. И дурацкие задачки: «Из пункта А вышел поезд со скоростью 60 км в час...» — решать не заставляют.

«Вырасту — пойду в моряки, — думает Иван. — Рыбаком, конечно, хорошо. Но не сидеть же век в колхозе. Лучше по морям, по океанам побродить. Куплю себе обезьяну и выучу разным фокусам. Вот потеха будет...»

Тзр-рр... Скрипит люк. Кого несет нелегкая? Квартирантка. Выследила, зануда!

Однако на всякий случай Иван прячется за тяжелой,

обвешанной паутиной балкой. Квартирантка лезет через сено, приподняв подол платья. Ее длинные ноги в черных чулках проваливаются в сено. Она ступает на коленках. Добирается к слуховому окну. В руках у нее появляется бинокль. Она подносит его к глазам и что-то долго рассматривает.

«Батарею!» — догадывается Иван. Он сидит ни жив ни мертв.

Потом квартирантка поворачивает назад. Выбирается к люку...

Иван, желая проследить, что же она будет делать дальше, приподнимается на корточках. Случайно оказавшийся под ногами мальчишки прут предательски трещит. Квартирантка вздрагивает и поворачивается...

ЧТО МЫ ИМЕЕМ?

Чирков подробно, со свойственной ему добросовестностью рассказал Каирову о поездке в Перевальный. Через мощную лупу Каиров, покряхтывая и недовольно морщась, рассматривал фотографию, которой снабдила капитана Аленка. Он подошел к окну. Потом опять сел на кровать. Наконец положил и лупу и фотографию на одеяло. Сказал:

— Встречалось мне видеть фотографии и более высокого качества...

— Качество, действительно, не ахти, — согласился Чирков.

— Глаза немного смазаны. Моргала ресницами... Ладно. Увеличить и размножить. Сегодня же.

— Завтра к утру, товарищ полковник. У нас сушилки нет.

Каиров ничего не ответил. Однако лицо у него стало кислым и совсем старым. Ему бы надо было побриться, потому что щетина на подбородке темнела густо.

— Вы обедали? — спросил Чирков.

— Нет, — ответил Каиров и погладил ладонью подбородок.

— Тогда пойдемте в столовую.

— Еще не время, капитан. На сытый желудок трудно думается. Кровь из головы уходит.

— При моей худобе это не заметно, — не удержался от улыбки Чирков.

— Тебе легче прожить... Ладно, — Каиров поднялся

с кровати, — шутки в сторону. Прежде чем отправиться в столовую, подведем итог наших двух визитов. Что мы имеем на сегодняшний день?

— Мы имеем фотографию сестры-хозяйки Погожевой, с которой Сизов поддерживал контакт. Мы знаем, что какая-то женщина, полагаю Погожева, писала Сизову и назначала встречу возле бань с агентом Примаковым. Мы знаем, что Погожева...

— Видимо, Погожева, — поправил Каиров.

— Да... Видимо, Погожева рекомендовала Примакову устроиться на нефтеперегонный завод. Она не дала ему пароль, сказав, что его найдут. Полагаю, она не могла рассчитывать только на себя. Значит, в городе есть или в город прибудут агенты, которые знают Примакова в лицо и которых Примаков знает в лицо.

Чирков говорил не свободно, а так, словно диктовал протокол. Сказалась привычка.

— Так или иначе, а нефтеперегонный завод упускать из виду нельзя, — сказал Каиров. — Возможно, сама Погожева станет искать связь с Примаковым. Она же не может знать, что он арестован. Поэтому сегодня же направим на завод человека с фотографией Погожевой. Вдруг клюнет... Однако основное внимание, капитан, и все силы свои мы должны выложить на главные вопросы. Кто убил Сизова? И по какой причине? Нужно проанализировать все причины, вплоть до ревности. В этом свете особо интересен Роксан.

— Значит, версию с Дешиным...

— Версию с шофером Дешиным нужно отставить, и чем скорее, тем лучше. Дешина следует судить по другим статьям. К убийству он никакого отношения не имеет. Если фляжка Сизова оказалась на квартире у Дорофеевой, тогда из чьей же фляжки он угощал шофера? Выясните у хозяйственников, не получал ли Сизов второй фляжки. Опросите его сослуживцев, не брал ли он фляжки у кого взаймы. Подготовьте мне фотографии офицеров, с которыми Сизов был знаком или мог быть знакомым. Мы отправим их в Поти. Возможно, Примаков опознает кого-нибудь на фотографии. Все это нужно мне завтра к часу дня... Сегодня же к десяти вечера обеспечьте грузовую машину, лопаты и четырех солдат. Вот так, Егор Матвеевич... Аленка была рада вашему приезду?

— Хорошая девчонка, — Чирков, совсем как школь-

ник, шмыгнул носом и уткнулся в пол взглядом, доски считать начал.

— Хороших девчонок много, — сказал Каиров и с грустью добавил: — Этим прекрасна жизнь, этим и печальна... Ну что ж, теперь можно и в столовую.

Уйти не удалось. Помешал телефон.

— Золотухин? — переспросил Каиров. — Привет, Дмитрий. Ко мне? Через пять минут? Давай, жду.

Каиров словно не хотел расставаться с телефоном, даже положив трубку на рычаги аппарата, он продолжал поглаживать ее пальцами.

— Обед передвигается на полчаса, — сказал он Чиркову. — А пока в ожидании Золотухина я расскажу, как влюбился первый раз. Не против?

Конечно, нет. Чиркову приятно, что большой начальник, заслуженный человек удостаивает его, капитана, своим доверием. Чирков с удовольствием садится в кресло. Весь внимание.

Как утверждают злые языки, Каирова хлебом не корми, вином не пои, только дай поговорить.

— Сорок четыре года назад. А точнее — в одна тысяча девятисотом году, мне исполнилось шестнадцать. А ей было... Ей четырнадцать. Но у нас в Азербайджане девушки в таком возрасте выглядят как в России семнадцатилетние.

— Солнце...

— Скорее, воздух, растительность. Щедрости много. Вот организм, он как бутон... Расцветает. Звали ее Ануш. Глазами и лицом она была такая нежная и ласковая, как Аленка. Только волосы у нее были не светленькие, а черные и блестящие... что твой сапог. Я работал в сапожной мастерской подмастерьем. А отец Ануш был хозяином этой мастерской. Сухой, прямой, точно метр. Помню, сидит в тени под акацией, четки перебирает. Ануш в мастерскую заглядывала редко — дурной тон по тем временам. Но во дворе появлялась, с подругами играла. И приметила меня, а я ее. Стали мы переглядываться. Она иногда посмотрит и зардеется, словно роза. Сапожники мне: «Давай, давай, не теряйся. Дураком не будь!» А разговоров я там о женщинах наслушался. О! — Каиров махнул рукой. — Ну и однажды — хозяин с мастерами на рынок за кожами уехали — я смело подошел к Ануш. Не помню даже, что сказал. А она быстро, точно это было уже давно заучено, говорит: «При-

ходи сегодня вечером в сад и спрячься за кустами сирени». Что скрывать, от радости я пьянел. Не мог вечера дождаться. Время тянулось, словно клей. Наконец подошли гранатовые сумерки. Я в сад. Сижу, как барс, между кустами сирени. Слышу, Ануш песенку поет. Веселую, детскую. Чтобы мама с папой слышали. Я к ней. Она испуганно: «Это ты?» И остановилась совсем близко. Ближе, чем этот стул, — Каиров указал на стул, где висел его китель. — А у меня еще никогда девчонок не было. Не встречался я с ними. Не целовался. Стою, не могу языком шевельнуть. Руки свинцовыми стали. А она быстро шепчет: «Обними меня». И опять песенку поет. Весело, шаловливо. Совсем я растерялся. Это мне позже в голову пришло, что она пением родителей отвлекала. А тогда думаю — издевается надо мной, смеется. Слова из себя выдавить не могу. Где там обниматься. Постояли мы так минуты две. Она спрашивает: «Зачем пришел, чурбан?» Тут я уж... Меня зло взяло. Вспылил я. Схватил ее за косы. А она перепугалась. Завопила: «Вай, вай, мамочка!» В доме шум, крик. Родственники с ружьями. Я бежать. Бежать из города... И завела меня судьба далеко. В Санкт-Петербург. На знаменитый Путиловский завод... Потом революция...

И вот, капитан, прошло двадцать пять лет. Четверть века. Много. И я снова попал в Баку. И, конечно же, пошел на ту улочку, где была сапожная мастерская. Случилось так, что я увидел Ануш. Она жила в том же доме, с мужем и многочисленными детьми. Это была полная, низкого роста, немолодая женщина. Известно, женщины Востока стареют рано. Мне было сорок один год. Стройный, красивый, в форме. И она узнала меня, сказала: «Мирзо, зачем ты тогда убежал? Я сказала родителям, что на меня напали бандиты. Я искала тебя на другой день, ждала». — «Ануш, милая, — ответил я. — Мальчишек шестнадцати лет нельзя любить, только в двадцать шесть лет они достойны женщины». — «А я любила тебя», — сказала она. «Мы все равно не смогли бы остаться вместе. Отец никогда не отдал бы тебя за бедняка». Она спросила: «Где ты был, Мирзо?» Я ответил: «Далеко, Ануш. Я повидал много разных краев. Узнал многих людей. Теперь я строитель. Строю новую жизнь, при которой не будет бедных и богатых, а будут просто равные граждане». — «Да благословит тебя аллах!» — сказала Ануш, и на глазах ее заблестели слезы... После,

капитан, у меня было много увлечений. Но эта первая любовь — это как первый цветок персика, как рассвет, как утренняя роса.

Чирков с изумлением глядел на седого полковника. Морщинам было тесно на его лице, но глаза у Каирова были очень молодые и душа, кажется, тоже.

Вскоре пришел Золотухин. Поздоровавшись, он вопросительно посмотрел на Чиркова. Каиров подметил взгляд, сказал:

— Это мой помощник. Говори при нем откровенно.

— Дело пустяковое, — вдруг застеснялся Золотухин. — Но я подумал, что знать вам об этом следует. Мирзо Иванович, помните, вы интересовались Дорофеевой?

— Да, да. И сейчас интересуюсь.

— А еще помните случай со свиной тушенкой? Когда старшина Туманов упустил человека близ тайника. Так вот, сегодня утром Нелли с моим младшим сыном Алешкой пошла к портнихе. Это мать барабанщика Жана — известная мастерица Марфа Ильинична Щапаева. Вдруг видят они впереди пару. Офицер и Дорофеева. Офицер несет сумочку. Возле дома Щапаевой они останавливаются. Офицер передает сумочку Дорофеевой. Ну а здесь Алешка — мой младший, значит, — побежал на пустырь. Нелли погналась за ним. Потом смотрит, офицер один стоит. Видимо, Дорофееву поджидает. А когда приходит Нелли к портнихе, видит там Дорофееву. Марфа Ильинична поначалу смутилась. Но, однако, радостно: «Здравствуйте, дорогая, заходите». Словом, обычная женская трескотня. Нелли принесла отрез на платье. Стали разговаривать, туда-сюда... Алешка же — очень балованный парень. Вместо того чтобы тихо сидеть и ждать, пока освободится мать, он стал лазить по комнатам. И вдруг появляется с банкой тушенки в руках. Щапаева, понимаете, сразу изменилась в лице. Дорофеева тоже. Нелли Алешку ругать. Выяснилось, что банку он достал из той сумки, которую принесла Дорофеева.

— Что ты предпринял? — спросил Каиров.

— Еще ничего. Вот приехал сюда. Ясно, свиной тушенки там уже нет. Ее перепрятали. Но факт остается фактом, что поступает она через ваши каналы. Скорее всего из военфлотторга. Нелли запомнила в лицо того офицера. В случае чего она может опознать.

Чирков спросил:

— С Дорофеевой шел морской офицер?

— Морской.

— Вполне возможно, что это был Роксан. Интендант. Каиров согласился с мнением Чиркова.

— Нужно будет проверить эту версию. Она наиболее вероятна.

СТАРШИНА ТУМАНОВ ПРОЯВЛЯЕТ ИНИЦИАТИВУ

Взгляд квартирантки цепко, точно прожектор, ощупывает сантиметр за сантиметром, но сена на чердаке много, балок и перекладин тоже. А Ваня Манько — совсем еще маленький мальчик. Окаменел он с перепугу. Стоит, не шевелится. Полумрак заслоняет его. Полумрак — он добрый!

«Крыс на чердаке — до чертовой матери», — может, решает квартирантка. А может, вспоминает пословицу: «У страха глаза велики». И думает, что подозрительный шум ей померещился.

Она закрывает за собой люк. И по лестнице спускается в сени.

А Иван еще долго остается неподвижным. И мысли у него в голове что ни есть самые тревожные.

Кто эта женщина? В поселке ее никто не знает. Чужая она для рыбаков. Почему на чердак поднималась, в бинокль на батарею смотрела?

Проходит час, второй... Мальчишка понимает, что квартирантка — Ефросинья Петровна — уже давно ушла в школу. И старшеклассники сейчас под ее пристальным взглядом решают примеры по алгебре. Но боязно расставаться с чердаком Ивану. Куда пойти? Кому рассказать о своих догадках? Директору школы? А вдруг он в ответ:

— Ты мне, Манько, зубы не заговаривай. Отвечай, почему убежал с уроков?

Директор строгий. А голос у него скрипучий, словно рассохшийся пол.

Нет, к директору Иван не пойдет. К директору пусть девчонки обращаются.

Так и не приняв решения, с кем поделиться тайной, Иван распрощался с чердаком и вышел на улицу. Солнце уж давно миновало зенит и теперь нацеливалось на угол, где скала, темная — при таком освещении словно

вырубленная из угля, — соприкасалась с линией горизонта.

Было около трех часов дня. Скоро с моря придут шаланды. Тогда можно будет обо всем рассказать матери. А мать Ивана, которую в поселке все запросто зовут Марусей, женщина рослая, на руку тяжелая. Она (если что!) эту разнесчастную квартирантку в бараний рог скрутит.

И вдруг Иван слышит — рядом на улице стучит мотоцикл. Мотоциклы редкость в поселке. Можно ли упустить такой случай? Через секунду Иван оказывается за калиткой. Он видит мотоцикл, на нем милиционера. Мотоцикл разворачивается возле магазина и замирает.

Старшина Туманов слез с мотоцикла. Несколько раз присел, чтобы размять затекшие ноги.

Мальчишка лет одиннадцати, стриженный наголо, в стареньком пиджачке, из-под которого гордо маячила матросская тельняшка, приблизился к Туманову и вежливо сказал:

— Здравствуйте, дяденька милиционер. Меня зовут Иван. Фамилия моя — Манько. Учусь в четвертом классе. А живу вон в том облинялом доме. Папка на фронте воюет, а мать рыбачит.

— Молодец, — сказал старшина Туманов, не понимая, для чего все-таки столь длинное вступление. И хотел было добавить: «Славный мальчик».

Но Иван перебил его:

— Дяденька милиционер, я вам должен заявление сделать.

От слова «заявление» повеяло чем-то родным и понятным. И старшина Туманов ласково кивнул Ивану: дескать, давай!

Иван рассказал, как убежал с уроков, забрался на чердак, увидел квартирантку, которая рассматривала в бинокль батарею на скале.

— А бинокль большой был? — с сомнением спросил старшина Туманов.

— Не-е... Маленький.

— Театральный.

— Маленький... Арестовать ее надо, дяденька милиционер.

Старшина Туманов колебался:

— Арестовать... Говоришь, в бинокль на скалу смотрела. Подозрительно, с одной стороны. А с другой... Ответь мне, батарейцы к вам в поселок ходят?

— Обязательно.

— Вот... Вдруг учительница ваша с кем-нибудь из артиллеристов познакомилась. Полюбила. В бинокль на него посматривает. Для вдохновения, значит. Улавливаешь?

— Нет, — честно признался Иван.

— По малости возраста не понимаешь. Ну, допустим, если бы радиостанцию у нее увидел или динамит — это улики. А бинокль — факт сам по себе не убедительный. Ты никому еще не говорил?

— Никому.

— И помалкивай. Для порядка мы документы у нее проверим, прописочку. Если нарушения будут, задержим, если в полном порядке, отпустим. Понял, милый?

— Понял, товарищ милиционер.

— А теперь хочешь я тебя на мотоцикле до школы прокачу?

— Очень хочу. Только прокатите меня в другое место.

— Шутник! Учительница же в школе.

— Вы прямо там документы проверять станете? — удивился Иван.

— Ну и что? Проверка документов в настоящее время — дело обыкновенное...

НА КЛАДБИЩЕ

Дождь обрушился, когда зашло солнце и тяжелые тучи загнездились над морем, окутав город слепым и гнетущим мраком. Ветер на время стих. И вновь пробудился лишь с первым громом. Молния легла на мокрые тротуары, на развалины и крыши. И город заблестел. И ветки захлестали друг друга, не жалея, словно боксеры на ринге.

Фары выхватывали из темноты косую сетку дождя. И «дворники» на ветровом стекле, ползая вверх-вниз, не успевали стирать воду. Видимость была отвратительной.

Грузовая машина двигалась позади «виллиса». Каиров, разумеется, не видел очертания ее кабины или кузова. Только узкие щели фар да бледно-желтое пятно света, которое, покачиваясь точно тень, не отставало от передней машины. В грузовике, крытом брезентом, ехали четверо красноармейцев. В «виллисе», кроме Чиркова и Каирова, находились еще Золотухин и приглашенный им врач-эксперт.

Машина с солдатами почему-то задержалась в гараже. Подъехала к Дому офицеров не в десять вечера, как распорядился Каиров, а без четверти одиннадцать.

В этот час улицы города были пустынны. А вспышки молнии и гром напоминали артиллерийскую канонаду.

Выбравшись на шоссе, машины прибавили скорость. Море здесь было совсем рядом. Ревело оно страшно. И разговаривать в машине было трудно.

Капитан Чирков, казалось, слился с рулем.

— Скоро поворот! — наклонившись к капитану, прокричал Золотухин.

— Вижу!

Сбавив скорость, Чирков повернул машину влево. Она очутилась в узком, зажатом двумя горами ручье, под которым скрывалась вся в колдобинах дорога.

— Застрянем, черт! — не стерпел Каиров.

— Ничего, ничего! — успокоил Чирков. — Под водой камень. Вы лучше держитесь крепче, иначе без шишек не обойтись!

Каиров обернулся. Между головами Золотухина и врача-эксперта вырисовывался прямоугольник окошка. Желтое пятно по-прежнему маячило за машиной. Значит, грузовик тоже свернул с шоссе. Не проскочил.

Потом машины взяли влево и поползли в гору. Дорога-ручей осталась позади.

В этот момент опять сверкнула молния. И все увидели кладбищенскую ограду и хилую часовню между двумя высокими акациями.

— Не хотел бы я здесь умереть, — сказал Каиров.

Остальные промолчали.

Кладбищенский сторож уже спал. Золотухин долго и настойчиво стучал кулаком в дверь сторожки. Наконец занавеска на покосившемся окне, заколоченном на две трети фанерой, поползла в сторону. И старческий голос простуженно спросил:

— Хто там?

— Милиция!

Сторож засуетился. Зажег лампу. Распахнул дверь. Это был древний старик с тщательно расчесанной бородой. Он не в силах был скрыть смущение — все же спал на работе. И без всякой надобности торопливо повторял:

— Храждане начальники... Храждане начальники...

— Открывай ворота, — сказал Золотухин.

Сторож натянул фуфайку. Гремя ключами, скрылся в темноте. Но и сквозь шум дождя было слышно его:

— Сей секунд, храждане начальники.

— Помогите! — распорядился Каиров.

Солдаты поспешили к воротам. Потянули их в разные стороны. Машины въехали на территорию кладбища. Развернулись возле часовни. Дальше проезда не было.

— Берите лопаты, — сказал капитан Чирков солдатам.

Один солдат вскочил в кузов. И оттуда подал лопаты своим товарищам. Было очень темно. Белые деревянные ручки лопат различались еле-еле...

— Далеко? — спросил Каиров.

— Да, — ответил Чирков. — Я пойду впереди.

С прежней силой лил дождь. И тропок никаких не было. А была вода. И, словно острова, могильные холмики с крестами. Чирков светил себе под ноги фонариком. И Каиров, и Золотухин, и врач-эксперт светили. Только солдаты не имели фонариков. Хлюпали кирзовыми сапогами. Не переговаривались.

Иногда свет фонарика падал на старый, словно заплаканный крест, на поржавевшую металлическую ограду. Попалась под ноги сломанная скамейка. Чирков поднял ее и забросил куда-то в темноту.

Шли минут десять...

Наконец остановились. Лучи скрестились на фанерной пирамидке, увенчанной красной звездочкой.

Майор

В. И. СИЗОВ

1905—1944 гг.

Земляной холм еще не осел. И могила выглядела необычайно крупной. Каиров обошел ее. Световой круг юлил перед ним, как собачонка.

— Здесь никто не побывал раньше нас? — спросил Каиров.

— Непохоже, — ответил Чирков.

Ветер с завыванием бросил ему в лицо горсть воды.

— Проклятая погода, — сказал Золотухин, — и не закуришь.

Солдаты молчали. Они стояли, прижавшись один к другому. Молодые. Может, им было не по себе.

— Копайте, — приказал Каиров.

Чирков снял пирамидку со звездой.

Лопаты вонзились в грунт.

— Не разбрасывайте землю, — предупредил Золотухин. — Зарывать придется.

УПУЩЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

В тот же вечер, вернувшись с дежурства, старшина Туманов не смог дождаться начальника милиции. Однако о встрече с мальчишкой в рыбколхозе «Черноморский» он доложил дежурному.

— Мальчишка, значит, бдительный, — говорил старшина. — Это ему плюс будет. Ну документы я для порядка у гражданочки проверил. Прописка у нее городская, по улице Вокзальной. При штампе — личная подпись товарища Золотухина имеется. Для порядка, значит, выписал адрес. И фамилию. Девятьярова Ефросинья Петровна.

— Ладно, товарищ старшина, — сказал дежурный, — ступайте домой и отдыхайте. Вам завтра с утра.

Старшина Туманов ушел домой. А Золотухин появился в милиции лишь около двух часов ночи. Усталый, мокрый, грязный. Спросил:

— Что нового?

— Ничего существенного, товарищ майор. Ваша жена звонила. Беспокоилась.

— Хорошо. Тогда я не буду подниматься к себе в кабинет. Поеду домой. Если что, звони.

— Ясное дело, товарищ майор.

Нельзя было винить дежурного, что он не доложил начальнику милиции о донесении старшины Туманова. В прифронтовом городе проверка документов была самым обычным делом. Граждан, у которых паспорта оказывались не в порядке, задерживали для выяснения. Старшина Туманов нашел, что документ у гражданки в полном порядке. Ну а если она и в бинокль смотрела, то не обязательно на батарею. Мальчишке могло показаться. К тому же бинокль не приемник и не передатчик. Запрета на бинокли нет.

Промашка старшины Туманова стала ясна лишь утром, когда Чирков по распоряжению Каирова передал Золотухину пятнадцать увеличенных фотографий бывшей сестры-хозяйки госпиталя в Перевальном Погожевой Серафимы Андреевны.

Старшина Туманов глядел на фотографию как пришибленный. Лицо его вначале сделалось бледным, словно он почувствовал себя плохо, потом щеки и уши густо закраснели, точно подкрашенные гримом.

Суетливо и сбивчиво он докладывал Золотухину:

— Вчера проверял, значит... В бинокль она. Мальчишка подметил. Ну я, грешным делом, значит...

— Товарищ старшина, спокойнее, — с досадой говорил Золотухин. — Вы видели эту женщину?

— Верно, товарищ майор.

— Когда?

— Вчера.

— Где?

— В рыбколхозе «Черноморский».

— Рассказывайте по порядку.

И старшина Туманов подробно рассказал о вчерашнем происшествии.

— Документы проверил, товарищ майор. Все в лучшем виде. А на паспорте — ваша подпись.

— Может, ты обознался? — спросил Золотухин. — Может, там совсем другая женщина? Фотография нечеткая.

— Похожи очень, товарищ майор.

Капитан Чирков, который еще находился в кабинете Золотухина, немедленно позвонил Каирову.

Выслушав капитана, Каиров сказал:

— Егор Матвеевич, бери этого старшину. И поезжайте в рыбколхоз. Привези дамочку ко мне. Нужно ее проверить.

Ветер врывался в машину. И тучи скользили по мокрому, еще не высохшему асфальту четкие, красивые. Они тянулись над зазеленевшими горами, но не касались их крутолобых вершин. А в море, близ горизонта, уже смотрело другое небо, голубое и доброе, словно улыбка.

Шоссе забирало вверх. Город панорамой сползал вниз. Дома прикрывались разными крышами: железными, черепичными, драночными, шиферными. И все это пестрело, словно лоскутное одеяло.

Старшине Туманову казалось, что машина идет слишком медленно. Хотя на спидометре стрелка не сползала ниже шестидесяти. Для мокрой горной дороги — предельная скорость. Чирков не первый год водил машину. Он

знал: здесь, на Кавказе, малейшая оплошность может стоить жизни. Приходилось быть крайне внимательным. У старшины Туманова, наоборот, была возможность думать о чем угодно и смотреть по сторонам.

И он печалился, что последние дни ему упорно не везет. Совсем недавно упустил мальчишку у тайника. А вчера вот учителку. И вдруг...

Навстречу им пронесся забрызганный грязью «студебеккер». В кабине рядом с шофером сидела женщина.

— Она! Товарищ капитан! — Туманов схватил Чиркова за плечо, тот по инерции крутнул руль, и машина едва не врезалась в гору.

— Остановите!

Чирков вывернул к обочине. Нажал на тормоз.

— В чем дело? Кого увидели?

— Учителку, товарищ капитан. Нужно быстрее разворачиваться. Иначе убегет.

— Разве так можно... А если у вас галлюцинации, старшина?

— Ежегодно медицинскую комиссию проходим, — обиделся Туманов.

— Показаться может и здоровому человеку.

— Точно говорю... Нужно догонять.

Дорога была узкая. Пока они разворачивались (плюс еще время на разговоры: догонять или нет), «студебеккер» опередил их примерно километра на два. Стрелка спидометра подскочила к отметке «семьдесят». На поворотах приходилось тормозить. Но машину все равно заносило. И прежде чем впереди замаячил грязный задник «студебеккера», они могли раз пять перевернуться.

Встречный транспорт долго не позволял обогнать «студебеккер». Лишь у самой городской черты Чирков обошел преследуемую машину и подал знак остановиться.

Трудно представить себе разочарование капитана Чиркова и еще большее разочарование старшины Туманова, когда они увидели, что рядом с шофером в кабине никого не было.

— С вами ехала женщина, — сказал Чирков. — Где она?

— Попросила высадить, не доезжая города, у трансформаторной будки, — ответил шофер, мордатый, угрюмый парень.

— Документы, — потребовал Чирков.

— А вы кто? Я вас не знаю, — лениво возразил шофер.

— Я военный следователь, — Чирков показал удостоверение.

Поведение шофера сразу изменилось. Он суетливо достал служебную книжку, водительские права.

— Где к вам села пассажирка?

— В рыбколхозе, товарищ капитан, — на этот раз четко ответил водитель.

ДОПРОС РОКСАНА

Роксан подвижен. Активно жестикулирует. Ведет себя так, словно заранее благодарен Каирову за приятную беседу.

— Михаил Георгиевич, — Каиров сама любезность, — у вас красивая, редкая фамилия. Мне никогда раньше не приходилось встречать такую.

Словоохотлив Роксан:

— Фамилия моего деда была Поляков. Он поднимал в цирке гири. И держал на груди рояль с акробатками. Одна из них позднее стала его женой. Ее звали Роксана... Фамилия Полякова не звучала на цирковых афишах. Вдохновленный именем любимой женщины, дед стал Мишелем Роксаном. Силачом из Марселя.

— Вы не пошли по цирковой линии?

— Я не сторонник родовых династий. Династия скрипачей, династия циркачей... По-моему, это признак вырождения.

— Позвольте не разделить вашу точку зрения. Наследование от поколения к поколению какой-то одной профессии может явиться выражением врожденных способностей...

Роксан прервал Каирова, махнув руками и скорчив гримасу — от нее лицо заморщинилось кругами, словно вода, в которую бросили камень.

— Дети Пушкина не стали поэтами. А Льва Толстого — писателями. Я не знаю, может, в каких-то сферах... Скажем, потомственный рыбак, потомственный моряк, потомственный хлебороб... Возможно, здесь, где какие-то чисто механические, практические навыки имеют превалирующее значение. Возможно, здесь наследование профессии имеет положительную роль. Но в искусстве это приводит к рождению бездарности.

— Вашим суждениям не хватает последовательности и справедливости.

— Вы знаете, что Монтескье говорил о справедливости?.. Справедливость — это соотношение между вещами: оно всегда одно и то же, какое бы существо его ни рассматривало... Правда, люди не всегда улавливают его, больше того: нередко они, видя это соотношение, уклоняются от него. Лучше всего они видят собственную выгоду. Справедливость возвышает свой голос, но он заглушается шумом страстей. Люди могут совершать несправедливости, потому что они извлекают из этого выгоду и потому что свое собственное благополучие предпочитают благополучию других... Понапрасну никто не делает зла...

— Я понял. Опираясь на учение Монтескье, а конкретно на понятие о несправедливости, вы предпочитаете собственное благополучие благополучию других.

— Не понимаю ваших шуток, товарищ полковник, — Роксан вскочил со стула, на лице возмущение.

— Садитесь, Михаил Георгиевич. Не волнуйтесь. Это особый разговор, и я приехал из Поти не для того, чтобы вести его с вами. Сегодня меня интересует только Сизов. Расскажите все, что вы о нем знаете. Садитесь, садитесь!

Не улыбался теперь Роксан. Сидел сосредоточенный. Умно смотрел на Каирова. Лишь иногда морщил лоб, точно что-то вспоминал.

— Сизов... — Роксан прокашлялся. — Это был сложный человек. Противоречивый. И скрытный. Последствия контузии, видимо, — его тряхнуло под Ростовом — сказывались самым странным образом. Он иногда проявлял потрясающую наивность и даже чудовищную неосведомленность, скажем, о предвоенной жизни в стране.

— Какая ваша официальная должность?

— Заместитель начальника гарнизонного военфлотторга.

— Сизов был пехотный офицер. При каких обстоятельствах вы познакомились и сблизились?

— Все просто... Мы мужчины. Я буду откровенен. Мне уже тогда нравилась Татьяна Дорофеева. В свободные минуты — а у нас, снабженцев, они случаются, к сожалению, редко — я забегал к ней в библиотеку. Между нами существовали самые дружеские отношения. Словом, это был типичный пример безответной любви. Татьяна — человек ограниченный, но по-женски хитрый. Она не отталкивала меня. И, принимая подарки, давала

лишь туманные обещания. Сизов тоже стал приходить в библиотеку. Когда она сдала комнату, я понял, что у меня есть удачливый соперник.

Роксан достал из кармана мятую пачку «Беломора».

— Разрешите закурить?

— Конечно.

— А вы? Курите, — предложил Роксан.

— Бросил. Второй день не курю...

— Желаю удачи... — Роксан чиркнул зажигалкой. — Получился пресловутый «любовный треугольник». С той лишь разницей, что соперники оказались друзьями. Сизов так смог все повернуть... И я почувствовал себя необходимым для этой приятной, как мне казалось, счастливой пары. Услуги, которые я им оказывал, вызывали у них чувство благодарности...

— Сизов знал, что вы через посредство Дорофеевой торгуете продуктами?

Прямо-таки взвился Роксан:

— Этого не было, товарищ полковник! Такова уж несчастная доля снабженцев! На нас всех собак вешают!..

— Михаил Георгиевич... Это по-детски. Вопрос серьезен. Я сформулирую его так. Не пытался ли Сизов шантажировать вас?

— Зачем? — удивился Роксан.

— Значит, нет... — Каиров уклонился от разъяснений. Сказал: — Как я полагаю, занимая такую должность, вы должны иметь в своем подчинении транспортные средства.

— У меня персональная «эмка». И четырнадцать грузовых машин.

— Богато живете.

— Нет, товарищ полковник. Грузовиков мало. Всегда в разъездах.

Дым от папиросы плыл по комнате. Каиров встал и открыл форточку. Он не вернулся к столу, а остался стоять у стены, чуть опершись о выкрашенную в салатовый цвет панель.

— Вспомните, Михаил Георгиевич, вы не ездили с Сизовым в Перевальный?

Нет, Роксан не изменился в лице, не покраснел, не побледнел. Спокойно, даже несколько равнодушно ответил:

— Ездили.

— Часто?

— Один раз. Сизов попросил подвезти его. Мы воспользовались моей «эмкой».

— Что ему нужно было в Перевальном?

— Госпиталь. Какие-то служебные дела.

— А точнее?

— Не интересовался. Я обождал его в машине. Все заняло не более десяти минут.

— Спасибо. И еще один вопрос. Когда и где вы видели Сизова в последний раз?

— Днем четырнадцатого марта. Он позвонил мне и попросил достать бутылку водки. Мы встретились в городе, возле крытого рынка. Прошли на склад. Кладовщик дал ему бутылку. И Сизов ушел. А я остался с кладовщиком. Нужно было уточнить накладные.

— Он не говорил, для чего водка? Куда он собирается?

— Нет.

— А что вы делали вечером четырнадцатого?

— В восемь часов я на машине приехал к дому. Отпустил шофера. Хозяйка покормила меня. И я лег спать.

— Надеюсь, ваша хозяйка столь же молода и прекрасна...

— Нет-нет... Старушка. За шестьдесят лет. Отлично готовит. Я приношу продукты. И питаюсь дома. У меня застарелая язва.

— Я обещал задать вам только один вопрос. Но все равно уже не сдержал слова. Вы немного говорили о Татьяне Дорофеевой. Дайте ей характеристику.

— Мне это трудно сделать. Разве что в двух словах... Красива, без предрассудков. Не очень умна.

— Интересы, запросы, кругозор?

— На все это можно уже ответить одним словом — мизерные.

— Теперь такой абстрактный вопрос. Совершенно условный. Допустим, если бы вы — повторяю: допустим, — оказались немецким разведчиком, смогли бы вы ее завербовать?

— Я не смог сделать из нее любовницу.

— Это другая сфера.

— Понимаю... Опытный, ловкий разведчик нашел бы у нее много слабостей. Мне кажется, их больше чем достаточно, чтобы превратить ее в сообщницу.

— Все! На сегодня достаточно. Надеюсь, в скором времени мы вновь сможем поговорить друг с другом. Вы

военный человек. И вас не нужно предупреждать, что сегодняшний разговор должен остаться между нами.

— Понимаю, товарищ полковник. Всегда рад побеседовать с умным человеком.

Они пожали друг другу руки.

Каиров проводил Роксана уже почти до самых дверей, но внезапно остановился, придержал его за локоть. Сказал:

— Одну минуточку.

Шустро, словно подросток, Каиров вернулся к столу, выдвинул ящик.

— Вы узнаете эту фляжку? — он держал фляжку за цепочку. Мелкую, соединяющую крышку с корпусом.

— Да, — сказал Роксан. — Это фляжка Сизова.

— Вы уверены?

— Мне часто приходилось наполнять ее.

— Это моя фляжка, — возразил Каиров. — Фляжка Сизова на экспертизе. Дорофеева рассказала о разговоре со мной?

— Рассказала, — смущенно ответил Роксан.

— Не следуйте ее примеру!

ТАЙНА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ БУДКИ

Чирков развернул машину. И дорога опять побежала под колеса. И море заголубело с левой стороны.

— Ну а вдруг вы обознались, старшина? — холодно сказал Чирков. — Тогда мы ведем себя как мальчишки.

— Все сходится, товарищ капитан. И внешностью... И попросилась к шоферу, значит, в рыбколхозе «Черноморский».

Поворот. По правой стороне дороги забелела полуразрушенная трансформаторная будка. Чирков затормозил.

Они вышли из машины. Прямо за будкой был съезд, кончавшийся тупиком. Дальше начиналась гора. На ней густо зеленел кустарник. Деревьев было мало. Они росли у подножия и на самой вершине.

От обочины, противоположной горе, начинался спуск к морю. Несколько тропок выходили на нижнюю дорогу, вокруг которой ютился пригород, именуемый Рыбачьим поселком. Название это, наверное, сохранилось с очень давних времен, когда здесь действительно жили рыбаки. Однако город разрастался, корабли распугивали рыбу, ры-

баки переселялись подальше от города (пример — рыбколхоз «Черноморский»), а название так и осталось.

Чирков заглянул в будку. Обвалившаяся штукатурка, обломки кирпичей и аппаратуры...

— Скорее всего она скрылась в Рыбачьем поселке, — предположил капитан.

Туманов ничего не ответил. Он пристально рассматривал мягкую, влажную землю, на которой отпечатались следы женских туфель маленького размера. Туфли были на толстом каблуке. И метки от него остались ясные и сочные.

— Смотрите, — сказал старшина.

Следы вели за трансформаторную будку, к воронке. Бомба здесь разорвалась мощн. . Не меньше, чем в полтонны. Яма получилась глубок . На дне ее мутнело совсем немного воды.

— Дождь лил всю ночь, — сказал Чирков, — а воды в воронке кот наплакал. Странно.

Следы не кончались у края воронки. Наоборот, цепочкой они тянулись к дну ямы и обрывались лишь у большого искореженного листа жести, вероятно сорванного с крыши трансформаторной будки.

Чирков спустился в воронку. Откинул жесть. И, словно подозрительно косясь, черное отверстие, ведущее в глубь земли, предстало перед ним.

— Здесь подземный ход! — крикнул Чирков старшине Туманову.

Старшина поспешно спустился в воронку. Посветили фонариком.

— Каменоломни, — сказал старшина Туманов. — Лет сто назад здесь добывали белый камень. Нас как-то в управлении информировали. И даже показывали несколько входов в районе Нахаловки. Но все они, значит, заканчивались обвалами.

— Надо спуститься, — сказал капитан Чирков и вынул пистолет. Туманов расстегнул кобуру.

— Разрешите с вами, товарищ капитан.

— Да, нырнем вместе.

При свете фонарика они определили, что глубина не более двух метров. Когда спрыгнули, то оказались в штольне из белого камня. Лишь в месте, где бомба пробила дыру, порода обрушилась и хлюпала под ногами жидкой грязью. Они сразу решили, что идти по штольне в сторону моря не имеет смысла. Резкий спуск за доро-

гой неизбежно должен был вызвать обвал. Но обвала не случилось, потому что в пяти метрах от воронки штольня заканчивалась тупиком.

Они шли в полный рост. Рядом. Ширина штольни позволяла идти свободно. Она достигала четырех-пяти метров. Пользовались одним фонариком. Чиркова. Фонарик старшины берегли. Вначале силились разобрать следы. Но убедились, что занятие это бесполезное. Ракушечник на дне штольни был сухой и твердый.

— Вот, значит, бомбоубежище. Можно сказать, природное... Докладную записку товарищу Золотухину составлю непременно, — сказал старшина Туманов.

— Неужели не сохранился план этих заброшенных штолен? — спросил Чирков.

— Точно, не сохранился. Уж нам бы показали.

Метров через пятнадцать штольня стала сужаться. Забирать вверх. Но вскоре опять выровнялась, и они оказались в зале, достаточно широком и высоком, чтобы в нем могли вместиться три железнодорожных вагона.

Нужно было ускорить осмотр зала. Решили пользоваться и вторым фонариком. Несмотря на то, что стены выглядели сухими и чистыми, воздух в зале отдавал сыростью, затхлостью. Никаких следов пребывания человека обнаружить не удалось. Дальше из зала выходили шесть узких и низких туннелей.

Чирков сказал:

— Шесть туннелей — это много. Нужно возвратиться. Прислать сюда взвод солдат. Прочесать этот лабиринт тщательно и старательно.

Они повернули назад к штольне, которая привела их сюда. Но в это время в зале послышался подозрительный шум и кто-то громко чихнул...

ЭКСПЕРТ ПОДТВЕРЖДАЕТ УБИЙСТВО

В штаб гарнизона пришел милиционер. Часовой остановил его. Сапоги милиционера были в желтой глине, потому что утро было мокрое. И ветер гнал тучи, и солнце появлялось на какие-то минуты, робкое, далекое.

— Куда? — спросил часовой. Спросил недружелюбно, свысока.

— В особый отдел.

— К кому?

— К полковнику Каирову.

— Обожди. Вызову дежурного.

Часовой нажал кнопку. Она была вделана в стену, только гораздо ниже, чем кнопка дверного звонка.

Появился подполковник с красной повязкой на рукаве...

— У меня пакет в особый отдел к полковнику Каирову, — сказал милиционер.

— Пройдемте, — предложил дежурный.

Коридор был плохо освещен и выглядел мрачным. Двери из кабинетов — справа и слева. Лишь далеко впереди, в самом конце, узкое окно, заклеенное крест-накрест бумагой.

Возле одной из дверей дежурный останавливается. Стучит.

За дверью — глухо:

— Да-да... Войдите.

— Товарищ полковник, — докладывает дежурный, — к вам из милиции.

Кабинет совсем маленький. Но окно большое. Поэтому света здесь с избытком. И кажется, с секунды на секунду он начнет вытекать, как вода из переполненной бочки.

— Спасибо, что проводили, — говорит Каиров.

— Разрешите идти? — спрашивает дежурный.

— Да, пожалуйста.

— Товарищ полковник, вам пакет от майора Золотухина.

Милиционер кладет на стол конверт, большой, но тощий. Достает из сумки потертую общую тетрадь. Говорит:

— Здесь нужно расписаться.

Каиров расписывается.

— Я пойду, товарищ полковник.

— Да. Спасибо вам.

Милиционер уходит. Каиров вскрывает конверт. Вынимает из него сложенный пополам листок бумаги.

«Медицинское заключение о смерти майора Сизова В. И.

Вскрытие трупа, проведенное 19 апреля 1944 года, дает основание предполагать, что смерть наступила мгновенно в результате сильного удара в область затылка большим, тяжелым предметом с мягкой поверхностью (возможно, гаечным ключом, камнем, завернутым в тряпку). Последовавшая затем травма грудной клетки и нарушение функции важнейших органов: сердца, легких

могло тоже привести к смерти, в том маловероятном случае, если удар в затылок вызвал лишь потерю сознания.

Установить более точную картину смерти почти месяц спустя не представляется возможным.

Наличие снотворных, а также отравляющих веществ в организме не обнаружено.

Эксперт И. Павловский».

Каиров спрятал листок в конверт. Последняя строчка огорчала: «Наличие снотворных, а также отравляющих веществ в организме не обнаружено».

Ему все-таки представлялось, что Сизов хлебнул из той фляжки, которую предложил шоферу Дешину. Если же верить Дешину, если верить, что он, приложившись к фляжке, уснул или вообще потерял сознание, то...

А вдруг Дешин врет?

Каиров позвонил по телефону начальнику гауптвахты:

— Здравствуйте, Каиров беспокоит. Доставьте в особый отдел арестованного Дешина.

С психикой у Дешина, видно, не все в порядке. Он не узнает в полковнике того сантехника, который приходил к нему в камеру чинить батарею. Едва ли он прикидывается, играет. Не до игры человеку, приговоренному к смертной казни.

Дешин весь в себе. И взгляд у него без смысла. Страх в глазах есть, а смысла нет.

— Почему вы скрыли, что отправились в рейс четырнадцатого марта в нетрезвом виде? — спросил Каиров.

— Я не скрывал, — вяло ответил Дешин. — Меня никто про это не спрашивал. Сначала в столовой. Потом уже в гараже...

— Сколько?

— Что?

— Сколько выпили в столовой?

— Известное дело... Пол-литра.

— А в гараже?

— Стакан.

— Разве вы не понимали, что совершаете преступление?

— Никак нет, гражданин следователь. Я в десять часов утра вернулся из рейса. Ночь не спал. Мне положен

был отдых. А командир автороты отдых отменил, уже когда я выпил бутылку.

— Он не заметил, что вы пьяны?

— С бутылки я не пьянею, — обиженно ответил Дешин.

— Что было дальше?

— Я разозлился, но вида не показал. А решил отдохнуть. И пошел к поварихе, к женщине... Она не то чтобы мне обещала, но намеки делала. Я к ней пришел, а она меня приняла неласково, потому что к ней из села тетка приехала. И стесняла нас... Я поругался...

— Как фамилия этой женщины?

— Не спрашивал. Клавой зовут. Поварихой она в столовой на улице Энергетиков работает.

— Хорошо. Рассказывайте дальше.

— В расстроенных чувствах пришел я в гараж. И на полбутылки сменял запасной баллон шоферу Витьке Орлову.

— Из фляжки, которую вам дал Сизов, много выпили?

—Не мерил. Она железная. Разве увидишь.

— Понятно... Ну а когда вы очнулись... обнаружили беду, то решили бежать?

— Решил.

— И, конечно, прихватили фляжку. Ночи холодные, в горах пригодится.

— Нет, гражданин начальник, забыл я про фляжку. Если бы вспомнил, то взял бы ее с собой. Но тогда она не попалась мне под руку.

— Куда же девалась фляжка? — спросил Каиров.

— Вам виднее...

ВСТРЕЧА В ШТОЛЬНЕ

Резко повернувшись, Чирков поднял фонарик и нанизал темноту на луч света.

Желтый круг с нечеткими, будто размытыми краями покатился по белой ракушечной стене, скользнул на пол, остановился.

— Собака, — засмеялся старшина Туманов.

Дворняга светлой масти беззлобно вертела мордой, стараясь уклониться от слепящего луча. Короткая шерсть ее была примочена каплями дождя. И капли блестели обычно, словно на улице.

— Где-то близко есть выход наружу, — сказал капитан Чирков.

— Возможно, — согласился старшина. — Ну, кабыздох, веди нас, значит, на свежий воздух.

Собака завиляла хвостом, шмыгнула носом и вновь чихнула.

— Дух здесь тяжкий, — сказал старшина Туманов. — Даже псу не по нутру пришелся.

Едва он успел произнести последние слова, как чихнул сам. Чирков тоже почувствовал резкий щекочущий запах, которого еще минуту назад не было ни в штольне, ни в зале.

Подняв фонарик, благодаря чему луч удлинился, Чирков осветил дальний край зала, куда выходили шесть туннелей. Белый дым канатом вытягивался из крайнего левого туннеля и расползался по залу, точно туман.

— Дымовая шашка, — сказал Чирков. — Без противогаза здесь делать нечего. Уходим.

Они проскользнули в горловину штольни и ускорили шаг. Собака опередила мужчин. Повизгивая и чихая, она бежала впереди. Газ расползался медленно и не преследовал их. Без приключений они добрались до отверстия близ трансформаторной будки. Первым выбрался из штольни капитан Чирков, которого подсадил старшина. Потом Чирков вытащил собаку и с помощью ремня — старшину Туманова.

Голубые проблески у горизонта затянула дымчатая пелена. Ветер вновь выколачивал из туч колючий и холодный дождь. День был хмурый, унылый.

— Старшина, — сказал Чирков, — сейчас мы с тобой разойдемся. Ты на попутной машине в рыбколхоз «Черноморский». Уточнишь, когда скрылась учительница. И скрылась ли вообще... А я возьму в гарнизоне солдат с противогазами. И мы прочешем каменоломню насквозь.

— Ясно, товарищ капитан.

Старшина вышел на середину дороги, остановил едущую навстречу машину. В кабине, кроме шофера, сидели еще двое солдат.

Туманов сказал:

— Подбросьте до рыбколхоза.

— Можно.

Старшина Туманов забрался в кузов. Он стал лицом вперед, положив руки на кабину. Капитан Чирков видел, как дождь стегал старшину, большого и широкого...

— Здравствуйте. Вы Татьяна Дорофеева?

Татьяна, не скрывая удивления, разглядывала незнакомую женщину, стоящую на пороге квартиры.

— Да. Я Татьяна Дорофеева.

— Извините меня. Мы незнакомы. Но Валерий рассказывал о вас столько хорошего.

— Валерий?

— Сизов... — женщина говорила стеснительно и немного заискивающе. Последнее и расположило к ней Татьяну.

— Входите, — сказала Татьяна.

У женщины в руке был потертый спортивный чемоданчик.

— Я только на одну минутку, — сказала женщина. — Хотела посмотреть на вас.

— Раздевайтесь.

Женщина все еще стеснялась:

— Нет, нет... Зачем же... Я не могу вас обременять.

Татьяна спросила:

— Вы знали Валерия Сизова?

— Да. Я хорошо его знала. И... должна признаться, именно я явилась невольной причиной вашей ссоры. То письмо, которое нашли вы, было моим.

Взгляд у Татьяны похолодел:

— Вот как...

— Да, — печально сказала женщина и опустила голову.

— И вы посмели ко мне прийти?!

— Посмела... Потому что хотела сказать: он ни в чем не виноват.

— Какое это имеет теперь значение?

— Справедливость всегда имеет значение. Она нужна всем, даже мертвым.

— Я в это не верю.

— Вы красивая женщина. Вы не знаете, не можете знать, что такое безответная любовь. А я... Я росла с Валерием в одном городе. Я знала его с детства. И всегда любила его. А он меня нет. У нас сложились хорошие, дружеские отношения. Многие не верят в такие отношения между мужчиной и женщиной. Но они могут быть... В том случае, если только один крепко любит, а другой не любит совсем. У того же, кто любит, не хватает сил рас-

статься. Получается боль, печаль... Иногда все это и называют доброй, хорошей дружбой.

Женщина умолкла, словно для того, чтобы вдохнуть воздух. Татьяна сказала:

— Все-таки разденьтесь. И пойдемте в комнату. Неудобно разговаривать в прихожей.

— Спасибо. Я воспользуюсь вашим гостеприимством. Но ненадолго. Сегодня я уезжаю в Поти. И мне еще нужно позаботиться о билете.

— Это непростое дело — достать билет до Поти, — покачала головой Татьяна, удивившись непрактичности женщины. И чувство участия шевельнулось в душе. И она сказала:

— У вас промокли ноги.

— Я наследила. Извините... Очень сыро.

— Здесь всегда сырая весна... Вот мои тапочки, — Татьяна почувствовала себя гостеприимной хозяйкой. Это придало ей бодрости, уверенности.

— Спасибо, — покраснела женщина. — Мне, честное слово, неловко.

— А чулки можно высушить на чайнике. Я поступаю так. Нагрею чайник. Оберну его полотенцем. А сверху — чулки. Высыхают моментально.

Женщина, смущенно улыбалась, не решаясь двинуться с места:

— Я причинила вам столько хлопот. Зашла на минуту. А застряну на час...

— Стоит ли об этом задумываться. Война ведь...

— Война... — со вздохом согласилась женщина.

Тапочки из мягкой козлиной кожи Татьяна выменяла на рынке у черноглазого пожилого адыгейца за пайку хлеба. Они были легкие и теплые. И женщина, надев их, казалось, непроизвольно воскликнула:

— Какая прелесть!

В комнате Татьяна сказала:

— Мы почти знакомы. А я не знаю, как вас зовут.

— Серафима Андреевна Погожева, — ответила женщина.

— Вы жили где-то поблизости? — спросила Дорофеева.

— В Перевальном. Я работала там в госпитале сестрой-хозяйкой.

— Перевальный. До войны это было шикарное местечко. Я ездила туда со своим вторым мужем.

Погожева удивилась:

— Такая юная! И уже дважды побывали замужем. Татьяна весело ответила:

— Было бы желание.

— Вам можно позавидовать.

— Напрасно. Я, в сущности, несчастный человек. Другие думают обо мне: легкомысленная, падкая на мужчин, корыстная. Я же ни то, ни другое, ни третье. Я только ищу счастья. Мне хочется быть немножко счастливой. Имею я на это право?

— Каждый человек задумывается над подобным вопросом. Но мне кажется, если представлять счастье, как нечто материальное, то такого счастья гораздо меньше, чем людей на земле. Вот люди и отнимают его друг у друга, как футболисты мячик.

— По-вашему получается, что и немцы воюют за свое счастье?

— В их понимании да, — спокойно ответила Погожева.

— Так можно оправдать все, — не согласилась Татьяна.

И неприязнь к женщине вновь коснулась сердца. И подумалось: не следовало ее пускать в дом. Лучше бы сразу: вот бог — вот порог.

— Это не открытие. Оправдать действительно можно все, — ответила Погожева, внимательно оглядывая комнату.

— Даже убийство? — насторожилась Татьяна. Стояла не двигаясь, согнув руки в локтях, словно готовясь защищаться.

— Почитайте Достоевского.

— Он скучно пишет, — призналась Татьяна. И расслабилась: опять книги, надоели в библиотеке.

— Вчитайтесь. Это только кажется...

— Попробую после войны... — ответила Татьяна с небольшой, но все же заметной долей пренебрежения. — А пока снимите чулки, Серафима Андреевна. Я разожгу примус и поставлю чайник.

Серафима Андреевна Погожева (она же Ефросинья Петровна Деветьярова, она же — по картотеке абвера — Клара Фест) меньше всего была намерена вступать в пространные разговоры о счастье и смысле жизни. Иначе говоря, попусту терять время. Но случилось так, что в тот момент, когда Погожева стояла возле двери Дорофе-

евой и нажимала кнопку звонка, из соседней квартиры вышла старушка и сказала:

— Татьяны может и не быть дома.

Пришлось повернуться к бабушке, с улыбкой ответить:

— Мне повезет.

— Вы, часом, не электричество проверяете? — полюбопытствовала соседка.

— Нет.

— Я думала, лампочки смотреть будете. Давно не интересовались.

Старушка, конечно, запомнила лицо Погожевой. Разумеется, можно было и бабушку к праотцам отправить. Но подустала за последние дни Погожева. Нервишки натянулись. Пока взвешивала Серафима Андреевна ситуацию, старушка по лестнице спустилась. Если застрелить или отравить Дорофееву, старушка даст показания. Тогда приметы учительницы из рыбколхоза «Черноморский» и неизвестной женщины, которая накануне убийства звонила в квартиру Дорофеевой, совпадут. Выйдет вилка. А это плохо... Из города уходить еще никак нельзя. Но и оставаться опасно. Вчера старшина милиции внезапно проверил документы. Странно? Черт знает! Может, обычная проверка. Связанная с войной. Если бы имелись подозрения, арестовал бы ее старшина еще в «Черноморском». Ну а огни в штольне? Сама видела ясно. Огни тоже не доказательство. Как угадаешь, кто там лазил? Может, жулики или дезертиры. Зря она дымовую шашку разбила. Опять нервы. Улику оставила.

Нет, еще не пробил час Татьяны Дорофеевой. Счастливая она, черт возьми!

На пианино стояла хрустальная ваза, прикрытая свежей салфеткой, отделанной искусной вышивкой. И еще — цветочница с сиренью. Переставив вазу и цветочницу на стол, Погожева откинула верхнюю крышку пианино. Поднялась на носках, заглянула внутрь. Справа, прижатый струнами к стенке, темнел пухлый тряпичный сверток. Погожева вынула сверток, положила его на стол. Спокойно, не торопясь и не волнуясь, что Татьяна каждую секунду может прийти с кухни, поставила вазу и цветочницу на прежние места. Развернула тряпки. В них оказались три толстые пачки сторублевых денег. Погожева вынула откуда-то, чуть ли не из лифчика, маленький пистолет, положила его перед собой.

Онемела Татьяна, остановилась на пороге, почувствовала: ногами двинуть не в состоянии, словно взбунтовались они и отказываются повиноваться.

— Что это? — спросила Татьяна. Произнесла в общем-то два ненужных слова, ибо отлично видела, что лежит на столе.

— Никогда не видели зажигалку в форме пистолета и сторублевых денег? — удивилась Погожева устало и немного раздраженно.

— Так много! Никогда, — призналась Татьяна, изо всех сил стараясь не выдать своего беспокойства.

— Не очень много. Десять тысяч.

— Большая сумма, — сказала Татьяна с уважением.

— Я хочу подарить ее вам, — улыбнувшись, заявила Погожева

— Мне? Разве вы добрая фея из сказки?

— Я действительно фея. Только не добрая, а злая.

— Почему же злая? — Татьяна наконец сдвинулась с места, подошла к столу и поставила чашки.

Погожева тряхнула головой:

— Так удобнее, — и вдруг спросила: — У вас найдется листок бумаги?

— Да.

Повернувшись к тумбочке, Татьяна взяла из-под старого альбома ученическую тетрадь и положила перед Погожевой.

— Нет, — сказала Погожева, — писать будете вы. Вот этой авторучкой.

— Я не понимаю вас, — побелев, произнесла Татьяна и покачала головой.

— Сейчас поймете. Прошу. Пишите: «Я, Дорофеева Татьяна Ивановна, библиотекарь гарнизонного Дома офицеров...» Написали? Хорошо... Пишите: «обязуюсь... сотрудничать... с германской военной разведкой...»

— Зачем вы так?.. — обидой спросила Татьяна и отодвинула тетрадь. — Что я вам сделала?

— Милая моя, — вздохнула Погожева. — Вы молоды и красивы. Я понимаю мужчин, которые в вас влюбляются. Но поймите и вы меня. Если мы не договоримся, не найдем общий язык, то... бог свидетель... Я не могу уйти из этой комнаты, оставив вас живой. Как бы я к вам ни относилась, я на службе... Будьте благоразумны.

— О каком благоразумии может идти речь? — сквозь зубы выдавила Татьяна. — Вы что? С луны свалились?

— Увы! С грешной земли. — Погожева положила руку на пистолет. — Эта зажигалка, между прочим, шестизарядная.

— Плевать я на нее хотела, — заявила Татьяна, удивляясь собственной храбрости.

— Оставим лепет. Вы пе девочка, а я не обольститель. Я предлагаю вам дело. Рискованное, но денежное. Я знаю, вы согласитесь. И когда войдете во вкус, поймете, что в разведке можно заработать больше, чем в постели.

— Я не проститутка! — покраснела Татьяна.

— Фу! Как вульгарно.

— А мне плевать! Убирайтесь к чертовой матери из моей квартиры. Я не испугалась вашей пушки.

— Спокойнее... Истерики разрушают нервную систему не меньше алкоголя. Отвечайте, вы догадывались, что Сизов — агент немецкой секретной службы?

— Какой службы? — не поняла Татьяна, но запальчивости теперь не было в ее голосе.

— Вам известно, что Сизову удалось завербовать вашего друга Роксана? Того самого Мишу, который через ваше посредство сплавляет излишки продуктов?

— Вы врете!

— Забудьте это слово. В разведке не врут. В разведке молчат или говорят правду. Я говорю правду только потому, чтобы вы поняли — я не могу выйти из этой комнаты, оставив вас живой.

— Уходите, — решительно сказала Татьяна. — Уходите! Я никому не скажу... Можете не волноваться.

— Спасибо, — поднялась Погожева. — Боюсь, что в отношении вас не смогу проявить такую милость.

Татьяна отступила на шаг, сказала тихо, но убедительно:

— Я не нуждаюсь в ней, в вашей милости. Я выброшусь в окно. И закричу на всю улицу. Я не пойду на предательство!

— Предательство — тоже работа, — сухо заметила Погожева.

— Плохая работа!

— Запомните, девочка, плохой работы не бывает. Работа либо соответствует духовным запросам и умственным возможностям индивидуума, либо нет.

— В таком случае вы переоценили меня.

— Скромность человека украшает, агента оберегает.

— Я не агент! — процедила Татьяна. Страха не было в ее голосе, лишь злость, злость, злость...

— Не будем придираться к словам, — миролюбиво сказала Погожева. — И зря нервничать. Может, нам лучше разобраться в сути. Отвечайте на мои вопросы, только искренне. Вы способны на искренность?

— Да!

— Вам нравится работать на заводе у станка?

— Я никогда не работала на заводе.

— И не рветесь? — усмехнулась Погожева.

— Нет!

— Что бы вы предпочли: коммунальную квартиру или собственную виллу в сосновом бору на берегу моря?

— Это глупый вопрос, — заметила Татьяна.

— Вам нравится танцевать?

— Да.

— Хорошо поесть?

— Да.

— Красиво одеться?

— Да.

— Какой цвет вы предпочитаете: голубой или красный?

— Голубой.

— Ох, Таня, Таня... Одного последнего ответа достаточно для того, чтобы усомниться в вашей благонадежности...

— Но голубой цвет мне действительно больше к лицу, чем красный, — с обидой произнесла Татьяна.

— Все ясно... Если добавить, что в течение определенного срока вы предоставляли крышу немецкому агенту Сизову, нарушаете правила торговли нормированными продуктами, то... Вывод напрашивается сам собой — русскую контрразведку вам надо опасаться больше, чем меня. Я предлагаю вам деньги и обеспеченное будущее. «Смерш» может предложить в лучшем случае длительное заключение, в худшем — стенку...

— За что стенку? Я ничего не сделала...

— Вы думаете?

— Я знаю, — ответила Татьяна запальчиво.

— Я тоже знаю. В ночь на десятое февраля в Доме офицеров происходило совещание высшего командного состава группы войск. Оно было совершенно секретным. Продолжалось с двадцати трех часов девятого февраля

до ноль трех часов десятого. Вместо заболевшей буфетчицы вам было поручено подать офицерам ужин.

— Только кофе с бутербродами.

— Пусть кофе с бутербродами. Вам категорически было запрещено говорить, где вы были в ту ночь и кого видели. Это так?

— Так.

— Вы рассказали об этом Сизову. Выдали военную тайну врагу.

— Откуда же я знала, что Сизов враг? Он был ревнив как черт. Думал, что я спала с Роксаном.

— Не принимайте меня за девочку. Вы указали на предъявленной фотографии офицеров, приезжавших на совещание.

— Все было совсем не так... Когда Сизов узнал, где я была, он неожиданно поверил мне сразу. Воскликнул: «Наверняка там был кто-то из моих друзей!» Я ответила, что не знаю. Вот тогда он и показал групповую фотографию. Я опознала на ней двух или трех офицеров.

— Вы опознали командующего армией, начальника штаба и начальника оперативного отдела... Таким образом, о совещании, совершенно секретном, в то же утро стало известно немецкому командованию.

— В то же утро? — не поверила Татьяна.

— Да... Вы совершили служебное преступление. Представляете, что ждет вас, если об этом станет известно русской контрразведке?

— Вы хотите сказать, — глаза у Татьяны были еще сухие, но голос дрожал, словно она уже плакала... — Нет, нет. Меня не расстреляют!

— Вы самоуверенны. Вас избаловали мужчины. Вполне вероятно, что вас именно расстреляют. Но если вдруг органы НКВД проявят жалость, недопустимую в военное время, то вам дадут срок. Минимум лет десять. На волю вы вернетесь старухой. Лучшие годы за колючей проволокой. Печально! Может, вам повезет. И время от времени вы будете спать с начальником лагеря. Но все равно это печально.

— Как же быть? — спросила Татьяна тихо.

— Положиться на своих друзей. Я ваш друг. Вы меня поняли?

— Поняла...

— Пишите, — совсем мягко сказала Погожева.

Татьяна послушно взяла ручку. Перо легко сколь-

зило по бумаге. Но буквы получались неровными, скошенными вправо.

— Теперь поставьте число и подпись, — закончив диктовать, предложила Серафима Андреевна.

Татьяна нехотя повиновалась.

— Хорошо, — сказала Погожева. — Переверните страницу и напишите номера воинских частей, дислоцирующихся в гарнизоне.

— Я не знаю, — испуганно прошептала Татьяна.

— Плохо, — укоризненно заметила Погожева. — Плохо в первый же день врать своему коллеге. На библиотечных карточках вы указываете номера воинских частей. Кстати, не забудьте написать фамилии и воинские звания известных вам офицеров.

У Татьяны было такое чувство, будто она летит в пропасть. Но еще долго-долго не будет дна с его острыми скалами, а только страх, незнакомый и липкий.

Столбик номерных знаков воинских частей получился совсем коротким. Список офицеров — чуть больше.

— Мало, — сказала Погожева.

— Больше не помню.

— Верю. Даю день сроку. За это время составьте мне полные списки по картотеке.

Татьяна ничего не ответила.

— Переверните еще страницу, — продолжала Погожева. — Пишите: «Расписка». С новой строки: «Я, Дорофеева Татьяна Ивановна, получила от сотрудника германской разведки за переданную мной информацию военного характера аванс в сумме десять тысяч рублей». Прописью. Так. Число. Подпись.

Погожева взяла одну из трех пачек, подвинула к Татьяне.

— Десять тысяч в сторублевых купюрах. Считайте.

Татьяна подняла пачку, повертела. Ответила:

— А что считать? Они же запечатаны.

— Спасибо за доверие, — усмехнулась Погожева. Она встала. Взяла тетрадку.

— Опустите пистолет, — попросила Татьяна.

— Не волнуйтесь. Теперь я не стану в вас стрелять. Но предупреждаю. Не делайте глупостей. Если меня арестуют, ваши расписки попадут в русскую контрразведку. Не думаю, что вы сможете убедить их в своей невиновности. Там работают непокладистые люди. Ясно?

— Ясно.

— Я попрошу вас, моя милая, обменяться со мной одеждой. Дайте мне свое пальто, платье...

— Они будут велики вам в груди, — сказала Татьяна.

— Что поделаешь? — вздохнула Погожева. — Подложу ваты.

Меньше чем через десять минут Погожева в одежде Дорофеевой уже стояла в прихожей. Прощаясь, она сказала:

— Ваша агентурная кличка — Кукла. Не знаю, смогу ли я сама поддерживать с вами контакт. Возможно, придет другой человек. Пароль: «Мне известно, что у вас есть пианино». — «Оно испорчено». — «Могу предложить в обмен мешок картошки». — «Спасибо. Мне нужна мука».

СНОВА ЖАН

Чирков всю вторую половину дня с группой солдат обследовал каменоломни. Вернулся лишь вечером, усталый, голодный, злой. Результаты были весьма и весьма скромные. Остатки дымовой шашки (могли баловаться дети) да следы, не очень конкретные, свидетельствующие лишь о том, что еще недавно кто-то использовал штольни в качестве склада.

Каиров сказал Чиркову:

— Вы свободны. Ужинайте и отдыхайте.

Сам же пешком отправился в гостиницу Дома офицеров.

Стемнело. Дождя не было. Но воздух весь был пронизан сыростью. И морем, и нефтью... Возле Дома офицеров разговаривали люди. Двери хлопали. И пятна света, словно шары, скатывались по мокрым ступенькам.

В фойе Каиров увидел афишу кинофильма.

«СЕГОДНЯ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
Английский документальный фильм
ПОБЕДА В ПУСТЫНЕ
Производство Армейского кинофотоотдела и киноотдела Британских королевских воздушных сил. Фильм рассказывает о разгроме итало-немецких войск в Египте и Ливии 8-й английской армией.
Начало в 19 часов»

Нет. Он не пошел в кино. Усталость и недомогание сковали его, сделали вялым. Поднявшись в номер, он не

снимая шинели, упал на кровать. Закрыв глаза, около четверти часа лежал неподвижно.

Потом в дверь постучали. Вошла горничная — широкая, низкого роста старушка. Лицо у нее было дряблое, точно тряпка, но улыбка приветливая, глаза моложавые. Она сказала:

— Давайте я поменяю вам постель.

Каиров поднялся. Виновато пояснил:

— Прилег на секунду — и как в воду.

— Намаялись, чай, за день, — участливо сказала старушка и задвигала губами, словно что-то пережевывая.

— Намаялся не больше обычного. Да годы не те...

— Годы — они как пузыри мыльные. Разглядеть не успеешь, а их уж нет, — белая простыня, затвердевшая от крахмала, хлопнула, словно парус, накрыла матрац.

— Давно при гостинице работаете? — спросил Каиров, удивившись ловкости старушки.

— Восьмой годок... Аккурат с весны тридцать шестого.

— Майора Сизова помните?

— Нешто забуду... Приветливый сынок такой был. Ежели придешь в номер прибрать али постель сменять, без пятерки не отпустит. Случалось, и по десять рублей давал.

— Общительный человек.

— Очень, — охотно подтвердила горничная.

Каиров снял шинель, повесил ее в шкаф. Старушка взбивала подушку.

— Друзей к нему много ходило?

— Не скажу, что много, но случалось...

— Вы их знаете?

— Да ведь разве упомнишь. Офицеры ходили. Этот вот... Солидный моряк. По продуктам который... Фамилию запамятовала. Как зачну вспоминать — все одно забываю.

— Женщины навещали майора?

Старушка обиделась. Нос ее будто бы удлинился и морщинки покатились вниз:

— Господь с вами. Он такой хороший был, интеллигентного воспитания. В Танечку нашу влюбленный...

— Может, вспомните, когда видели майора в последний раз?

— И вспоминать нечего. Видела я его, можно сказать, перед самой кончиной.

— Где? — с надеждой спросил Каиров.

— Как ни есть супротив бани... На тротуаре они с барабанщиком нашим, Жаном, разговаривали. А потом машина возле них остановилась. Шофер что-то спрашивал.

— Не слышали, что говорил шофер?

— Нет. На дежурство торопилась. Я давеча у начальника нашего разрешение взяла с внучкой посидеть, дочку с работы дождаться...

— В какому часу это было?

— Близ девяти вечера. До девяти вечера меня начальник отпустил.

— Спасибо, — сказал Каиров.

А когда старушка уходила, дал ей десять рублей. Лицо горничной расплылось, как блин на сковородке. Запричитала она:

— Дай бог вам могучего здоровья. И прожить чтобы еще раз столько. И второй раз столько...

— Сегодня танцы будут? — прервал излияния Каиров.

— После кино.

— Понятно.

Горничная ушла. Каиров позвонил начальнику Дома офицеров.

— Добрый вечер. Это Каиров. У меня к вам вопрос. Если кто-то из музыкантов джаза не выходит на работу, вы об этом знаете?

— Конечно, — ответил начальник Дома офицеров. — Кстати, в этом году случая такого не было.

Джаз — саксофонист, барабанщик, аккордеонист, трубач, скрипач, пианист — работал на авансцене. Круглый, как солнце, барабан, отделанный красным перламутром, стоял несколько впереди, а справа и слева почтительно замерли маленькие барабанчики. Сверкающие, прямо-таки золотые тарелки салютовали яростным звоном. И свет отскакивал от них брызгами, веселыми, беззаботными.

Барабанщик Жан восседал с достоинством, как король на троне. Но на устах его была совсем не королевская улыбка, бесхитростная и приятная.

Танцевальные пары заполнили зал. Стулья были придвинуты к стене, те, что оказались лишними, вынесены в фойе. Несколько морских офицеров стояли недалеко от входа, видимо, обсуждая фильм. Один сказал:

— Впечатляюще. Пески, пальмы...

Другой возразил:

— По сравнению со Сталинградом — элементарное ученичество.

— Африканская жара что-нибудь значит.

— Жара, мороз... Все это приправа. Важна суть. Масштабы операции...

Пахло духами. Потом. Пол, слегка наклоненный к сцене, был выстлан паркетом. Скользить по нему не составляло труда, особенно вниз, к джазу. Каиров рассчитывал увидеть здесь Дорофееву. Но женщин танцевало много, преимущественно молодых.

В антракте Каиров подошел к Жану. Сказал:

— Вы большой мастер своего дела.

— Стараюсь, — ответил Жан, расстегивая ворот рубашки.

— Мой приятель, к сожалению, покойный, — Каиров вздохнул, — майор Сизов был большим поклонником джаза.

— Я знаю. Он часто приходил на танцы.

— Значит, вы были знакомы? — обрадовался Каиров.

— Жан! — позвал саксофонист. — Пошли в буфет. Нас угощают пивом.

— Приду, — ответил Жан, — через пару минут.

Кругом разговаривали люди. Передвигались, толкались... Каиров взял Жана за локоть и увлек за кулисы.

— Я вас вот о чем хочу спросить, молодой человек. Последние четыре месяца мне не довелось видеть Сизова. Скажите, не заметили ли вы в его характере уныния, беспокойства?.. Короче, только между нами, не мог ли мой друг сам наложить на себя руки?

— Не знаю. Я видел Сизова в тот самый вечер накануне его гибели. Он был весел. Мы немного поговорили.

— О чем говорили?

— Так, о пустяках.

Пропыленные бархатные занавеси темно-лилового цвета тяжело свисали с потолка, отбрасывая широкие и густые тени.

— Куда вы пошли четырнадцатого марта, расставшись с Сизовым?

— Сюда, в Дом офицеров. У нас была работа.

— В котором часу вы расстались?

— Что-то около девяти.

— И пошли сразу в Дом офицеров?

— Да.

— А мне сказали, что четырнадцатого марта ваш джаз до двадцати двух часов десяти минут играл без барабанщика.

— Я вначале зашел в библиотеку.

— Взять книгу?

— Да. «Казаки» Льва Толстого...

— Интересная повесть.

— Еще не прочитал. Со временем совсем плохо.

— Это точно. Извините за старческое любопытство. Друзья ждут вас в буфете.

— Да что там, — ответил Жан. — Сизов был хороший парень.

ЛЮБОПЫТСТВА РАДИ

Танго было старым, довоенным. Очень тоскливым и немного надрывным. Мелодия рождала банальные картинки томной, знойной жизни, свидетелем или участником которой Каиров никогда не был, но он видел такую жизнь в заграничных кинофильмах и даже слышал именно это танго в одном из них. Он забыл название ленты. Но кадры, как мусор, всплывали в памяти — берег океана, мужчина в пробковом шлеме и яркая женщина, с мольбой глядящая ему в глаза. Попугаи на пальмах, обезьяны...

Чужая тоска, чужие страсти. Дешевые, словно грим. И вот эта музыка, рожденная где-то далеко для других людей, для других печалей и радостей... Почему она здесь? Почему люди движутся в такт ей, повинуясь словно приказу? Хорошо это или плохо?

Подумать бы на досуге. Но когда он будет, этот досуг?

Выбравшись из танцзала, Каиров свернул под лестницу и увидел, что дверь в библиотеку приоткрыта. Он вошел. Роксан сидел по одну сторону перегородки, Татьяна по другую. Роксан встал, он был обязан встать при появлении полковника. Спросил:

— Вам нравится наш джаз?

Татьяна смотрела настороженно.

— Я достаточно стар, чтобы любить такую музыку, — ворчливо ответил Каиров, посмотрел на Роксана неприветливо.

Роксан все-таки смутился, но вида не подал:

— Предпочитаете симфонии?

— Марши. Они напоминают мне дни моей молодости. — Каиров повернулся к Татьяне: — У меня к вам одна просьба. Не могли бы вы дать мне почитать «Казаков» Льва Толстого?

— Книга на руках. Ой, надо напомнить Жану, чтоб вернул. Он всегда так: возьмет и держит месяцами.

Каиров вздохнул, бросил взгляд на стул, однако не сел. Сказал:

— Так уж и месяцами. Может, человек и взял ее совсем недавно.

— У меня отличная память. — Татьяна порылась в картотеке. Вынула абонементную книжку. — Смотрите, четырнадцатого марта. Он тогда еще просидел здесь чуть ли не весь вечер. Анекдоты глупые рассказывал.

— На нет и суда нет, — развел руками Каиров.

— Возьмите что-нибудь другое, — предложила Татьяна.

— Только из классиков.

— Есть Горький, рассказы.

— Это можно.

Когда Каиров проходил мимо столика дежурного администратора, услышал голос Сованкова:

— Добрый вечер, товарищ полковник. Как жизнь?

Каирову нравился этот однорукий мужчина, по-житейски мудрый, приветливый. Он остановился, пожал ему руку. Откровенно сказал:

— День суматошный выдался. А годы уж не те.

— Старость не радость, — грустно согласился администратор. — Жизнь пролетает быстрее, чем сон.

— Сны бывают долгие.

— Есть люди, которые не видят снов.

— Есть. — Каиров хотел было продолжить путь, но вдруг спросил: — Вы хорошо знали майора Сизова?

— На нашей работе трудно сказать: хорошо, плохо. Скорее поверхностно. Фамилия, имя. Номер комнаты, в которой живет... Ну и еще... В какое время уходит, в какое возвращается.

— Когда видели Сизова в последний раз, не помните?

— Очень хорошо помню. В тот самый вечер, четырнадцатого. Уходя из гостиницы, Сизов положил на этот столик ключ. И можно сказать, мне доложил. Говорит: «Петр

Евдокимович, если будут звонить из штаба, вернусь после двенадцати. С Мишей Роксаном к девочкам смотаемся...»

НОЧЬ

— Страшно, — сказала Татьяна. — Сегодня останешься у меня.

— Раньше ты не позволяла мне этого, — спокойно ответил Роксан.

— В твоих словах я не слышу радости.

— В пять часов утра я выезжаю в Сочи за продуктами.

— Нельзя отменить поездку?

— Приказ может отменить лишь старший начальник.

— Я все забываю, что ты офицер.

— Нужно тренировать память.

Они шли темной улицей. Небо над ними было безлунное. И звезд на нем казалось меньше, чем обычно.

— Ты обещал подарить мне фонарик, — сказала Татьяна.

— Вот он, — Роксан вложил фонарик ей в руку.

Татьяна нажала кнопку. Пятно яркого света скользнуло по листве. Замерло.

— Сирень, — сказала Татьяна. — Персидская.

— Наломаем.

— У меня есть большой букет.

— Пусть будет два, — Роксан перемахнул через невысокий забор. И затрещали ветки...

Они поставили букет в литровую банку, потому что цветочница была занята другим букетом, и наполнили банку хлорированной водопроводной водой.

— Обычно я не опускаю цветы в такую воду, — сказала Татьяна. — Я наливаю воду, часов пять даю ей отстояться. Пока выйдет хлорка...

— За это время сирень завянет, — возразил Роксан.

— Сирени много.

— Да. Но скоро она отойдет...

Лежали молча. И она слышала в темноте его спокойное дыхание. И видела его голову, камнем вминавшую подушку. Она знала, что он не спит. И ее угнетало затянувшееся молчание.

Окно было распахнуто. Поздняя луна заглядывала в комнату вопросительно, но дружелюбно. Прохлада, свежая, ночная, приятно щекотала кожу лица, плеч, рук...

Вдруг он спросил:

— Ты меня любишь?

— Как ты меня.

— Это не ответ.

— И не вопрос.

— Ты ничего не хочешь сказать мне?

— Хочу.

— Говори.

— Со мной случилась беда.

— Со мной тоже.

— У меня страшная беда.

— У меня страшнее.

— Нет. Страшнее беды быть не может. Ко мне приходила женщина. Она сказала, что Сизов был немецким шпионом.

— Почему же до сих пор жива?

— Я подписала бумажки. И получила деньги.

— Много?

— Десять тысяч.

— Что ж теперь будешь делать?

— Я хочу убежать, скрыться.

— Куда убежать, где скрыться?

Он лежит неподвижно. Не смотрит на нее. Не хочет видеть ее лица. Больших, напуганных глаз.

— Не знаю, — отвечает она.

— Убежишь — запутаешься еще больше... Это не выход. Слушай меня. Завтра позвони Каирову. И, не называя себя, попроси встретиться с ним где-нибудь в безлюдном месте. Допустим, в городском саду. Во всем ему признайся. И еще скажи, что я приду к нему вечером, как только вернусь из Сочи.

— Почему в безлюдном месте? — спросила Татьяна.

— Возможно, они следят за тобой.

— Они... Они и тебя хотели завербовать?

— Да. Только обломилось, не удалось.

— Почему же ты жив?

— Потому что мертв другой.

— Значит, это ты Сизова... — прошептала она.

Он повернулся, посмотрел ей в глаза...

Михаил Георгиевич Роксан вышел из квартиры Татьяны Дорофеевой в четыре часа пятнадцать минут. Он не заказал машину. И теперь должен был добираться до места службы пешком.

Утро только-только зарождалось. Небо было еще серое. Видимость плохая. Под аркой, которая выводила из внутреннего двора на улицу, сгустилась темнота.

Неизвестная женщина, отделившись от стены арки, вдруг преградила Роксану дорогу. Фигура женщины казалась прямой, как столб.

— Руки от пистолета! — повелительно сказала женщина. — Вот так... Поклон от Сизова, Роксан.

АЛЕНКА ЕДЕТ В ГОРОД

Завхоза в госпитале не любили. Во всяком случае, медицинские сестры. Он был стар, скуп, подозрителен. Словом, мужик паршивый. И молодость раздражала его. Медицинским сестрам вредил он обычно по мелочам. Кровать с прорванной сеткой предложит, электрическую лампочку не выдаст: не положено, дескать, старая лампочка сгорела раньше времени. С врачами же и с другими старшими начальниками завхоз был заискивающе вежлив, внимателен. И начальство благоволило к нему. И запросто величало Федотычем.

Аленка давно мечтала сделать шестимесячную завивку. У нее были светлые прямые волосы, а ей хотелось, чтобы они вились, как у барашка или хотя бы как у хирурга Сары Ароновны. И Аленка накручивала их на бигуди. Но уже утром они развивались и обвисали, как развешенное белье. Женского мастера парикмахерская при госпитале не имела. Выбраться же в городскую парикмахерскую не так просто: или машины попутной не было, или машина шла в город, а Аленка дежурила.

И вот сегодня утром Аленка свободна, девчонки кричат:

— Старый хрыч в город едет.

Аленка — к завхозу:

— Федотыч, я с тобой.

Федотыч морщится, как от дыма:

— Я в кабине тесниться не буду. У меня ревматизма.

— А в кузов?.. Можно я в кузове?

— Тама цистерны, керосином пропахшие.

— Ничего. Я как-нибудь, — уговаривает Аленка.

— А что тебя в город несет?

— Завивку сделать.

— Завивку, — передразнил Федотыч. — Нужна она тебе... Провоняешься керосином — в парикмахерскую не пустят.

— Прорвусь!

Цистерн в кузове четыре. Железные, черные, высотой с Аленку. Они теснятся к кабине, когда дорога идет под уклон. И пятятся к заднему борту, если дорога забирается вверх. Нелегко с ними Аленке.

Аленка смотрит на небо. Ей очень хочется сделать перманент и увидеть того капитана, серьезного и доброго, который приезжал в госпиталь выяснять про Погожеву. Интересно: нашли ее или нет? Но куда интереснее, женат ли капитан. Если женат, то лучше и не встречать его. Надежды, глупые, точно куры, в голову лезут. А вдруг капитан холост? Глаза у него правильные и лицо тоже. И она нравится ему. Разве забудешь его поцелуй? Не в щеку или в лоб, а в губы. Так целуют, когда любят. А может, нет?

Машина въехала в город. Аленка постучала по крыше кабины.

— Остановите!

Федотыч приоткрыл дверку.

— Я слезу здесь, — сказала Аленка.

— Давай.

Машина остановилась. Аленка спрыгнула на обочину.

— Где мне вас искать?

— Возле нефтеперегонного завода, — ответил завхоз.

— Не уезжайте без меня, — попросила Аленка.

— А ты не канитель тута... Не позже часа к проходной объявляйся.

— Хорошо, — сказала Аленка.

Она быстро разыскала парикмахерскую. Это был низкий беленый дом, стоящий среди развалин, в одной половине которого размещалось пошивочное ателье военфлотторга, в другом — парикмахерская. В мужском зале была очередь. Женский — удача — пуст! Полная армянка в белом халате сидела перед зеркалом и ела вареную картошку.

— Здравствуйте, — сказала Аленка. — Я хочу сделать завивку.

— Здравствуйте, — приветливо ответила полная армянка. — Ешь картошку.
— Спасибо. Я сыта. Мне только завивку.
— Фиксаж есть?
— Какой фиксаж?
— Простой... Без фиксажа нельзя.
— Как же быть? — огорчилась Аленка. — Я специально приехала из госпиталя.
— Раненая?
— Санитарка.
— Кормят ничего?
— Хорошо кормят.
— А работы много? — поинтересовалась армянка и спрятала миску с картошкой в тумбочку.
— Хватает.
— У нас, наоборот, клиента нет. До красоты ли теперь женщине?
— Никто и не приходит?
— Так... Изредка.
— Плохо, — согласилась Аленка. — До свиданья. Я пойду.
— Зачем? Не торопись... Поговори что-нибудь...
— Фиксажа нет.
— Обожди. Куда спешишь? — улыбнулась полная армянка. — Фиксаж поищем.
— А духи?
— Найдутся, — улыбнулась армянка.
— «Красный мак»?
— «Красный мак».

Удачным ли получился перманент, судить трудно. Годков он Аленке прибавил, но лучше ее не сделал. И с перманентом, и без него она все равно была хорошенькой.

Часа через полтора Аленка вышла из парикмахерской. Город она знала плохо. Поэтому спросила у первой встретившейся женщины, как пройти к нефтеперегонному заводу. Выяснилось, что завод не близко, у подножья горы, вершина которой темнела в далекой голубизне. Транспорт в городе ходил нерегулярно, с перебоями, но Аленка все же дождалась автобуса. Приземистый, пузатый, с одной лишь дверью возле кабины водителя, автобус был переполнен. Аленка стояла между мешками и корзиной, сплетенной из прутьев. И другие люди стояли в проходе.

Налегали друг на друга, когда автобус тормозил или разворачивался.

Оказалось, что до завода автобус не идет. Он останавливается возле моста и делает там круг.

Речка под мост текла с самых гор. Быстрая, неглубокая. Она пенилась и бурлила вокруг камней. Камни были очень хорошо видны с моста: большие, завернутые в зелено-желтый мох.

Мост заслонялся шлагбаумом. И солдаты с автоматами на груди стояли возле маленького домика, который, очевидно, служил караульным помещением.

Документы медицинской сестры пришлись по душе солдатам. Они улыбались Аленке, шутили. Один сказал искренне:

— Оставайся служить с нами. Не обидим.

— У вас свои есть, — ответила Аленка.

— Зачем так говоришь? Зачем обижаешь? — солдат черненький, с усиками. Грузин, наверное.

— Не сердитесь, ребята, — Аленка помахала им рукой.

Она свернула с шоссе на дорогу, вымощенную крупным камнем.

Громадные нефтехранилища, закамуфлированные зелеными и коричневыми пятнами, возвышались по обе стороны дороги. Вокруг хранилищ была ограда из колючей проволоки и ходили часовые. Один, совсем еще мальчишка, не удержался, крикнул:

— Привет, землячка!

— Бывай здоров, земляк, — ответила Аленка.

— Может, встретимся?

— После войны! Когда у тебя борода расти станет.

Потом пошли дома барачного типа. А перед заводом площадь. Через нее железнодорожный путь, выходящий на сортировочную станцию.

На площади магазин, пошивочная мастерская, общественная уборная. Время — полдень. И похоже, что на заводе перерыв. Возле проходной людно. У магазина очередь.

В центре площади — стоянка для машин. Их там около дюжины. Грязные, и камуфлировать не надо. Вода в луже шипит и хлюпает, ходит волной, когда машина выезжает на стоянку. Солдаты-водители морщатся и даже чертыхаются: выходить из машины приходится прямо в лужу, желтую, густую.

Машины из госпиталя среди остальных нет. «Неужели старый хрыч уехал не дождавшись?» — подумала Аленка.

Дежурный по бюро пропусков ответил:

— Да. Из Перевального была машина. Полчаса назад уехала.

«Вот же сволочь Федотыч! Как теперь добираться?» Стоит Аленка растерянная, словно ее обокрали. Того и гляди заплачет.

— Что же мне делать? — спрашивает жалобно.

В бюро пропусков говорят:

— К шоссе выйдите. Голосуйте. На попутных доберетесь!

Через проходную идут, идут толпой женщины. И обрывки разговоров доносятся до Аленки обыкновенные, женские.

— С жидким мылом сплошное мучение...

— А ты замачивай в мыле.

— Я ей говорю: «Что толку? Он к тебе ходит, а у самого семья». Она в ответ зубы выскалила. Как загнет... Сама знаешь.

— Знаю.

— На коленках штанишки опять протер. Веришь, залатать нечем...

— Фаина крем на свином жиру делает, сурьмы в него добавляет...

В раздумье, так и не решив, что же ей делать (легко сказать: выходи голосуй на дороге. На эту дорогу через весь город добираться надо), подошла Аленка к окну. И сквозь запыленное стекло вдруг видела возле проходной Серафиму Андреевну Погожеву. Не поверила себе, присмотрелась: Погожева...

— Ой! — Аленка опять стучится в окошко дежурного. — Здесь женщина у проходной. Ее контрразведка ищет. Помогите задержать. Это очень важно.

— Где-то милиционер был. Товарищ старшина!

Старшины нет долго. Или время остановилось, замедлилось. Наконец вышел старшина.

— Вот она, эта женщина, — показывает Аленка.

Старшина Туманов смотрит в окно. Говорит тягуче:

— Известная женщина. Откуда ее знаете?

— Она работала в нашем госпитале.

Старшина чешет подбородок. Молчит. Думает, наверное.

«Сюда бы, конечно, лучше офицера, — рассуждает Аленка. — Этот старшина, кажется, порядочный валенок».

— Идите поговорите с ней... — наконец говорит Туманов. — Нужно отвлечь ее внимание. А то начнет палить... Люди пострадают.

— Старшина, возьмите сотрудников нашей охраны, — предлагает дежурный по бюро пропусков.

— Не нужно, — спокойно отвечает Туманов. — На этот раз не уйдет.

Аленка уже возле проходной. Радостно, по-девчачьи восклицает:

— Серафима Андреевна!

Не выдержала Погожева, вздрогнула. Рука в кармане. Но вот узнала Аленку. Напряжение сходит с лица.

— Серафима Андреевна, как хорошо, что вы живы. А мы все думали, что вы попали под бомбежку. Думали, с вами несчастье приключилось...

— Нет. Все хорошо, Аленка. Вернулась я. А ты какими судьбами здесь?

— С машиной я приехала. Завивку сделать. Как? Хорошо получилось?

— Зря, Аленка. Без перманента ты была милее.

— Вы меня огорчили... — расстроилась Аленка. Расстроилась самым искренним образом.

Это не ускользнуло от наблюдательной Погожевой. И она сказала совсем спокойно:

— Ничего. Завивка долго не держится... Все же скажи, что ты делаешь возле завода.

— Старый хрыч... — Аленка смущенно поправилась. — То есть Федотыч меня бросил. Не дождался...

В зто время старшина Туманов был уже за спиной Погожевой.

— Руки вверх!

Все поняла Погожева. Лицо — мел. Глаза словно укрупнились. Подняла руки. Но, поднимая, сунула что-то в рот. И, обмякнув, упала наземь.

Невезучий человек старшина Туманов.

ВСТРЕЧА, НАЗНАЧЕННАЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

Женский голос — не скажешь, что он напряженный или взволнованный, может, немного виноватый — в трубке:

— Товарищ Каиров, мне нужно срочно увидеть вас. Давайте встретимся сегодня в десять часов утра в городском саду у скульптуры «Русалка».

— С кем я говорю?

— Вы меня знаете. Но... я не хочу называть свое имя.

— Кажется, Дорофеева, — сказал Каиров Чиркову, положив трубку.

— Возможно... — согласился Чирков. — Вполне вероятно. Вы произвели на нее впечатление как мужчина.

— Не следует быть циником, сынок, — недовольно ответил Каиров.

Последний раз в этом парке Каиров был с женой семь лет назад. Тогда здесь желтели ровные дорожки, и кусты стояли ухоженные, подстриженные, и фонтаны вздымали гребни, как петухи. На плоской крыше гостиницы «Южная» был летний ресторан и танцевальная площадка. Трио музыкантов — степенные холеные мужчины в белых фраках — играли танго и блюзы. Ресторан был дорогой. Публика сюда приходила солидная. Мужчины и женщины средних лет. Официанты подавали хорошие вина, и кухня отличалась изысканностью.

Теперь на крыше гостиницы «Южная» стояли три зенитных пулемета. И маскировочные сети свисали на стены, как покрывала.

Дорожки парка все были в темных трещинах. Кусты разрослись. Скульптура «Русалка», мытая дождями, сушенная ветрами, казалась сморщенной и постарелой. Татьяна ходила по танцевальной площадке, на которой мокли еще осенью облетевшие листья. Женщина, как всегда, была тщательно напудрена и подкрашена, но синеву под глазами не удалось скрыть. И глаза от этого казались еще большими, чем обычно.

— Вот, — сказала Татьяна. И вынула из сумки пачку денег.

— Так много, — сказал Каиров.

— Десять тысяч, — сказала Татьяна. И добавила: — Я написала за них расписку.

— Понимаю, — сказал Каиров. — Говорите...

Он взял ее под руку. И они, словно прогуливаясь, пошли заброшенной аллеей, где стояли облезлые лавочки и прошлогодние листья мусорились под ногами. Она говорила тихо, но очень искренне. И Каиров думал, что Тать-

яна, в сущности, неплохой человек, может, только избалованный. В последнем виноваты ее красота и мужчины. Впрочем, давно подмечено — нет ничего быстротечнее и ненадежнее, чем красота женщины.

— Вы полагаете, что Роксан убил Сизова, — сказал Каиров.

— Я так поняла... Он не сказал точно. Но можно было догадаться.

— Сизов знал, что Роксан спекулирует продуктами?

— Знал.

— Картина проясняется... Зная о махинациях Роксана, Сизов пытался его шантажировать. Роксан не мог отказать. Он понимал, что отказ означает смерть. Возможно, он тоже дал расписку. В тот самый вечер, когда Сизов оставил Дешина с машиной у трансформаторной будки, а сам пошел к Роксану. Ведь Роксан снимает квартиру в Рыбачьем поселке.

— Я ни разу не была у него.

— Я был. Я сразу подумал об этом. Но хозяйка ничего не могла сказать. Она лишь подтвердила, что Роксан приехал домой около восьми, поужинал и лег спать. Вся беда в том, что и она рано уснула.

— Как?! — ужаснулась Татьяна.

— Нет, нет... Хозяйка старушка. Скорее всего Роксан вылез через окно. Если так, то убийство Сизова не было случайным, стихийным актом. Видимо, давая согласие работать на немецкую разведку, Роксан хотел прежде всего выиграть время. Но Сизов поверил ему. И потерял бдительность. Они пришли к машине. Увидев мертвецки пьяного шофера, Роксан сообразил, что провидение дает ему славный шанс. Выбрав момент, он бьет Сизова гаечным ключом по затылку. Сизов был в шапке. На ней сохранился след удара. Кстати, эксперт, полагая, что Сизов был в фуражке, решил, будто удар был нанесен предметом, завернутым в тряпку... Тело он бросает под колеса и спускает машину с тормозов. Он делает одну ошибку — уносит с собой фляжку, в которой были остатки водки.

— Фляжка — ошибка? — удивилась Татьяна.

— Сама фляжка не очень нужна, но ее отсутствие навело на мысль, что на месте преступления был третий человек. Взволнованный происшедшим, он чувствовал необходимость выпить. Может быть и другое объяснение. Не будем гадать, попросим рассказать об этом Роксана.

— Он все расскажет.

— Вы уверены?

— Он сам послал меня к вам. И обещал встретиться с вами по возвращении из Сочи.

— Хорошо. Обождем.

— Я все рассказала, товарищ полковник. А теперь отведите меня в камеру.

— До конца войны? — спросил Каиров.

— До конца войны... — ответила она устало.

— А кто победит? Как вы думаете? Мы или немцы?

— Мы.

— Сидя в камере? Запремся все в камеру и будем ждать, когда кончится война А кто-то будет приносить нам еду. За нас сражаться... Несерьезный разговор, Таня. Война не состязание джигитов. В ней зрителей нет. Или ты враг, или друг. Раз пришла к нам, давай идти вместе — локоть в локоть...

— У меня не получится, — грустно ответила она.

— Мы поможем. Ты нам веришь?

Она нахмурилась. Покачала головой:

— Чиркову я не верю вообще.

— Мне?

— Вам?.. Ну... Не очень чтобы верю.

— А ты поверь, — попросил Каиров. — Без этого нельзя. Я с гражданской войны в контрразведке. Контрразведка — это наука. Контрразведка — это искусство. Контрразведка — это импровизация. Но еще она... и вера! Вера в товарищей, вера в справедливость твоей борьбы.

— Вы мужчина. Вас специально учили этому.

— Специально меня не учили ничему. Даже грамоте... Мой отец чистил ботинки на центральном базаре города Баку. И был уверен, что земля плоская, как лепешка. Я бродил по свету и клевал зерна знаний где придется и когда придется... Единственно, что я понял сразу еще босоногим пацаном, — я понял, что хочу счастья и для себя, и для людей. А ты, Таня, хочешь счастья только для себя.

Она не возразила. Она ссутулилась, сказала, глядя в землю:

— Люди обо мне не сильно заботятся.

— Даже наш разговор свидетельствует о неправоте твоих слов. За это время я успел бы составить протокол, допросив тебя как немецкую шпионку.

— Что я должна делать? — она выпрямилась, посмотрела решительно.

— Ждите.

— Кого?

— Человека, который придет с паролем.

— Он убьет меня?

— Скорее всего нет. Мы примем все меры, чтобы этого не случилось.

— А если он не придет?

— Это из области догадок. Наберитесь терпения.

— Если ко мне придут с паролем, как я сообщу вам?

— Об этом условимся. Сегодня же. До свиданья. Не будем выходить вместе.

Каиров скрылся в аллее. Небо было хмурое. Листья не блестели. Чуть покачивались в ожидании дождя. Глухо гудели машины, двигались по дороге в порт. Каиров обождал, пока Татьяна вышла из сада, и только потом пошел к своей машине.

В особом отделе его с нетерпением ожидал Чирков. Первое, что сказал Каиров, войдя в кабинет, было:

— Нужно задержать Роксана.

Первое, что услышал в ответ:

— Интендант Роксан исчез. Утром он должен был ехать с автоколонной за продуктами, но на базу не явился, в управление тыла не приходил, дома не ночевал.

— Немедленно обеспечьте охрану Дорофеевой, — распорядился Каиров.

ШИФРОВКА

Вызвав командира комендантского взвода, Каиров приказал взять людей и тщательно осмотреть развалины и пустыри в районе улицы, где жила Татьяна Дорофеева. Он предполагал, что если Роксан стал жертвой, то убийца мог поджидать его лишь у дома Татьяны, потому что уже через квартал была площадь. И на нее выходило шесть улиц. Там постоянно дежурили военные и милицейские патрули. Другой конец улицы заканчивался тупиком. Гора там лохматилась зарослями шибляка. И еще был небольшой карьер правее улицы, за последними домами, утопающими в раздольных садах.

В штабе Чирков начал рассказывать Каирову:

— Мирзо Иванович, старшина Туманов задержал было Погожеву.

— Я все знаю... Тебе, Егор, привет от нашей милой санитарки. От Аленки.

— Она была в городе?

— Была — не то слово. Она опознала Погожеву.

— Труп в морге.

— Что при ней обнаружено?

Чирков открыл высокий желтый шкаф. На второй полке лежали: пистолет, портсигар, пудреница, стопка денег, хлебные карточки, записная книжка, клочок бумаги и черная женская сумочка.

— Сумку тщательно осмотрели?

— Так точно!

— Записная книжка?

— Ничего существенного... Самое любопытное вот это. — Чирков осторожно взял клочок бумаги. Он был размером в половину тетрадного листа. Желтоватый, плотный. Сложенный в несколько раз. На одной стороне — крупные буквы черной тушью:

ЕЙСКОГО КИН
КИХ КОРОЛЕВ

С другой стороны лист был чистым.

— Что означает эта криптограмма? — спросил Каиров.

— Еще не выяснил. Тайнопись с обратной стороны. Обнаруживается только при нагревании. Потом опять исчезает.

Чирков положил клочок бумаги на стеклянный, молочного цвета колпак настольной лампы, включил свет, прижал бумажку пальцами.

Вскоре, словно в проявителе, стали появляться колонки цифр...

— Шифр.

— Он самый...

— Знать бы, сколько времени потребуется нашим специалистам на его разгадку...

ГРЕБЕНЬ С СЕКРЕТОМ

Комната пропахла нитками. Запах ниток был здесь всегда, как и всегда были потолок, стены, окна, ножная швейная машина марки «Singer» и портновские ножницы,

где вместо второго кольца был продолговатый овальный проем, в который вмещались все четыре пальца.

Деньги кружили по комнате. Они кружили не так, как ветреной осенью кружат пожелтевшие листья, легкостью и расцветкой своей напоминающие неугомонных бабочек. Деньги летали тяжело, словно бумажные голуби. Это были крупные сторублевые купюры темно-сизого цвета.

Никогда раньше в жизни Жан Щапаев не видел такого обилия денег. Равно как и не видел в таком диком состоянии свою родную матушку Марфу Ильиничну.

Обезумевшая, с распущенными волосами, она ползала на полу, сгребая деньги растопыренными пальцами, которые казались ему в эту минуту клешнями пресмыкающегося. Она произносила какие-то нечленораздельные звуки. Но он понимал, что матушка по-прежнему выкрикивает слово:

— Погубил! По-гу-бил!

Это он, Жан, погубил ее?

А может, наоборот?

Два дня назад, под вечер, когда небо было уже сумрачным и лил мелкий, но по-весеннему холодный дождь, к ним в дом пришла женщина с небольшим чемоданчиком в руках. Она сказала, что работает медицинской сестрой в госпитале Перевальном, и попросилась остановиться у них в доме на два дня.

— Что вы! Что вы! — запротестовала Марфа Ильинична. — Вот так просятся на два дня, а потом и за год не выгонишь.

— Избави бог, — сказала женщина. — Я говорю правду.

— У нас тесно. Мы чужих не пускаем. К тому же есть строгое указание милицейских властей насчет прописки.

Женщина положила на стол пятьсот рублей и сказала:

— Мне порекомендовали обратиться к вам наши общие друзья.

— Какие еще? — настороженно спросила Марфа Ильинична, не сводя, однако, взгляда с денег.

— Те, что снабжают вас продуктами.

— Только на два дня, — не задавая дальнейших вопросов, согласилась Марфа Ильинична и взяла деньги.

Когда женщина сняла пальто, то Марфа Ильинична узнала бежевое платье, которое около года назад шила Дорофеевой. Как тут не спросить:

— А что же Танечка не могла вас приютить?

— Она ждет мужчину.

Не вступая дальше в разговоры, женщина легла спать, но среди ночи куда-то ушла. Вернулась под утро. Однако побыла дома совсем недолго... И уже второй день не возвращалась вовсе.

Под кроватью остался ее потертый чемоданчик. Он был заперт. Но любопытная Марфа Ильинична не утерпела, вскрыла замок. И обомлела. Весь чемодан был заполнен пачками денег. Новых сторублевых денег. Больше в чемодане не было ничего, если не считать женского гребня из какой-то пожелтевшей кости.

— Ой, что ж делать? Ой, что ж делать? — Она произнесла эти слова так растерянно, будто отстала от поезда и оказалась на незнакомой станции без вещей и без копейки. — Ой! Что ж делать?!

— Сообщить в милицию, — подсказал Жан.

— Ты что? Сказился? — она посмотрела на сына с такой злобой, что он сразу поник и прижался к стене, точно хотел ею заслониться.

Но Марфа Ильинична уже забыла о Жане, и вновь повторила старую, как мир, фразу:

— Ой! Что ж делать?!

Потом, опомнившись, она поспешила к окну, суетливо задернула занавеску.

— Одни гроши! Чемодан грошей!

— И гребешок, — напомнил невпопад Жан.

— Его вначале кипятком обдать надо. Может, она шелудивая, — деловито ответила Марфа Ильинична. Она вздохнула глубоко, печально. Сказала тихо: — Где же нам их закопать? — И сама себе ответила: — Лучше в погребе.

— Что вы, мамочка? — осмелился молвить слово Жан. — А вдруг хозяйка возвернется?

— Ворюга она, а не хозяйка. Я ей возвернусь. Я ее мигом за решетку отправлю. Ступай за лопатой.

Жан боялся этих денег. Откуда такая сумма может оказаться у медицинской сестры? Вдруг она из воровской шайки? Ее дружки зазря состояние не упустят. Они семь шкур снимут и с Жана, и с его мамочки.

Когда он вернулся из сарая с лопатой, довольная и

улыбчивая Марфа Ильинична поливала из чайника гребень. Пар поднимался над миской. И пахло костью или какой-то эссенцией.

Тогда-то Жан и увидел, что лицо матери странно изменилось. Она опустила чайник. И сказала:

— Посмотри:

Гребень лежал в горячей воде. Но теперь он был совсем не таким, как в чемодане. На желтой кости четко и ясно смотрелись буквы латинского алфавита. Они располагались напротив зубьев. И каждый зубец имел свою определенную букву или сочетание букв.

— Ма-ма, — выдохнул Жан. — Это таинственное что-то... Я боюсь.

— Сничтожить! Надо в момент сничтожить! — решила Марфа Ильинична быстро и бесповоротно. Она всегда и только так принимала решения.

— Нет! Этого нельзя делать, мама. Это нужно снести в милицию.

— Неси! — мрачно пошутила она. — Может, орден дадут...

— И деньги тоже, мама!

Вздрогнула Марфа Ильинична, потерла ладонь о ладонь, крепко до хруста зажала пальцы. Усмехнулась через силу — не понравился, насторожил ее голос сына. Сказала:

— Господь с тобой. Дыхни!

— Я же не пью, мамочка. Деньги не наши. Их надо снести властям.

— Не кричи, сынок. Не кричи... Денег я тебе не отдам. И милиции не отдам! Кукиш ей!

— Вы сами кричите, мама! И кричите глупости!

— Нет... Нет... А может, гребень и не тайный. Может, его просто какой заграничный умелец делал. Так вот — с фокусом.

— Мама, не обманывайтесь. Ведь деньги. Столько денег. Откуда они у медицинской сестры?

— Не наше дело. Не наше... Сничтожим гребень — и все.

— Нельзя, мам. Война! Если она шпионка, если ее власти ищут... Тогда судить нас будут за то, что мы врагу способствуем. И даже очень расстрелять могут...

Он хотел убедить ее доводами. Хотя и не верил в такую возможность.

— Матерь божья! Прости... Все на себя возьму. Я без

сына все сделала. И гребень, значит, сничтожила, и деньги забрала. А ты на работе был...

— Нельзя, мама.

Но она уже поспешила к печке, открыла заслонку и кинула в печь гребень.

Вначале ему пришлось отбросить мать на пол, потом сунуть руку в огонь. Счастье, что кость на гребне не вспыхнула. Она будто запенилась по краям. И все.

Он, словно боясь, что пыл его угаснет, пропадет решимость, побежал в другую комнату, схватил чемодан квартирантки.

Но мать не выпустила его из дома. Она вцепилась в чемодан. И Жан тащил ее до самой двери. А она кричала:

— По-гу-бил! По-гу-бил!

У двери чемодан распахнулся. Деньги вывалились. Она кинулась на них, пытаясь накрыть телом. Потом стала рвать пачки. И бросать. И деньги кружили по комнате.

Мать выла. Может быть, она сошла с ума.

Выслушав Жана Щапаева, Золотухин отвез его к Каирову.

Мирзо Иванович долго рассматривал гребень. Сказал Щапаеву:

— Молодец, ты угадал, это шифр. — Потом обратился к Золотухину: — Дмитрий, прояви находчивость. Добудь бутылку вина. Мы должны выпить с этим парнем.

ЗАБОТЫ КАИРОВА, ЗАБОТЫ ЧИРКОВА

Расшифрованный текст Каирову принесли лишь под вечер.

В короткой записке Японец сообщал Кларе, что за устойчивую связь с центром отвечать не может. Профессиональной радиоподготовки не проходил, стал радистом по случаю.

Нефтеперегонный завод, по его мнению, — дело сложное. Он никогда раньше диверсиями не занимался. Своей задачей считал сбор информации. Лично встретиться с Кларой не имеет права, таков приказ центра.

Любопытно, но не густо. Кто же этот Японец? Радист по случаю? В Южной тоже был задержан радист. Значит,

им нужна связь. У них что-то раньше случилось со связью...

Каиров захлопнул за собой дверь душного кабинета. На воздух. К набережной. Прыгая с блока на блок — они были громадные, железобетонные, обросшие мягким, как бархат, мхом, — Каиров спустился к морю, очутился возле воды, которая плескалась совсем тихо. Крутоносый катер серебристой окраски шел поперек бухты. Волны, подымавшиеся за кормой, точно крылья, быстро устремлялись к берегу, и море меняло цвет и искрилось, как костер. Сырой воздух чуть различимым маревом висевший над морем и над набережной, источал запахи, самым сильным из которых был запах брома. Каирову здесь дышалось легко и свободно.

Итак, Клара могла искать в штольне передатчик. Нашла она его или нет — записка на этот вопрос ответа не дает. Можно предположить, что она не нашла передатчик. Значит, нужно еще раз проверить эти старые штольни.

Все следует проверять, даже маловероятные предположения. Такова одна из заповедей контрразведки. Как бы ни был хитер и умен враг, он всегда может совершить ошибку, выбрать не самое лучшее решение. Ему могут отказать нервы, изменить выдержка.

Случай с Сизовым тому лучшая иллюстрация. Агент, прошедший разведшколу, был убит интендантским офицером при попытке завербовать последнего... Оборот непредвиденный. Неразоблаченный агент становится жертвой дилетанта. Этот вариант не сразу приходит в голову тем, кто его послал. В гибели Сизова они усматривают прежде всего действия советской контрразведки. Поспешный вывод рождает не менее поспешное решение — Погожева покидает госпиталь в Перевальном. Нервозность явная! Похоже, она оказалась одной из причин провала агента-радиста по кличке Длинный на станции Южная. Впрочем, территориальные органы государственной безопасности и внутренних дел хлеб даром не едят. И, возможно, Длинный совсем не нервничал. Возможно, взяли его чисто и профессионально ребята наши только потому, что оказались опытнее, умнее...

Ладно, не будем отвлекаться.

Погожева, предположим, остается без связи. Вернее, у нее есть связь, аварийная, запасная, через какого-то Японца, которого центр не подчинил ей... Японец не ра-

дист. И не диверсант. Он собирает информацию. Японцем может оказаться очень старый, давно внедренный агент.

Старый, давно внедренный...

Каиров больше не хочет дышать бромом. Вернее, он бы не против, но у него другие заботы. Ему срочно нужно поговорить с начальником гарнизонного Дома офицеров. Очень срочно...

О безопасности Татьяны Чирков позаботился. В читальном зале, углубившись в чтение газет или журналов, постоянно сидел кто-нибудь из оперативных сотрудников. Посты были выставлены и возле дома, где жила Дорофеева. По дороге от места работы ее, разумеется, незаметно должны были сопровождать назначенные Чирковым люди.

Он пришел к ней в библиотеку, выбрав момент, когда там не было посторонних. Она смотрела на него спокойно, без радости и без скорби. Будто никогда не была его женой. Будто они не любили друг друга, не были вместе счастливы.

Он попросил ее пройти с ним за стеллажи. И, заслоненные книгами и полками, они стояли словно в длинном, высоком ящике. За долгие годы он впервые очень близко видел ее лицо. И понял, что кожа у нее не такая гладкая и свежая, как в прошлом. И взгляд другой — лишенный самоуверенности.

Ясно, она не могла знать, для какой цели привел ее за стеллажи Чирков. Конечно, могла догадываться. Но и могла надеяться на иное, лучшее, потому что надеяться никому не заказано.

Протянув бумажку с номерами телефонов, он предупредил:

— Если придут с паролем, позвони по любому из этих телефонов. Спроси: «Вы заказывали «Былое и думы»?» Тебе ответят: «Неделю назад». Тогда скажешь: «Книга поступила».

— Хорошо, — жалобно ответила Татьяна.

— Тебе страшно?

— Ничего. Только... Какой-то тип уже целый час сидит в читальном зале.

— Это наш человек. Не пугайся.

— Роксана нашли?

— Еще нет.

— Они убили его.

— Или он дезертировал. Пожалел, что тебе доверился, и сбежал.

— Нет. Они убили его.

Татьяна говорит убежденно, точно сама видела преступление, но Чирков понимает, что она ничего не видела, что это страх. Обыкновенный, заурядный страх.

Теперь он не чувствовал в душе злости на Татьяну. И сама она вся — обыкновенная, заурядная. Любви к ней у него больше не было. Он даже не очень осуждал ее, полагая, что женщина столь редкой красоты едва ли предназначена для одного мужчины, рядового, обыкновенного. Может, природа, создавая Татьяну, ориентировалась на Александра Македонского или Наполеона...

— Как ты живешь? — спросила она.

— Война.

— Скоро кончится?

— Доживешь, не состаришься...

— Ты когда-нибудь вспоминаешь обо мне?

— У меня редко бывает свободное время.

— Зато я утопаю в нем.

— Каждому свое... Не забудь про «Былое и думы».

— На память не жалуюсь.

«Да, жизнь пообтерла Татьяну, — рассуждал Чирков, шагая по улицам погружающегося в сумрак города. — Как в сказке. Попрыгунья-стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела... А кто успел?»

У штаба Чиркову повстречался командир комендантского взвода, доложил:

— Товарищ капитан, труп Роксана обнаружен. Только не у карьера, где мы искали его днем, а во дворе, под аркой, в водопроводном люке...

Руки у командира комендантского взвода были в грязи и ржавчине. А лицо — синее, словно он замерз.

ЕЙСКОГО КИН
КИХ КОРОЛЕВ

Вечер опускался теплый, лунный. Деревья шелестели листвой, и ветер был ласковый, осторожный. Он не касался земли, а скользил над ней, точно птица. И птицы радовались ему. Пели на разные голоса: звонкие, глухие, писклявые. Птичий гомон заполнял все небо, до самых

звезд. И луна висела над горой... Желтый свет колыхался в море, дрожал на молодых листьях, свинцом застывал в развалинах. Развалины по-прежнему пахли гарью и битой отсыревшей штукатуркой. Но еще они пахли травой. И от этого теплело на сердце.

Лучи прожекторов, взметнувшиеся над городом с вершин ближних гор, приняли на себя небо. И звезды зажмурились и стали мельче.

Чирков сказал:

— Знал ли Роксан что-нибудь о Японце? И кто его зарезал? Неужели женщина?

— В разведшколах и женщин учат многому, — ответил Каиров.

— Это так. Вот если бы нам удалось взять Погожеву живой.

— Она могла не знать, кто такой Японец. И Сизов мог не знать. Здесь есть еще один момент. На мой взгляд, перспективный. Смерть Сизова, исчезновение Погожевой могли оставить Японца в одиночестве...

— Если так, он заляжет, — сказал Чирков.

— Он так и сделал бы, но... перегонный завод. Они жмут на этот завод. Длинный имел задание туда внедриться, Погожеву задержали у проходной завода, в записке Японца Кларе тоже есть упоминание об этом заводе. И очень ясное: «Никогда раньше диверсиями не занимался». Я уверен, центр будет давить на Японца. Скорее всего ему пришлют помощников. Диверсантов-профессионалов. Он должен будет подготовиться к их встрече. Обеспечить надежной крышей и так далее... Вот тут-то он может выйти на Татьяну. И у меня предчувствие, что это случится.

— Предчувствие к делу не подошьешь, — скептически заметил Чирков.

— Мы люди разных поколений, капитан. Может, тебе и забавно, но я верю в могучую силу предчувствий. Я верил бы и в сны, но они мне никогда не снятся...

— Счастливый вы человек.

— Кто знает... Думаю, сны помогали бы мне. Относительно же предчувствий... Наша старушка земля была свидетельницей многих случаев, когда предчувствия сбывались, как приговор.

— Охотно верю. Но считаю, что это не очень надежное оружие против абвера.

— Против абвера нельзя брезговать никаким оружи-

ем. Вот поэтому, капитан, я разгадал тайну «ейского кин ких королев».

— Есть такой город, Ейск, — вспомнил Чирков. — Был там однажды до войны.

— Ейск в данном случае ни при чем, — ответил Каиров. — Вы помните, в Доме офицеров демонстрировался английский фильм «Победа в пустыне»... А в городе, между прочим, трудно с бумагой. Школьники пишут на газетах... И мне не давало покоя, что я где-то раньше видел шрифт с записки Погожевой. Тогда я вспомнил про плакат. Поспешил к начальнику Дома офицеров. К счастью, плакаты сразу не уничтожают. Их используют дважды. С одной и с другой стороны. А здесь кто-то оторвал нижнюю часть плаката. Это было сделано после того, как плакат был снят... Как видишь, Егор Матвеевич, «ейского» нужно читать «Армейского», «Кин» — «кинофотоотдела», «ких» — «Британских», «королев» — «королевских»... Теперь вопрос.

— Кто это мог сделать?

— По логике, прежде всего сотрудник Дома офицеров. Я попросил личные дела всех штатных работников.

— Женщин можно отсечь, — сказал Чирков. — Японец — кличка мужчины.

— Святая наивность, — усмехнулся Каиров. — В практике разведок не так уж мало случаев, когда мужскими кличками наделяли женщин, и наоборот.

— Чего не знал, того не знал, — погрустнел Чирков.

— Это в прошлом, — успокоил Каиров и продолжал: — Дела в полном порядке. Есть одно любопытное, но... можно сесть в галошу... Меня заботит другое... На музыкантов джаза вообще нет личных дел. Второе, плакаты хранятся под лестницей, возле библиотеки. Туда ходят сотни людей...

— Для начала читателей-офицеров можно исключить. По характеру записки Японец представляется мне гражданским человеком.

— Попробуйте, капитан, будем работать в четыре руки. Время не терпит.

ЗВОНОК В БИБЛИОТЕКУ

За всю свою жизнь Татьяна не испытала столько тревоги, сколько за последние два дня. Конечно, человек, знакомый мало-мальски с ее биографией, мог понять, что

жизнь Дорофеевой не была сплошным праздником. Но семейные неурядицы печалили ее не больше, чем дождливая погода. А страха в буквальном смысле она не испытывала вообще.

Она была очень уверена в своей красоте. И лишь порой страдала от сознания, что такая красота пропадает в этом провинциальном городе, где ее некому оценить, понять, восславить.

Сегодня же Татьяна боялась... Проснувшись ночью от какого-то неясного шороха, она долго лежала с открытыми глазами, не только умом, сердцем, но и кожей ощущая, что зло, черное и липкое зло рядом, ее могут убить, что она не бессмертна.

Еще совсем недавно Татьяна не верила в свою смерть. Да, да... Она знала, что в каждом городе и даже маленьком поселке есть кладбища. Она знала, что идет война. Знала, что меняются поколения. Люди приходят и уходят. Но какое-то большущее, словно вселенная, чувство — нет, не исключительности, а скорее вечности — владычествовало в ней давно и безраздельно. Чувство это не было ласковым, добрым, послушным. Давая покой, оно с удивительной жадностью требовало беззаботности, радости, наслаждений.

И Татьяна служила этому чувству верно, преданно. И не было у нее кумира, кроме самой себя.

Страх пришел после встречи с Погожевой. Притащил за собой неуверенность.

Жизнь, казалось, потеряла смысл. Стала тусклой, как запотевшее стекло.

Каиров (он пришел в библиотеку, чтобы вернуть рассказы Горького), посмотрев на Татьяну с прищуром, недовольно гмыкнул. И ворчливо сказал:

— За сутки вы постарели на целых десять лет.

Татьяна прикусила губу, может, стараясь не расплакаться. Щеки ее, оставаясь бледными, порозовели у самых ноздрей.

Тяжелый запах старой бумаги, недостаток света, сереющего за окнами, чуть возвышающимися над тротуаром, заляпанными грязью и зарешеченными, стол в фиолетовых пятнах, как в лишаях, — все это давило, угнетало, раздражало. Каиров не мог скрыть раздражения и не хотел скрывать.

— Зачем вы так сказали? — спросила Татьяна робко и жалостливо.

— Вас как воспитывали папа с мамой? По-новому или по-старому?

— Не понимаю? — когда Татьяна удивлялась, ее глаза становились похожими на глаза ребенка.

— С ремнем или без ремня?

— Мирзо Иванович, — укоризненно сказала Татьяна. И улыбнулась. И платок теперь можно было не комкать в пальцах. За ненадобностью.

— Понимаю, — Каиров приподнял ладонь. — Возможно, я покажусь вам консервативным мужчиной. Но я человек искренний... Я считаю, что на ниве воспитания, если говорить военным языком, ремень снят с вооружения преждевременно.

— Какое счастье, что я не ваша дочь!

— Одна из самых старых и неопровергаемых истин гласит, что человеку свойственно заблуждаться, и вещи, которые он порой принимает за счастье, на поверку оказываются не таким большим счастьем. Скорее наоборот...

— Из этого следует... — в глазах Татьяны было и любопытство, и хитринка, и даже улыбка. И еще что-то... Только не тоска. Нет, нет.

— Из этого следует, — подхватил Каиров, — что нужно взять у начальника Дома офицеров скатерть и покрыть ею стол. Нужно взять тряпку, выйти на улицу и протереть окна. Нужно, наконец, открыть форточку...

— Она не открывается, — пояснила Татьяна.

— Этого не может быть, — сказал Каиров. — Мы заставим ее открываться...

... Визит Каирова приободрил Татьяну.

Но, к сожалению, бодрости этой хватило только на полдня.

Вяло, словно тяжелобольная, Татьяна вынимала абонементные карточки из узкого длинного ящичка, стоящего на ее столе по левую руку. Ящик был старый, некрашеный, утративший первоначальный цвет оструганного дерева, со следами пальцев и чернильными пятнами, выцветшими и совсем еще свежими. Книги отличались ветхостью, заношенностью и пахли, точно несвежее белье.

Посетителей было мало. Они приходили по одному, чаще всего молодые офицеры, красовались перед Татья-

ной, острили, шутили. А она, обычно такая приветливая, отвечала сегодня невпопад, смотрела отчужденно и не улыбалась.

Каждый раз, когда скрипела на поржавевших петлях входная дверь, Татьяна настораживалась и с волнением смотрела в дверной проем, ожидая увидеть чужое, незнакомое лицо, услышать слова пароля. Но лица все были в общем-то знакомые, примелькавшиеся. И взгляд ее угасал.

И она опять оставалась наедине со страхом.

Тот телефонный звонок раздался около трех часов дня. Примерно без семи минут. Татьяна подняла трубку и сказала:

— Библиотека.

— Татьяна Ивановна? — мужской голос был ей незнаком.

— Да. Слушаю.

— Здравствуйте, дорогая Татьяна Ивановна. Мне известно, что у вас есть пианино.

Она вздрогнула и ощутила необычайную сухость во рту, и в горле, и в легких, а ладонь, сжимающая трубку, стала, наоборот, такой влажной, словно ее опустили в воду. Но это, конечно, было не самое главное. Главным и страшным оказалось то, что Татьяна забыла слова ответа.

Сдавленным, не своим голосом она сказала:

— Здравствуйте... А кто вы? А как... как вас зовут?

— Это неважно. Мне известно, Татьяна Ивановна, что у вас есть пианино, — настойчиво повторил мужчина.

— Да, но оно испорчено.

— Могу предложить в обмен мешок картошки.

— Спасибо. Мне нужна мука.

— Вот и хорошо. Договоримся, — весело сказал мужчина. — А сейчас, Татьяна Ивановна, приподнимите свой узкий ящик с абонементами. Прошу вас.

Окончательно растерявшаяся Татьяна приподняла ящик.

— Что вы там видите? — спросил мужчина.

— Паспорт.

— Правильно. Откройте паспорт, и вы найдете квитанцию в камеру хранения. Вам останется лишь сходить на

вокзал и предъявить квитанцию с паспортом, чтобы получить в камере хранения свой чемодан.

— Мой?

— Конечно же.

— А куда его деть?

— Оставьте у себя.

КНИГА ПОСТУПИЛА

По своей натуре, по складу характера Каиров был человеком медлительным. О нем нельзя было сказать, что он тяжел на подъем, или ленив, или апатичен. Но когда он проводил какую-нибудь операцию, то вначале напоминал неуклюжий паровоз, который долго-долго пыхтит на путях, медленно, будто нехотя, трогается с места и лишь позднее набирает крейсерскую скорость, способную вызвать удивление.

Понятное дело, в работе контрразведчика бывают такие случаи, когда, подобно бегуну на короткие дистанции, нужно обладать отличным стартом, но, видимо, Каиров был рожден для далеких расстояний, расстояний, где можно начинать не спеша, приберегая силы для заключительного рывка. Он мог нравиться или не нравиться, но не считаться с ним было нельзя. Каиров придерживался того мнения, что поспешность чаще всего дает хотя и эффектные, но поверхностные результаты.

Работая с молодыми сотрудниками, Каиров считал своим долгом воспитывать их, передавать собственный опыт, вызывать на споры, на разговоры. Любую паузу, свободную минуту он использовал для этих целей. Человек, не знающий его или знающий плохо, мог принять Каирова просто за пожилого мужчину, склонного к нравоучениям. Каиров жалел, что не имел возможности окончить какое-нибудь педагогическое заведение, и понимал, что с методикой дело у него обстоит плоховато.

— Наше поколение, — любил повторять он, — пришло на землю в интересное время, но слишком бурное. Мы многое сделали, но далеко не все, на что имели право.

— А можно ли сделать все? — как-то спросил Чирков. — И как понимать это «все»?

— Условно понимать, Егор Матвеевич. Я полагаю, как ни печально, есть предел человеческим возможностям.

Схематично его можно представить в виде круга. То, что внутри круга, я и называю «все».

— Значит, предел есть?

— В жизни одного человека — безусловно. Тот факт, что само наше существование ограничено временным отрезком, подтверждает мои слова. А если учесть, что и отведенные нам годы мы чаще всего используем не лучшим образом, то... Сами понимаете. Я, например, страдаю из-за отсутствия систематической, фундаментальной подготовки. До многого своим умом доходил.

— Это же хорошо.

— Хорошо, хорошо... Но не продуктивно. Все равно, что самому велосипед изобретать!

В тот день у них был другой разговор. Но он мало чем отличался от приведенного выше. Разговор о жизни, когда высказываются обыкновенные, в общем-то неновые вещи.

Каиров поднял трубку. Татьяна Дорофеева, волнуясь, сказала:

— Вы заказывали «Былое и думы»?

— Неделю назад.

— Книга поступила.

— Вы не могли бы принести ее?

— А где я вас найду?

— Там, где и в прежний раз. Вас будет ждать мой друг.

— Хорошо.

Узкие дощечки паркета, уложенные елочкой, поскрипывали под сапогами Чиркова, медленно ходившего по кабинету. Заложив руки за спину и опустив голову, он смотрел на сухой неначищенный паркет очень сложной цветовой гаммы, где были перемешаны множество оттенков от желтого до темно-бурого. Да, везде и всюду есть оттенки. Людей одинаковых тоже нет, и дел, и поступков...

Как всегда неторопливо Каиров положил телефонную трубку. Откинулся на спинку стула.

— С Дорофеевой кто-то вышел на контакт. Отправляйтесь в городской парк. Там будет ждать Татьяна. Выясните обстановку, в случае необходимости принимайте решение самостоятельно.

— Слушаюсь! — четко ответил капитан.

Внезапно полил дождь. Небо осело. Оно не было темным, а, наоборот, удручало однообразным светло-серым цветом — первым признаком затяжного дождя. Вода оседлала улицы И лужи расползлись по тротуарам, и ручьи затемнели, как трещины.

Чирков, который вышел из штаба в кителе, без шинели, без плащ-палатки, заторопился, перебегая от дерева к дереву, где под зелеными молодыми листьями дождь стегал не так хлестко.

Перед входом в городской парк была открытая площадка. И когда он бежал через нее, то вымок основательно.

Входные чугунные ворота, сорванные взрывной волной, лежали на мокрой щебенке, но тесная кирпичная будка — в безмятежные довоенные времена здесь хозяйничала кассирша, дама солидная, высокомерная, — сохранилась, только покосившаяся дверь больше не закрывалась.

В будке Чирков увидел Татьяну. Она тоже была без плаща. И серый двубортный жакет ее хранил следы дождевых капель.

Она удивленно, но вместе с тем жалостливо и капризно произнесла только одно слово:

— Ты?

А он, готовый к встрече, негромко, без всяких эмоций спросил:

— Что стряслось?

Она торопливо достала из сумочки паспорт и квитанцию в камеру хранения.

— Вот.

И потом быстро-быстро, очень волнуясь, стала рассказывать, как ей позвонили на работу, назвали пароль, затем велели приподнять абонементный ящик, взять паспорт и квитанцию и получить на железнодорожном вокзале чемодан.

Чирков раскрыл паспорт. Он был выписан на имя Деветьяровой Ефросиньи Петровны. Но фотография на паспорте была приклеена Татьяны.

— Что мне делать? — спросила она.

— Я сейчас запишу номер квитанции. Придешь получать чемодан через полтора часа. За это время я успею ознакомиться с его содержимым.

— Хорошо, — сказала Татьяна. — Только мне страшно.

— Крепись, — посоветовал он. — Сама влипла в историю. Никто не виноват.

— Знаю, что сама, — ответила она, — потому и страшно.

— Возьми пистолет, — сказал он, достав из кармана «ТТ».

— Я не умею стрелять.

— Очень просто. Отведешь предохранитель и нажмешь курок.

— Не надо, — она покачала головой.

— Зря... — Он спрятал пистолет.

— Мне оставаться здесь? — покорно спросила она.

— Иди к людям. Тут слишком пустынно.

Татьяна кивнула:

— До свиданья.

— Из камеры хранения чемодан отнесешь домой. И сразу же возвратишься в библиотеку.

Площадь перед вокзалом лежала круглая. В центре — сквер, тоже круглый, как обруч, обсаженный рослыми кустами самшита. Скамейки были пусты из-за дождливой погоды. А люди прятались на вокзале, но все не могли втиснуться в здание, потому много солдат и женщин стояло под фронтоном у входа. И Чиркову пришлось смотреть требовательно и строго говорить:

— Пропустите.

От мокрых одежд шел пар. И сильно пахло хлоркой, которую медслужба, боясь эпидемий, совсем не экономила; пахло человеческим потом, махоркой, бензином, дешевым мылом и еще черт знает чем другим.

Начальник вокзала провел Чиркова в камеру хранения.

— Приемщик — человек надежный? — спросил Чирков.

— Да. Женщина. Наш старый работник.

Они разыскали нужный чемодан. Немного тяжеловатый для своих размеров.

Чирков откинул крышку и увидел два поношенных платья. Синее в белую горошинку и салатное. Капитан осторожно поднял платья. Под ними лежали бруски размером с хозяйственное мыло — толовые шашки.

Она со страхом осмотрела библиотеку, уверенная, что за каждым стеллажом стоит человек, готовый лишить ее жизни. Свет, попадавший через низкие решетчатые окна, едва освещал полуподвал. И Татьяна, подойдя к своему столику, быстро включила настольную лампу. Желтый круг лег на старую газету, измазанную фиолетовыми чернилами, коснулся стенки ящика, где лежали читательские карточки, обласкал черный неуклюжий телефон.

Однако темнота в углах загустела. И помещение казалось Дорофеевой еще мрачнее, еще зловещее...

Выслушав доклад Чиркова, Каиров сказал:

— Хорошо, что вы подменили содержимое чемодана. Плохо, что квартира Дорофеевой оставлена без присмотра.

— Наблюдение есть. Наш человек стоит вот здесь, — Чирков коснулся места на плане города. — Он видит, кто выходит из-под арки и входит во двор.

— В дом Дорофеевой можно попасть через крыши — это раз. Скоро стемнеет — это два. А самое неудобное, что во двор входит много людей.

— Но если кто-то придет за чемоданом... — начал Чирков.

Каиров прервал:

— Он скорее всего откроет его в квартире. Увидит вместо взрывчатки кирпичи и постарается быстро и незаметно скрыться.

Татьяна вздрогнула. Телефон звонил требовательно, тревожно. Она выдохнула в трубку:

— Да.

— Татьяна Ивановна, — голос мужчины, назвавшего пароль.

— Я вас слушаю.

— Вы получили чемодан?

— Да.

— Где он?

— У меня на квартире.

— Хорошо. Пусть полежит до завтра.

— Мне все равно, — раздраженно ответила Татьяна.
— Вы чем-то взволнованы?
— Вам показалось.
— Надеюсь, что это так...

К вечеру распогодилось. Ветер утих. Пришедшие на смену тучам пушистые белые облака висели неподвижно. Небо между ними было не яркое голубое, а дымчатое. И солнце, скатившееся за горы, подсвечивало розово и нежно.

Каиров оставил машину за квартал от дома Татьяны. Сказал шоферу, чтобы не уезжал, дожидался его возвращения.

— Если я не вернусь через час, позвони Чиркову. Пусть он прибудет на квартиру Дорофеевой.

Женщина катила ребенка в коляске. Коляска была очень хорошей, довоенной, заботливо сбереженной. Бледно-зеленая, с белыми колесами и блестящей никелированной ручкой. Каиров отступил в сторону, пропуская женщину и ее ребенка. Ребенок лежал молча. И глаза на его лице казались пребольшими.

Мужчина на табурете вставлял стекла. Почерневшая, с дырочками от гвоздей фанера валялась прямо на тротуаре. Но стекла были не целые, а колотые.

У подъезда на маленькой лавочке сидели две старушки и девочка-школьница. Старушка смахивала слезы, скорее радостные, чем печальные, а девочка читала вслух письмо.

— ...а фашистов мы ненавидим люто. И бьем их от всей души. У нас есть знаменитый снайпер...

Навстречу шла группа женщин. У всех — через плечо — противогазы.

Знакомая арка. Каиров пересек двор. У бомбоубежища, как и в прошлый раз, играли дети. Репродуктор на столбе оглашал двор русской народной музыкой.

Каиров поднялся на второй этаж. Ключами (Татьяна разрешила сделать вторые ключи для нужд сотрудников Каирова) открыл квартиру.

Полумрак. Тишина. И, конечно же, душно. Каиров направился к окну. Успел повернуть шпингалет, как вдруг услышал за спиной голос:

— Руки вверх, полковник... Живее, живее! Или я стреляю.

Никогда еще Каирову не приходилось поднимать руки. Да, занятие не из приятных.

— Можете повернуться.

В проеме распахнутой двери, ведущей во вторую комнату, стоял администратор гостиницы Сованков.

— Долго мы вас искали, Японец, — сказал Каиров и опустил руки.

— Руки, руки... — пистолет Сованкова не дрожал.

— Положи пистолет на стол, — сказал Каиров. — И можешь пока посидеть на диване.

— Если вы сделаете хоть шаг, полковник, я выстрелю.

— Зачем?

— Мне нечего терять.

— С подобными выводами вредно торопиться.

— Не двигайтесь!

Но Каиров спокойно приближался к Сованкову.

Шаги были долгими, словно сама вечность. Или, может, время остановилось, вдруг, внезапно, вопреки всем законам физики. Сованков почему-то вспомнил свою мать. Молодая, красивая, в красном ситцевом сарафане, она стояла у колодца и загорелыми руками вертела деревянный барабан, на который наматывалась мокрая пеньковая веревка.

Это было непостижимо. Каиров приближался. Потела ладонь, потели пальцы, сжимающие пистолет. Но капелька пота дрожала у матери над переносицей, и степное небо синело за ее головой. Вода хлюпала в ведре, когда оно, холодное и темное, появилось между прелыми бревнами сруба. Потом мать ловко сняла ведро с крючка. Вода еще и еще метнулась из стороны в сторону, перекатилась через край, шлепнулась в желтую пыль и запахла одуряющей свежестью.

Палец лег на курок. Но сладко казалось, что в руке не пистолет, а гибкий ивовый прут, с которым хорошо бежать впереди матери и сбивать репейники у тропинки, взмахивая им, словно саблей. Пыль в верховьях Дона мягкая, теплая, если, конечно, лето, и светит солнце, и нет дождя. Когда же льет дождь, тогда пыль становится грязью, великой грязью, из которой не всегда способна выбраться даже лошадь с телегой. В такие дни хорошо сидеть у окна и смотреть за мокрый плетень, на мокрую улицу, где в широкой луже плавают утки. Они почему-

то не мокрые и чувствуют себя в дождливую погоду очень хорошо. Мать, тряпкой вытирающая запотевшие окна, бывало, говорила:

— Человек должен быть как утка. Таким же чистым. И чтобы никакая грязь к нему не прилипала.

Глаза у матери, большие, удивленные, — в деревне такие называли коровьими — становились тогда грустными. И вся она казалась обиженной и не очень молодой. А еще она любила петь песню про тонкую рябину, которая не может перебраться к дубу. Старательно выводила ее и даже вытирала платочком слезы. Отец в сердцах хлопал по столу кулаком, устало говорил:

— Кончай выть.

Отец был бородатый, от него всегда пахло лошадью и овчиной.

Каиров вынул из кармана портсигар.

Усмехнулся Сованков. Вспомнил, в первый раз курил с мальчишками в овраге возле старой ветряной мельницы, на которой, может, уже полвека никто не молол муку. Курили листья вишни, подсушенные на солнце. Дым не то чтобы был противным, но голова от него не кружилась, хотя мальчишки обещали это твердо. Наоборот, было ощущение пустоты и холодной слабости. А трава была зеленой. И были стрекозы, и кузнечики, и птицы, и все другое, что можно увидеть в погожий летний день.

Сованков посмотрел в окно. Вечерело. И солнце, совершенно розовое, погрузилось в море ровно наполовину. Сованкову вдруг стало страшно, словно он испугался за солнце. Возникло ощущение пустоты и холодной слабости, как тогда в овраге за старой мельницей.

Каиров сказал как-то уж очень равнодушно:

— Положите оружие.

И Сованков понял, дом оцеплен. И не только дом, но и все входы и выходы. И еще понял, жизнь и смерть полковника Каирова не принадлежат ему, Сованкову, как и сам он сейчас не принадлежит себе.

Без надежды, на всякий случай, он сказал:

— Стойте. Вы делаете последний шаг.

— Не будь дураком, Японец. На тот свет никто и никогда не опаздывал.

— Что вы мне предлагаете? — спросил Сованков и ощутил, как пересохло в горле.

— Кроме пули в лоб, может быть еще только одно

предложение, — жестко и сухо сказал Каиров. — Работать на нас.

— Какой смысл?

— Это уже другой разговор. Давай пистолет, Японец. И садись на диван.

— На диван я сяду, но пистолет не отдам.

— Тогда спрячь его к черту. Не будь ребенком. Весь дом оцеплен.

Сованков спрятал руку с пистолетом в карман плаща. Боком прошел к дивану. Каиров опустился на стул. Сказал:

— Спрашиваешь про смысл. Смысл верный — сохранить себе жизнь.

— Как вы меня нашли?

— Прочитал ваше личное дело. Вы — участник русско-японской войны. И должен заметить, что кличка вам подобрана неудачно. У меня возникли некоторые подозрения. Ну а после звонка к Дорофеевой я решил установить за вами наблюдение. К тому же я знал, что диверсия для вас дело новое. Опыта вы не имеете. И ваша прозрачная хитрость была рассчитана на Татьяну. Мы не сомневались, что вы не станете ждать до завтра и возьмете взрывчатку сегодня.

— Просто.

— Верно. Мысль предельно простая. И я решил ее проверить.

— Ваши условия?

— В деталях оговорим позднее. А в общих чертах — работа под нашим руководством. Разумеется, без обмана. Если немцы вас не пристукнут, значит, будете жить... Кончится война. Законы станут менее суровыми.

— Все равно мне дадут большой срок.

— А что делать?

— Вам — я не знаю... А мне — пустить себе пулю в лоб.

— Красивая фраза.

— Фраза, может, и красивая... Только вот надоело все, опротивело... Всю жизнь, как прокаженный, от людей таился, под страхом жил.

— Когда завербовали?

— Давно. В Японии. В девятьсот пятом я в плен попал...

— Тщательно скрываемый биографический факт.

— Велели.

— Японцы?

— Немцы.

— Ладно, предадимся воспоминаниям в другом месте. А сейчас лишь скажите, кто разрешил выйти на контакт с Дорофеевой. Судя по всему, вас оберегали тщательно.

— Таков приказ центра. Когда я сообщил, что Клара не отзывается, они запретили мне пользоваться почтовым ящиком.

— Где он?

— В доме пять на улице Фрунзе.

— Продолжайте.

— Велели подыскивать человека с нефтеперегонного завода. Они давно просили это сделать. И я предложил им одного. В довоенные годы воровал он. Кличка у него была Ноздря. И шрам через лицо.

— Знаю, — ответил Каиров. — В бытность начальником милиции приходилось сталкиваться.

— Вчера они одобрили его кандидатуру и разрешили иметь дело с Дорофеевой.

— Где радиостанция?

— У меня на голубятне.

Каиров встал.

— Хватит, поговорили. Давай оружие. И пойдем.

Сованков поднялся с дивана, положил пистолет на стол.

— Больше нет?

— Обыщите, — голос безразличный.

— Пошли, — Каиров спрятал пистолет Сованкова в карман.

Глаза привыкли к полумраку. Каиров, разглядывая Сованкова, видел, что перед ним старый, усталый человек. Походка неуверенная, спина сутулая.

Они вошли в прихожую, и вдруг Каиров почувствовал острую боль в груди, головокружение. Сованков был уже на пороге. Каиров хотел остановить его. Но... Речь не повиновалась. Руки и ноги тоже. Через несколько секунд полковник Каиров сполз по стенке и упал поперек прихожей.

ДОМ СВИДАНИЙ — ЯПОНИЯ, 1905 ГОД

— Это странная нация, — сказал светловолосый Фриц, отхлебнув из маленькой фарфоровой чашки рисо-

вую водку, подогретую, отвратно пахнущую. — Белый цвет, к примеру, в Японии — цвет печали и траура.

Сованков понимающе кивнул. Они сидели на циновках в просторной, но совершенно пустой комнате, перед ними стоял низенький, словно детский, столик, на котором белели три крохотные чашки и удлиненный фарфоровый сосуд с поразительным по красоте рисунком: журавль, черепаха, сосна и бамбук. Сованков уже слышал от Фрица, что рисунок этот символизирует долголетие.

— Мы кого-то ждем? — спросил Сованков.

— Герра Штокмана, — ответил Фриц.

— А женщин?

— Вы, русские, крайне нетерпеливы... — усмехнулся Фриц. — А между тем у вас есть умнейшая пословица: сделал дело — гуляй смело.

Глаза у Фрица холодные, как у черепахи, а шея тощая, точно у журавля. Он вновь поднимает чашку. Неторопливо произносит:

— Культ любви в Японии имеет древние традиции. Для гетер существует сложная табель о рангах. На вершине его — тайфу, опознавательный знак — золотой веер. Далее тэндзин — серебряный веер... Где-то в конце — хасицубонэ...

— Какой опознавательный знак?

— Он вам не потребуется. Сегодня вы разделите ложе с тэндзин. Я же, как ваш старший товарищ, с тайфу.

— А герр Штокман?

— Герр Штокман не спит с женщинами. Он работает.

— Верно сказано, Фриц, — произнес по-русски, но с акцентом лысый, низкого роста человек. Он появился в комнате словно из-под земли. — В моем возрасте работа — это одно из немногих доступных удовольствий.

Фриц, а за ним Сованков вскочили.

— Садитесь, господа. — Он был смешон в своем дорогом костюме, без туфель. Тоже местная традиция! — Человек до конца жизни может не научиться ценить деньги, но о времени, рано или поздно, как это говорят в России, он спохватится. Господин Сованков, я много слышал о вас хорошего от моего друга Фрица. Буду краток... Россия проиграла войну. Япония победила. Но она победила не русский народ, а косную русскую государственную машину. Эта машина, если ее вовремя не заменить, приведет Россию к гибели. Помните, Сованков, сотрудничая с

Германией, вы являетесь прежде всего подлинным патриотом своего народа... Завтра вы возвращаетесь в Россию. Поезжайте на Черноморское побережье Кавказа. Осядьте в удобном для вас порту. Купите трактир. И назовите его «Старый краб». Клиентуру выбирайте среди моряков. Наблюдайте, запоминайте. Ничего не записывайте. Однажды к вам придет наш человек и скажет: «Я лучший друг Фрица». Поступите в его распоряжение.

Штокман умолк. Пристально посмотрел на Securities Сованкова.

— Вопросы есть?

— Может, мне поменять фамилию?

— Нет. Будете работать под своей фамилией, с подлинной биографией. Ваша агентурная кличка — Японец.

— Почему?

— Так нужно. Если вопросов больше нет, до свиданья, господа. Приятной вам ночи.

ПАУТИНА

Герр Штокман знал цену копейке. Не успел Сованков поселиться на Черноморском побережье, как уже через неделю пришел к нему человек с совершенно незапоминающимся лицом и объявил себя другом Фрица.

Пробыл он у Сованкова около месяца. Обучил его тайнописи, фотографии, некоторым приемам шпионского ремесла.

Затем Сованков устроился учетчиком в управление порта. Немецкую разведку интересовали сведения о товарообороте порта, тоннаже судов, политическом настроении в среде рабочих, интеллигентов, обывателей...

В четырнадцатом году, когда началась мировая война, отрабатывать немецкие деньги стало хлопотнее, опаснее. За шпионаж грозила смертная казнь. Между тем в доме Сованкова время от времени появлялись хмурые, молчаливые люди с тяжелыми чемоданами. А потом в порту взрывались суда, горели склады...

Осенью 1919 года связь с «друзьями Фрица» прервалась. Сованков женился. Но вскоре жена умерла от сердечного приступа, не оставив ему детей. С тех пор он жил бобылем в своем небольшом доме при запущенном фруктовом саде...

Никто не ждет вечно наград или наказаний за совер-

шенный проступок. Проходит время, туманится... И былое кажется сном.

Летом 1935 года Сованков увидел возле своего забора семью. Сразу было понятно, что это курортники. Мужчина в соломенной шляпе и белом чесучовом костюме. Моложавая женщина в сарафане. И двое мальчишек дошкольного возраста.

Мужчина устало и невесело произнес:

— Нам сказали, что вы сдаете комнату.

— Никогда этого не делал, — ответил Сованков.

— Как же нам быть? — сокрушенно спросила женщина. — У меня подкапиваются ноги.

Сованков пожалел ее. Чем-то она напоминала ему покойную жену.

— В доме четыре комнаты, — сказал он. — Я живу один. Пожалуйста, поселяйтесь. Только постельное белье стирайте и меняйте сами.

Так они и поселились у него, эти люди из Ленинграда. Прожили четыре недели. А в день отъезда мужчина в соломенной шляпе вызвал Сованкова в сад. И тихо, чтобы никто не слышал, сказал: «Петр Евдокимович, знаете, я лучший друг Фрица».

Подкосились ноги у Сованкова. Словно лодка, закачался в глазах белый свет. Опустился он на скамейку. Задохнулся...

— Вы не волнуйтесь, Петр Евдокимович. Ничего особенного от вас не требуется. Живите как и жили. Пустячная информация. Только информация. Раз в месяц будете посылать письмо по оставленному мною адресу.

— Что я должен писать?

— То, что и раньше. Сущие пустяки. Какие корабли приходят в порт, какие уходят. Что привозят, что увозят. Характер продукции местных заводов. Станции назначения для грузов...

— Я ничего об этом не знаю.

— Понимаю... Проявляйте неназойливый интерес. По мере возможностей.

— А если я откажусь? Я же тогда по глупости, по молодости...

— Не думаю, чтобы вам удалось убедить в этом органы НКВД.

Молчал Сованков, тяжело, придавленно. Потом:

— Уж долго вы не приходили. Свыкся с мыслью, что нормальный человек...

— Великолепно! Это лучшее, что может быть. Мы на вас очень рассчитывали. Мне поручено передать вам солидную сумму денег...

Это неправда, что деньги не пахнут. Сребреники за предательство пахнут страшнее и отвратительнее, чем самая мрачная свалка. И если Иуда не способен использовать их для разгула и сластолюбия, они тяготят его, как трудная, опасная ноша.

Пусть бы «друзья Фрица» пришли к Сованкову просто так... Легче было бы на душе. Ой как легче!

Две пачки сторублевок в банковской упаковке он спрятал на балке под крышей сарая. Тряпка, в которую были завернуты деньги, покрылась слоем терпкой на запах пыли. И паук-крестовик сплел над ней свою сеть, замысловатую, цепкую.

Верящий в сны и приметы Сованков увидел в этом недоброе предзнаменование. Он не прикасался к тряпке с деньгами. Лишь иногда смотрел на нее печально и скорбно, как на могилу.

Раз в месяц он аккуратно отправлял письмо, где удручающе одинаково сообщал «племяннику» о состоянии здоровья, о погоде, о видах на урожай фруктов, винограда, овощей.

Между строк старческих жалоб и надежд, написанные невидимыми чернилами, к «племяннику» уходили сведения: «В порт прибыл сухогруз «Эллада» с партией марганцевой руды...», «В доках судоремонтного завода находятся три теплохода общим водоизмещением...», «В аптеках города четвертую неделю нет в продаже бинтов и ваты...»

«Племянник» мягко благодарил «дядю» за внимание. Интересовался системой работы портовых маяков, воинскими перевозками, противохимической пропагандой среди местного населения.

Нужные сведения не всегда шли в руки. Добывать их было хлопотно, а порой и рискованно. Попробуй, допустим, узнать, каким числом противогазов располагают местные власти...

На подобные вопросы он обычно отвечал: «Узнать не могу, не по силам это мне, не по способностям...»

Как говорится, все гениальное просто. И Сованкову наконец пришла в голову мысль, которая могла прийти ему и месяц, и два, и год назад. Он решил сменить место жительства. Уехать в Среднюю Азию, прихватив, разуме-

ется, деньги «друзей Фрица». А там затеряться в глухомани. При первой возможности достать документы на новую фамилию. И пусть тогда немецкая разведка ищет своего бывшего агента столько, сколько ей угодно.

Но уехать вдруг, вот так сразу, бросив все, было нельзя. Внезапное исчезновение привлекло бы внимание уголовного розыска. Там могут подумать, что Сованкова кто-то убил. Начнется следствие и так далее... Помимо всего прочего, существует институт прописки, с которым тоже нельзя не считаться.

Значит, нужно уволиться с работы, продать дом, выписаться. Проделать все это необходимо без лишней огласки. Кто может поручиться, что в городе нет агентов, докладывающих о каждом шаге Сованкова.

С работой просто. От должности отказаться легко, мотивируя возрастом и здоровьем. Сложнее с домом. Без объявления его не продашь...

Какой бы выход из положения нашел Сованков, гадать трудно. Началась война...

Уже на четвертый день пришел человек с паролем. Он сказал:

— В этом чемодане передатчик. Я проживу у вас двадцать дней, двадцать дней буду учить работать на ключе. Потом вы спрячете передатчик. Очень надежно. И станете ждать сигнала.

И еще он сказал:

— Вы работали вяло. Думаю, доблестное наступление наших войск вселит в вас энергию, товарищ Сованков.

Слово «товарищ» он произнес иронически и даже чуть презрительно. Сованкову стало обидно, и очень пакостно сделалось на душе. И захотелось дать по морде радисту, по гладковыбритой, молодой. И он сделал это с удовольствием. Радист перевернулся вместе со стулом. Врезался в тумбочку трельяжа. Центральное, большое зеркало вылетело из рассохшейся рамки и упало на голову радисту, расколовшись на куски.

— Сопляк, — сказал Сованков. — Я в разведке с девятьсот пятого года...

Только минуту он верил в то, что имеет право так сказать. И произносил слова зло и гордо. И этого оказалось достаточно, чтобы желторотый радист оттуда, из-за кордона, признал в нем силу. И, потирая ушибленную спину, почтительно сказал:

— Виноват, господин Сованков. Виноват...

Освоив работу на рации и выпроводив радиста, Сованков оборудовал тайник в голубятне, под гнездами.

Скупые газетные сообщения и строгий голос московского диктора говорили о том, что немцы продвигаются. Сованков слушал радио, и дыхание замирало от удивления: бойко наступали немцы, бойко... Теперь он был заинтересован, чтобы война кончилась скорее и непременно победой армии Гитлера.

КУДА ЖЕ БЕЖАТЬ?

Пятно было подвижным, светлым, непрозрачным. Оно возрастало в объеме, грозя заполнить пространство, необъятное и темное, будто вселенная. Веяло холодом, сыростью, гнилью.

Подобно пару, пятно вдруг начало таять, и Каиров различил лицо старой женщины, которая внезапно улыбнулась беззубым ртом и сказала:

— Возродился, милай...

Каиров увидел, что он лежит поперек прихожей. Услышал голос Сованкова:

— Мы не перенесли вас в комнату. Я думал, это инфаркт. При инфаркте нельзя двигать...

— Дайте мне руку, — сказал Каиров.

Сованков не заставил себя просить дважды. Когда Каиров поднялся, старушка соседка сказала:

— Водицы испил бы, родимый...

— Нет, ничего... Спасибо, — ответил Каиров. Он был еще слаб, но сознание работало нормально, и дыхание тоже наладилось. — Пошли, — сказал он Сованкову, пропуская его вперед.

— А дверь? — удивилась старушка. — Позабыли закрыть дверь.

— Да... Заприте, пожалуйста, — Каиров бросил ключи.

Сованков остановился.

— Ты благоразумный человек, — сказал Каиров.

— Я старый и битый человек... Только и всего. Удивляетесь, почему не убежал?

— Нет.

— И я так думаю... Куда же мне бежать? Навстречу пуле?

Старушка вернула ключи. Сованков сказал:

— Я звал ваших ребят, но они почему-то не откликнулись.

— Дисциплина, — ответил Каиров.

Спускаясь по лестнице, он дышал глубоко и спокойно. И тело было легким, послушным. Думать о том, что случилось в темной прихожей, не хотелось. Каиров мог себя заставить не думать о чем-то. Это умение было просто личным счастьем полковника. Однако далось оно не сразу, нет...

В 1921 году, посланный в Фергану на борьбу с бандой Муэтдинбека, старший следователь военного трибунала Туркестанского фронта Каиров впервые столкнулся с такой мерой человеческой жестокости, о которой не мог и подозревать.

13 мая 1921 года на Куршабо-Ошской дороге Муэтдин Усман Алиев произвел нападение на продовольственный транспорт, двигающийся в город Ош. Где-то в давних архивах, в пожелтевших папках до сих пор хранится акт обследования места происшествия, составленный Каировым.

«Согласно полученным данным транспорт сопровождался красноармейцами и продармейцами, каковых было до 40 человек. При транспорте находились граждане, в числе коих были женщины и дети; были как русские, так и мусульмане. Вез транспорт пшеницу — 1700 пудов, мануфактуру — 6000 аршин и другие товары. Муэтдин со своей шайкой, напав на транспорт, почти всю охрану и бывших при нем граждан уничтожил, все имущество разграбил. Нападением руководил сам и проявлял особую жестокость. Так, красноармейцы сжигались на костре и подвергались пытке; дети разрубались шашкой и разбивались о колеса арб, а некоторых разрывали на части, устраивая с ними игру «в скачку», то есть один джигит брал за ногу ребенка, другой за другую и начинали на лошадях скакать в стороны, отчего ребенок разрывался; женщины разрубались шашкой, у них отрезали груди, а у беременных распарывали живот, плод выбрасывали и разрубали» *.

Трое суток Каиров не мог сомкнуть глаз, трое суток не мог прикоснуться к пище. На четвертые он твердо понял: либо нужно менять профессию, либо вырабатывать в себе качества характера, необходимые для борьбы со

* Документ подлинный.

всякой сволочью, какой бы жестокой и мерзкой она ни была.

Расплата, расплата, расплата...

Эта мысль вытеснила другие. И была главной для Каирова целых шестнадцать месяцев. Только 26 сентября 1922 года в 11 часов 30 минут на площади Хазратабал в городе Оше полевая выездная сессия военного трибунала Туркестанского фронта, руководствуясь статьями 58, 76 и 142 УК РСФСР, приговорила Музтдина и его сообщников к расстрелу.

Потом было много разных дел. Но зто первое свое дело Мирзо Иванович теперь уже не забудет никогда...

Сованков, сутулясь, вышел во двор. Каиров следовал на шаг сзади.

Вечер был еще светлым. Но первые звезды уже смотрели с неба. И деревья не зеленели, а мерцали тускло, будто укрылись на ночь темным покрывалом. По радио передавали вечернее сообщение Информбюро: наши приближались к Севастополю.

Чернота арки осталась позади. Они вышли на улицу. Там было пустынно. Лишь вдалеке стояла машина Каирова и рядом с ней несколько сотрудников особого отдела...

ПРОЩАНИЕ

— Вот и все, — сказал Каиров в телефонную трубку, прикрывая ее ладонью, потому что люди в кабинете разговаривали громко, кажется, спорили: — Так и не попил я, Нелли, твоего виноградного вина.

— А зря, — пожалела Нелли. И похвалилась: — Вино — высший сорт.

— Не обделяй им Золотухина.

— Он и от воды пьянеет.

— Нелли, ты неисправима. Говорить мне так о своем муже! Не забывай, мои предки исповедовали ислам. А в коране прямо сказано: «Мужья стоят над женами за то, что аллах дал одним преимущество перед другими».

— Я неверующая, — весело ответила Нелли.

Катер уходил до рассвета, около четырех утра, когда ночная мгла лишь начинала рассасываться и свинцовое море не баловалось бликами, а мерцало, словно застыв-

шее, потому что рассмотреть движение волн было невозможно, как нельзя было рассмотреть и берег, различить на нем дома, улицы, деревья.

Даже вершины гор, сонные, еще лежали в обнимку с небом, убаюканные посвистом соловьев, да и не только соловьев, но и других птиц, названия которых Каиров просто не помнил.

Свежим и чистым был воздух, и дышалось легко, и не приходило ощущение усталости, душное, как тесный воротник.

Длинное тело причала нечеткой чернью рассекало бухту. Из крохотной будки, стоявшей у входа на причал, вышел матрос в бушлате и с винтовкой. Матрос и винтовка показались Каирову очень большими, он с удивлением посмотрел на маленькую будку, покачал головой.

Проверив документы у Каирова и Чиркова, матрос отдал честь. Сказал:

— Проходите.

Доски на причале были влажными. Пахли солью. Соль откладывалась на них годами. Доски почернели, обветшали.

А Каиров помнил этот старый причал молодым, пахнущим лесом. Все стареет. Причалы — тоже.

Каиров не предполагал уехать так внезапно. Он рассчитывал покинуть город, повидавшись еще с Золотухиным, Нелли, Дорофеевой. Думал побеседовать с шофером Дешиным... Однако радиограмма, вызывающая его в штаб фронта, поступила сразу же после сообщения о завершении операции «Будда». Каирова ждало новое задание, судя по всему, не терпящее отлагательств.

— Не забудьте показаться врачу, — напомнил Чирков.

— Игрушки все это, сынок. Каиров будет жить до ста лет. У нас род долгий.

С тральщика, что пришвартовался с правой стороны причала, санитары выносили раненых. Носилки не были накрыты простынями.

Матросы лежали в разорванных тельняшках. И бинты были темными от крови.

— Здравствуйте! — голос Аленки. И сама она в матросском бушлате. Идет рядом с носилками.

Мужчины останавливаются.

— Это хороший знак, — говорит Каиров. — Увидеть знакомого — все равно что присесть перед дорогой.

— Давайте посидим, — предлагает Аленка. — Несколько секунд ведь можно.

— Можно. но не нужно. Все будет хорошо, Аленка, — улыбается Каиров.

— А вы почему молчите? — Аленка обращается к Чиркову.

— Вы оказались здесь так неожиданно, — смущенно говорит капитан.

— Совсем нет... Приехала за ранеными.

— Я понимаю. Я выразился неправильно.

— Вы все правильно сказали. Я к вам придралась.

Чирков:

— Что вы делаете Первого мая?

— Дежурю.

— Да... — Чирков говорит тихо и грустно. — У меня тоже будет какое-нибудь дело.

— А если не будет, приезжайте, — приглашает Аленка. — Я дежурю до шести вечера.

— Теперь темнеет поздно, — отвечает Чирков.

— Весна же... — Аленка поворачивается к Каирову: — Счастливого пути.

— Спасибо. А знаешь... Дай-ка я тебя поцелую, дочка.

Плечи у Каирова широкие. И голова Аленки исчезает между ними.

Капитан-лейтенант — командир катера — весело приветствует:

— Здравия желаю, товарищ полковник.

— Я не опаздываю?

— Нет. Все нормально.

Катер возле пристани переваливается с борта на борт. Кто-то невидимый размахивает впереди зеленым фонарем. И линии получаются, как большие листья.

— Теперь можно отчаливать, — говорит капитан-лейтенант.

Каиров протягивает Чиркову руку:

— Я тобой доволен, Егор Матвеевич. Рад буду, если еще придется вместе работать. А вообще... Бодрости тебе, лихости, смелости... Только не покоя.

Застучали моторы. Метнулись над берегом вспугнутые чайки,

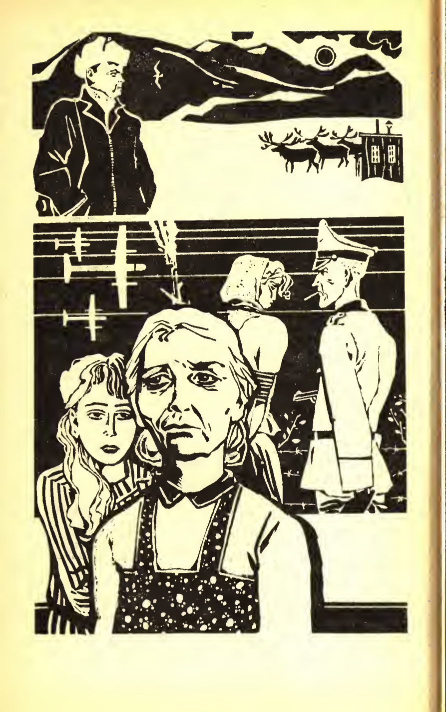
Корма катера поползла влево, медленно, почти незаметно.

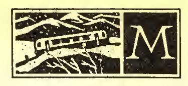
Темное пространство воды, хлюпающей о старые сваи, вдруг стало расширяться, вытягиваться, поигрывать скупыми предрассветными бликами. Потом катер осел, замер, стряхнул оцепенение и рванулся к створу портовых ворот. След за ним потянулся широкий, курчавый, белый, словно тополиный пух.

Москва — Туапсе

СКОЛЬКО ЗИМ...







Месиво из дождя и снега. Уже второй час, дребезжа разболтанными стеклами, трясся в нем продрогший автобус Мурманск — Никель.

Дорога тонула в мглистой слякоти, петляла мимо скрюченных, голых берез, мимо озер, длинных и крошечных, мимо насупленных валунов. Вместе с дорогой петлял и автобус, подставляя ветру мокрые малиновые бока...

Грибанов томился, приткнувшись к спинке кресла, нагревшегося за дорогу, ставшего его местом, его домом на эти серые три часа. Лицом к нему сидела молодая пара, ехавшая до Никеля. Чернепькая, южного типа женщина и белобрысый, беспредельно счастливый парень. Он все время обнимал свою спутницу. Прижимался к ней щекой. И женщина, млея от счастья, посматривала из-под прищуренных ресниц вызывающе и нагловато. Будто Грибанов умышленно сел напротив, будто не прятал взгляда в размытое стекло. Будто... В конце концов, он не выбирал билет, а заспанная кассирша сунула ему зеленоватую бумажку, написав на ней авторучкой цифру «четыре».

Ему не понравился Мурманск — город, пропахший рыбой. Впечатление, что река Кола не имеет цвета, сложилось, вероятно, из-за сумрачных оттенков, преобладающих во всем. Однообразие цвета не вызывало отклика в душе. И небо, и земля, и вода походили друг на друга, будто близнецы. В Мурманске Грибанов вновь вспомнил про закон контраста, о котором он недавно говорил на лекции в Доме журналистов. И с сожалением смотрел на небо, словно спрашивал: а где сейчас солнце? Крупные, темные чайки что-то кричали. Но Грибанов не понимал крика птиц и уныло сравнивал их с черноморскими чайками, белыми и быстрыми, как ветер.

...Автобус затормозил. Водитель сказал в микрофон, раскатисто, точно в пустую бочку, название остановки и предупредил:

— Стоянка две минуты.

Грибанов спрыгнул на обочину. Нога скользнула по жидкому снегу, а сумка с фотоаппаратурой увесисто стукнула о бедро. Щелкнули дверцы — как створки ри-

дикюля. Автобус выдохнул струю синего дыма и тяжело пополз вперед.

Жилья или его признаков Грибанов не увидел. И только ржавое железнодорожное полотно, где под тонкой полупрозрачной кашицей снега угадывался мох, и короткая выгоревшая трава, плелось куда-то рядом с дорогой. И Грибанов пошел вперед по дороге, предполагая, что городок где-то впереди и что шофер просто поторопился остановить автобус.

Облака были низкие и совсем не белые, а словно застиранные. Грибанов посмотрел на часы: около четырех. По его представлениям, здесь должна уже быть ночь. А если ее нет, то она скоро наступит. И от этого предчувствия стало как-то одиноко и тоскливо.

Шум автобуса пропал. И ему на смену пришел другой шум. Странный, но что-то смутно напоминающий... За поворотом он увидел стадо. Коровы? Подошел ближе, понял — это не коровы, а олени. Остромордые, приземистые. Но рога... Нет, рога как раз бывают у коров, коз, баранов. То, что возвышалось над головой у оленя, иначе, чем корона, не назовешь.

Олени умилили Грибанова. Он расчехлил аппарат. Стал быстро спимать оленей и пастуха на заднем плане. Потом спросил:

— Мне нужно в город. Я не заблудился?

— Ты идешь в противоположную сторону, — ответил пастух. — Триста метров назад давай топай. Поворот возле моста.

Пастух был стар. И трубка у него в зубах не уступала ему годами... Вот бы сюда солнышко. Какой портрет мог получиться! Грибанов с досадой посмотрел на небо.

За поворотом колдобил снег мотоцикл с коляской. Двум людям в зеленых водоотталкивающих куртках с капюшонами — Грибанов видел их со спины — следовало бы слезть с мотоцикла и старым, но безотказным способом вытолкнуть забуксовавшую машину на взгорок. Они же вели себя так, точно в первый раз сидели на мотоцикле. И грязный снег летел из-под колес. И густо пахло бензином.

В коляске улыбалась девушка. Может, ей нравилось, что машина не подчиняется ее спутнику. И не скрывала иронии, а размахивала руками, приговаривая:

— Раз, два, три! Взяли!

Грибанову пришло в голову, что он видел ее раньше.

Однако девушка была настолько молода, что он не мог ее встречать даже три-четыре года назад.

— Где вы вставляли зубы? — неожиданно спросила она.

Значит, он уже открывал рот. Поздоровался.

— Вы бы спросили, где я их потерял, — не очень приветливо ответил Грибанов.

— Нет, я серьезно. Меня зовут Агнеса Крас. Я работаю здесь зубным техником.

— Северу повезло, — сказал Грибанов.

— Вы, разумеется, из Африки, — догадалась девушка.

Мужчина слез с мотоцикла. Предложил:

— Гражданин, если поможете вытолкнуть этого упрямца, я подвезу вас прямо до гостиницы. Чемодан передайте Агнесе.

Чемодан был легкий, и Грибанов протянул его девушке. Но она неловко приняла чемодан и выронила.

— Ах! — досада в возгласе. Всплеск руками.

И опять нелепая, как чертовщина, мысль.

— Вы, конечно, не были в Таллине в сорок втором году?

— Я родилась в сорок шестом.

— Простите... Но у вас эстонская фамилия.

— Я эстонка. Родилась в Таллине третьего августа тысяча девятьсот сорок шестого года. Хорошо или плохо?

— Вы напрашиваетесь на комплимент.

Легко, не вспотев, они вытолкнули мотоцикл. Грибанову предложили место сзади, а чемодан его лежал поперек коляски, в которой сидела Агнеса Крас. Когда Грибанов смотрел направо, он видел профиль девушки и капюшон, покрывающий ее голову.

— Я не ошибаюсь? Вы из газеты? — не поворачиваясь, спросила Агнеса. Она, вероятно, чувствовала, что он глядит в ее сторону.

— Из журнала.

— Первый раз вижу живого журналиста, — теперь Агнеса повернула голову.

— Смеетесь?

— Честно.

Когда проезжали мимо белого пятиэтажного дома, недостроенного, с бочками извести в подъездах и цементом, рассыпанным во дворе, мужчина сказал:

— Если бы вы приехали на месяц или полтора позже, непременно бы поселились в нашей новой гостинице.

— Какая разница! — заметил Грибанов.

— Все же... — неопределенно выкрикнул мужчина.

Старая гостиница, в один этаж, барачного типа, находилась в стороне, несколько выше дороги. Рядом со столовой военторга, рядом с продовольственным и промтоварным магазинами. К гостинице примыкал и книжный ларек.

Мотоцикл подкатил к самому входу. Грибанов взял чемодан, поблагодарил и вежливо попрощался. Но мужчина пожелал познакомиться, протянул руку:

— Санин — прораб.

Представился не просто, а как-то торжественно, словно сказал: «Премьер министр Уганды» или «Король Иордании».

И лицо и пальцы на руках Санина показались Грибанову слишком упитанными. Сколько же прорабу лет? Тридцать? Кто они? Муж и жена?

В коридоре гостиницы за квадратным столом, застланным чистой, но неновой клеенкой, девочка-первоклашка делала уроки. Приветливая средних лет женщина вышла навстречу Грибанову. За ее спиной синело окно, подгущенное светом яркой, не коридорной лампочки, вкрученной, видимо, ради девочки. Женщина остановилась рядом с девочкой, положила ей руку на плечо. И мать, и дочь смотрели на Грибанова. И ему понравились эти люди. Он понял, что в гостинице ему будет хорошо и уютно.

— Мне бы отдельный номер, — попросил он. — Со мной ценная аппаратура.

Женщина ответила ему, возвращая журналистский билет:

— У нас большие комнаты. Но вы живите спокойно, я к вам никого не подселю.

Скатерть с широкой коричневой каймой свисала со стола почти до самого пола. С одной стороны, противоположной двери, стола касалась кровать. В комнате были еще кровати. Шесть пустых кроватей под белыми простынями.

Шестеро стояли спинами к стене, безмолвные, измученные. Простиравшиеся выше человеческого роста дубовые панели холодили пальцы рук, связанных пеньковыми веревками. И немец, казалось, курил эти пеньковые

веревки, потому что табак в его сигарете дымил низкосортный, эрзац-табак, и запах стоял жженых тряпок, паленой щетины и самой обыкновенной горелой пеньки. Бесцветные глаза немца были маленькими, а ресницы и брови над ними — такие белесые, что различить их можно, только тщательно всмотревшись.

Переводчик, худой эстонец в белоснежной рубашке, при галстуке, сидел возле столика с телефонами. На соседнем стуле висел его темно-коричневый, из хорошей шерсти пиджак.

Немец подошел к светлой девушке, взял за локти и резко повернул лицом к шестерым мужчинам. Хрипло заговорил по-немецки. Худой эстонец в белоснежной рубашке перевел:

— Кто передал тебе пистолет? Смотри внимательно.

Она устало подняла глаза, посмотрела на мятых, небритых мужчин. Отрицательно покачала головой.

— Scheise! Du bist Scheise! — прокричал в гневе немец.

Худой эстонец не стал переводить. Он был хорошо воспитан.

Немец с размаха ударил девушку по щеке. Еще раз... Еще... И хотя он злился, но бил ее, в общем-то, хладнокровно, как иногда сильные бьют слабых, не рискуя получить сдачи.

Она не пыталась уклониться от ударов и гордо держала голову на длинной красивой шее. Лицо ее стало розовым от ударов и блестящим от слез.

Грибанов сделал шаг вперед. И сказал:

— Я!

Стук в дверь и смех с порога. Это смех Агнесы. И Санин за ее спиной — чуточку смущенный.

— Извините за вторжение, — бормочет Санин.

— Ерунда, — возражает Агнеса, — благодарите за вторжение. Иначе вы здесь завянете от скуки. Мы забираем вас в клуб. Вы увидите там сливки общества. И польский фильм с участием Беаты Тышкевич. Вам нравится такой тип женщин?

— Я не помню эту актрису. Но если вы относитесь к типу Тышкевич, то — да.

— Что я говорила? — Агнеса гордо посмотрела на Санина.

Она теперь была в темном, с узким белым воротником пальто. Сапожки на шпильках. Волосы прикрывал пестрый платок. Грибанов подумал, что в мотоцикле она выглядела моложе и что сейчас ей смело можно дать двадцать три или двадцать четыре года.

Он достал из чемодана бутылку коньяку.

— Ясно, почему он так перепугался, когда я уронила чемодан.

Добираться до клуба пришлось, прыгая с кочки на кочку, потому что к ночи потеплело и грязь лежала на дороге, и возле нее, и у заборов, жидкая, ни с чем не сравнимая, чавкающая грязь.

Клуб приближался, большой, весь в огнях, точно океанский корабль. У входа, нанизанный на лампочки, висел щит из прогрунтованного полотна, и синие скошенные буквы хватали людей за подбородки: «СЕГОДНЯ НОЧЬЮ ПОГИБНЕТ ГОРОД».

А какой фильм шел тогда? Он так и не посмотрел этот фильм. Но название... оно осталось в памяти, будто шрам. Кукольное женское личико с глупой улыбкой и зазывная надпись: «Mein bestes Mädchen». «Моя лучшая девушка».

Подъезжали машины. Двери кинотеатра открывались и закрывались. На темный тротуар ежесекундно падала полоса света. Сеанс начинался. Тогда Хари подал знак. И они пошли.

В пятом ряду пустовал островок из нескольких мест. В четвертом, третьим с краю, сидел немецкий офицер. Немецкие офицеры, во всяком случае в Эстонии, имели привычку отстегивать ремни и вешать их на спинку стула. Вот и этот офицер, коверкая эстонские слова, болтал с длинноволосой женщиной, а позади, закрывая номер кресла, свешивалась кобура пистолета.

Погас свет.

Хари сел за офицером. На экране мелькали кадры военной хроники. Диктор кричал об успехах германской армии, о вдохновенном гении фюрера. Помедлив, Хари подался вперед и начал расстегивать кобуру.

Им было тогда по семнадцать лет. И Грибанову, и Хари, и Юхану — сыну сапожника Петерсона. И это было их первое дело. Настоящее, но слишком рискованное. Верные дела будут потом. А сейчас... На экране рвались

бомбы, пикировали самолеты. В зале стоял такой шум, что, казалось, разряди пистолет в спину немца — никто не услышит. Пистолет лежал в кармане плаща Хари. Нужно уходить. Согнувшись, Хари пошел назад и сел на одно из свободных мест. Грибанов и Юхан следили за другом. У них свое задание — на крайний случай. По особому знаку, поданному Хари (он коснется переносицы правой рукой), они должны бросить в зале дымовые шашки. Если же все будет хорошо, то, дождавшись конца хроники, во время пятиминутного антракта ребята уйдут из кинотеатра.

Но хроника не кончилась. Свет вспыхнул внезапно. В проходе стоял офицер, держа в руках пояс с пустой кобурой. Рядом с ним — трое гестаповцев. Один поднял руку и громко сказал:

— Aufstehen!

Крышки кресел захлопали, словно пулеметы. Гестаповцы начали обыск. Работали втроем сразу. Деловито, без суеты. Один, перебирая пальцами, скользил руками вдоль тела обыскиваемого. Второй выворачивал карманы. Третий осматривал место.

Хари побелел. Кто знает, что за мысли были у него в голове. И, может, он немного перепугался. Скорее всего так оно и было. Но он струхнул не настолько, чтобы достать пистолет и устроить в кинотеатре тир. И в конце концов правильно оценил обстановку и решил переправить пистолет к Грибанову или к Юхану. Потому что они стояли, первый — на ряд, а второй — на два ряда впереди Хари. И уже успели во время обыска передать друг другу дымовые шашки. По замыслу они и должны были сидеть все трое в затылок один другому. И билеты были куплены с таким расчетом. Но светлая девушка в белом пальто заняла место Хари. И теперь он стоял где-то в середине шестнадцатого ряда. Между ним и Грибановым было семь человек. И ни один из них, может, кроме светловолосой девушки, не внушал Хари доверия.

Как он решился? Кажется, подперло время. Вцепилось в горло и проскулило: действуй. Грибанов видел, как Хари слегка пнул ногой соседа, что-то шепнул и вложил в его руку пистолет.

Грибанов чуть развернулся. Теперь он мог наблюдать весь путь пистолета.

Первым локоть к локтю возле Хари стоял крупный мужчина в бобриковом пальто. Он не изменился в лице,

не вздрогнул, покусывая нижнюю губу, спокойно перевел руки за спину и уже через две-три секунды передал пистолет даме в роскошной шляпе с вуалью. Дама затаила дыхание. Но приняла пистолет без видимого удивления. Она взяла его за рукоятку, положив на спусковой крючок палец. И действовала совсем не так осторожно, как мужчина в бобриковом пальто. Она свободно повернулась к соседу с мордочкой хорька, пнула его стволом в брюшко... И Грибанов решил, что все пропало.

Хорек стал похож на сову, потому что глаза полезли у него из орбит. Дама с вуалью вздернула подбородок и коротко бросила:

— Дальше.

Короткие волосатые пальцы Хорька вцепились в ствол, но вместо того, чтобы быстро передать пистолет соседу слева, Хорек, силясь глотнуть воздух, секунд пять стоял в неподвижности, с открытым ртом. Видимо, он решил, что в зале находится мощная подпольная организация и он оказался маленьким винтиком в рискованных делах. И теперь, если он сделает что-нибудь неправильное, его могут ухлопать как немцы, так и подпольщики.

Сосед слева — бледный и худой ксендз — демонстративно повернулся в другую сторону. На ресницах, которых у Хорька не больше, чем у вилки зубьев, задрожали слезы. Время торопилось, как самолет. Отчаяние придало Хорьку смелости. Он воспользовался уроком, преподанным ему дамой под вуалью. Секунда... И палец лежит на спусковом крючке, ствол тонет в складках одежды ксендза, где-то между вторым и третьим ребром.

Ксендз молчит. Косит взгляд направо. Потом с быстротой молнии хватает пистолет и опускает его в шляпу старичка, стоящего слева.

— Дальше.

Старик, как держал шляпу на уровне живота, так и повернулся к соседу — мужчине с рябым лицом. Рябой все видел. Но именно тут и случилась первая заминка. Рябой коснулся шляпы, конечно, он мог бы взять пистолет, заметный, черный на белой подкладке шляпы. Но он хотел взять его вместе со шляпой. Старик же энергично замотал головой и что-то промычал. Тонкие пальцы рябого вдруг посинели и покрылись потом, холодным, как роса. Один глаз заметался, другой... Грибанов понял, что другой глаз рябого стеклянный.

Гестаповцы приближались.

Нервически дернув локтем, рябой сунул пистолет светловолосой девушке. Она взяла его, но...

Что было потом?

Вскрик: «Ой!» Всплеск руками. И звук упавшего пистолета, будто удар по барабану.

— Halt! Halt!

Под ноги эсэсовцам уже летит граната. Зал вертится волчком. Зал прыгает влево, вправо. Люди падают на пол между рядами. Но взрыва нет. Гранаты оказались дымовыми шашками. И едкий желто-белый дым расползается по кинотеатру.

Затем кузов автомобиля. Чьи-то спины и локти. Пахнущий духами затылок светлой девушки. И ствол автомата, как шлагбаум.

Коридор гестапо. Удручающе обыденный, как во всяком учреждении средней руки.

Удар между глаз. И все исчезло. Даже не сон, а так... пустота.

Боль — первый признак, что ты еще жив. Черная пасть ведра, загораживающая белый свет. Лужа. Можно сказать, плаваешь в луже. Только это еще не кровь. Это вода. Тебя привели в чувство.

Снова допрос...

С Агнесой он танцевал вальс. Третья или четвертая пластинка крутилась на радиоле, с тех пор как окончился фильм, но Грибанов все это время стоял возле стены, и много других мужчин стояло, а девушки танцевали друг с другом, подчеркивая, что им не скучно. Потом Агнеса взяла его за руку:

— Потанцуем?

Грибанов посмотрел на Санина. Тот одобрительно кивнул:

— Да, да...

— Он не умеет танцевать вальс, — сказала Агнеса.

— Не научился, — пояснил Санин.

Она танцевала ласково. И ее щеки были так близко, что разглядеть уже было ничего невозможно. Тогда он смотрел чуть вправо и вниз и видел крупные клетки паркета и узкий носок ее сапожка.

— Как вы сюда попали? — спросил он.

— Это скучно. По направлению... Скажите лучше, вы женаты?

— Я похож на семейного человека? — он уклонился от ответа.

— У вас интересная жизнь, — сказала она.

— Да.

И никаких уточнений. А что они дадут? Ночь ли, день. Зима, лето. Командировки, съемки... Продрогший и промокший по десять часов бегаешь по стройке ли, по палубе, чтобы сделать снимок, черно-белый, цветной динамичный снимок, который пойдет на обложку. А может, и на выставку... И главный редактор, обозревая разложенные на большом столе крупные снимки, улыбнется и скажет: «Молодец, Грибанов!» Но бывает и так, что глаза у главного потускнеют, лицо станет чужим, а голос металлическим: «Схалтурил, дружок».

— Зачем вы сюда приехали? — Агнеса отодвинулась.

— За девушкой.

Агнеса не поверила. Она не возразила, не улыбнулась, не покачала головой. Но он понял, что не поверила.

— Как ни дик мой ответ, но это правда.

— И сколько лет этой девушке?

— Семнадцать или восемнадцать.

— Она красивая?

— Непременное условие. Иначе мне несдобровать. Она должна быть такой же прекрасной, как вы или Беата Тышкевич. И ко всему этому незамужней.

— Не знаю, как Беату, но меня последнее условие не пугает.

— Вы живете одна?

— С мамой.

— Вам пришлось привезти сюда маму. Похоже, вы решили обосноваться здесь надолго.

— Она очень больна. Я не могла ее оставить в Эстонии. Да и врачи говорили, что перемена места жительства может пойти ей на пользу.

— Ваш отец жив?

— В сорок седьмом году он был убит националистами. Я не помню его. Они бросили гранату прямо в комнату. Отец стоял возле моей зыбки. Получилось, что он прикрыл меня.

— Это тоже сказалось на здоровье вашей матери...

— Конечно...

В автобусе без окон было их десять узников. Он не знал, откуда взялись еще четверо. Они уже стонали, когда привели Грибанова и еще пятерых. Хмурые эсэсовцы с автоматами на коленях сидели возле дверей, будто идолы. Никто не понимал твердо, куда их везут и с какой целью, но, видимо, многие полагали, что это последняя дорога, последний путь, последняя неизвестность, быть может, и не самая страшная из тех, что выпадали у некоторых на веку, но последняя...

Еще во дворе гестапо, темном, покинутом луной и фонарями, Грибанов заметил: светлую девушку толкнули в автобус одной из первых. Он догадывался, что ее пальто теперь вовсе не такое белоснежное, как тогда, в кинотеатре, но все равно оно было вызывающе светлым, как луч, как солнечный зайчик.

...Остановились. Свет в машине погас. Там, за стенкой, говорили по-немецки. Кто-то постучал в дверцу. Эсэсовец отодвинул задвижку. Хватка у фонаря акулья. По очереди глотает каждого, вытаскивая из темноты, словно из сети. Свежесть прокрадывается в машину. Обыкновенная ночная свежесть. И сердце стучит увереннее, будто часы, у которых подтянули гирьку.

Эсэсовцы вылезли из автобуса. Опять тихий разговор по-немецки. Потом кто-то громко вздохнул, будто потянулся спросонья. Глухой стук падающего тела.

Голос из темноты:

— Товарищи, вы свободны. Выходите без шума. И по одному. Товарищ Крас, вы здесь?

Они выпрыгивали из автобуса, и тут же большой и ловкий мужчина разрезал веревки, опутывающие их руки.

Потом была темнота. И дорога. Вернее, клочок дороги, мельтешащей под ногами. И старческий голос... Который все твердил, что нужно прибавить шаг и добраться до места, пока не вышла луна.

Освобожденных разделили на две группы. И повели в разные стороны. Грибанов не знал, с кем в группу он попал. Но светлая девушка была здесь. Она шла самой последней. И он оглядывался через три-четыре шага, боясь, что она отстанет и собьется с пути в этой кромешной тьме.

Она не вскрикнула, когда подвернула ногу. Грибанов просто обернулся и не увидел ее, и что-то оборвалось в нем, как в тот момент, когда она уронила пистолет.

Темнота была разлита так густо, что, если бы не белое пальто девушки, неизвестно, как бы он нашел ее. А может, не пальто тому причиной, может, свет? Она казалась насквозь пронизанной светом.

— Обессилели? — спросил Грибанов.

— Я, видимо, вывихнула ногу, — это были первые ее слова, услышанные им.

Он взял девушку на руки. Она благодарно обхватила его шею. И дышала близко. И щека Грибанова стала теплой от ее дыхания. Но дорога теперь вроде бы пошла ухабами. И не ложилась послушно под ноги, как прежде.

— Что случилось? — спросил немолодой человек, возглавляющий группу.

— Нога.

— Помочь?

— Я сам.

Грибанов старался сдерживать дыхание, чтобы не показать, как он устал.

Утром, силясь определить, какое же в гостинице напряжение, Грибанов долго рассматривал электрическую лампочку, свисавшую с потолка на забеленном мелом шнуре. Однако горничные были женщины чистоплотные и ежедневно протирали и окна, и скромную мебель, и лампочку, поэтому фабричное клеймо исчезло, точно снежинка на ладони. Грибанов, страховки ради, переключил бритву на 220 вольт. И угадал. Мотор работал нормально.

Диктор мурманского радио с воодушевлением читал: «Вниманию семей моряков! Передаем объявление о приходе в порт кораблей Северного флота.

Траловый флот:

РТ-10 прибывает в восемь часов.

РТ-56 прибывает в четырнадцать часов.

РТ-16 прибывает в четырнадцать часов тридцать минут.

Сельдяной флот:

Танкер «Урал» прибывает в десять часов...»

Пахнуло коридорной сыростью. Грибанов увидел распахнутую дверь и улыбающегося на пороге Санина. Сегодня он был в пальто из итальянского букле, несколько длинноватом, если подходить к нему с меркой последней моды, но более чем приличном.

Санин пожелал доброго утра, спросил о самочувствии, предложил вместе позавтракать и добавил, что будет рад оказаться полезным Грибанову в выполнении задания, так как знает многих бывалых людей Севера, людей отважных, честных, деловых.

— Наш журнал молодежный, — объяснял Грибанов, когда они шли к столовой жиденькой тропкой. — Наши читатели — колхозники, строители, рабочие, студенты — люди молодые. Мы даем много материалов о трудовых буднях, о героике. А с середины этого года решили знакомить ребят с их ровесницами. Ну, с девчонками, работающими на производстве, в колхозе... Со студентками.

— Интересно, — согласился Санин.

— Мы ввели рубрику «Твои ровесницы». Как правило, даем полосный цветной снимок. Два-три маленьких, черно-белых. И короткий текст. Это оживляет журнал.

— И вы рассчитываете найти у нас красавицу на полосный цветной снимок? — Санин не скрывал удивления. — Разве в Москве...

Грибанов вынужден был защищаться:

— Мы всесоюзный журнал. Нам важна география.

— Понимаю. Но вы бы не приехали сюда искать пальмы?

— Однако вы нашли здесь Агнесу.

— Я нашел... — нерадостно согласился Санин.

— Почему так несчастно?

— А... — Санин махнул рукой. Потом остановился на узкой тропке, повернулся лицом к Грибанову и строго спросил: — Вы бы женились на женщине, у которой есть ребенок?

— У Агнесы — ребенок? — Грибанов полез за папиросами, хотя курить натощак было не в его правилах.

— Хуже.

Санин повернулся и продолжал путь. Возле столовой, обшитой посиневшими досками, уже была расчищена площадка. Мужчины пошли рядом. Санин сказал:

— У нее больная мать. Какая-то форма психического расстройства. Если не путаю, шизоидная психопатия... В годы войны она была где-то в Эстонии, в подполье. Ее пытали немцы.

— Сколько ей лет?

— Трудно сказать. По внешнему виду все семьдесят. На самом же деле гораздо меньше. В период оккупации она была молодой девушкой.

— Как ее зовут?

— Вали Карловна.

— Санин! — Грибанов остановился, положил руку ему на плечо. — Сделайте для меня одолжение. Разыщите Агнесу и скажите, что мне обязательно нужно увидеться с ее матерью.

— Это вы зря, — рассудительно ответил Санин. — Может, никакого подполья не было. А старуха все по глупости придумала...

Грибанов повторил свою просьбу.

Железная дорога на высокой, из желтого песка насыпи плелась вдоль главной, в общем-то единственной улицы города; словно островки в океане, были разбросаны домики барачного типа, и только возле самой станции скопились дома покрупнее, в несколько этажей. В одном из таких домов размещался продовольственный магазин. В горсовете Грибанову сказали, что здесь работают три девочки, две из них очень миловидные, чьи фотографии вполне могут порадовать сердце молодого читателя. Судя по вывеске, обеденный перерыв кончился минут двадцать назад, но двери сторожил крупный замок. А местные жители, с терпением завзятых рыболовов выстаивавшие возле магазина, объяснили незадачливому москвичу, что здесь так принято, продавщицы вовремя никогда не возвращаются с перерыва.

Грибанов разозлился и ушел.

Небо дремало над крышами, тусклое, лохматое. И Грибанов не очень верил ему, потому что в первой половине дня уже лил дождь. И смыл остатки снега. Грибанову было ясно — дождь может заморосить с секунды на секунду. А путь до гостиницы неблизок.

У стоматологической поликлиники его окликнула Агнеса. Она была в белом халате. Грибанов сделал два или три снимка, хотя не был уверен, что они пойдут в журнал.

— Санин говорил, что у вас было желание увидеть мою мать.

— Оно осталось.

— Если вы намерены просить у нее моей руки, — пошутила Агнеса, — то это обветшалая формальность.

— Я не старомоден, — в тон ей ответил Грибанов.

Он пришел к ним вечером.

Женщина возилась с лоскутом материи в желто-голубую клетку. Седоватые волосы ее касались черного корпуса ручной швейной машинки с отколотой эмалью и едва различимой золотой надписью. Женщина не подняла головы и продолжала ловко пронизывать ткань заколками, доставая их из бумажного пакета. Глянцевитая бумага пакета была потерта, сильно потерта, кажется, и пакетом, и заколками здесь пользовались не впервые.

Агнеса сказала:

— Мама, к тебе журналист из Москвы.

На секунду или две женщина сощурила глаза. Резко откинула голову назад, словно для того, чтобы лучше рассмотреть гостя. Часы на стене тикали. И шея женщины белела, как рука, вынутая из перчатки. Но морщинок на шее было больше, чем на руке. И женщина вспомнила об этом. Опустила подбородок. И мягко сказала:

— Тэ́ре *.

— Тэре.

Он уже держался за спинку стула. И она сделала жест рукой, быстрый и обходительный — дескать, присаживайтесь. Он не приподнял стул, а потащил на себя. И неприятный скрип вдруг смутил его. И он посмотрел на женщину чуть виновато.

Ей было сорок. Нет, конечно, больше сорока. Он никогда не умел точно определять возраст.

— Вы не похожи на эстонца, — сказала женщина.

— Мой отец был русским.

— Тебе сколько лет? — спросила светлая девушка.

— Семнадцать.

Он подумал, что неприлично интересоваться возрастом девушки, но она сама сказала:

— А я уже старая. Скоро исполнится девятнадцать.

Пауза. По дороге проехала машина.

Девушка сказала:

— Мне попался какой-то шар.

Грибанов протянул руку:

— Это глобус.

— Я знаю.

Пальцы сплелись с пальцами. И щека опять совсем-совсем стала близко. И дыхание...

---

* Тэ́ре *(эстон.)* — здравствуйте.

— Не догадываешься, куда нас запер старик? — торопливо говорит он.

— Ты нес меня мимо школы.

— Это кладовка со школьным инвентарем.

Он страшится долгого молчания. Ему только семнадцать, и он никогда не сидел вот так в темной кладовке наедине с девушкой. А рассвет прохладный. Осенний. И светлой девушке холодно. Светлая девушка ежится. И Грибанов обнимает ее за плечи. Он думает, о чем бы еще спросить. Только бы не молчать.

— Интересно, куда увели остальных?

Ясно. В другие дома, сараи, подвалы, ответит девушка. Но она говорит совсем другое:

— Поцелуй меня в губы.

Оконце под крышей светлеет, точно доска, исписанная мелом.

— У тебя есть имя? — спрашивает он.

— Валя... Нравится?

— Да... Они тебя сильно били?

— Нет. Кажется, нет... А почему ты не целуешь?

Агнеса с тревогой глядела на мать и на Грибанова. Грибанов прижимал клеенку пальцами и смотрел на них:

— Утром старый учитель увел меня к рыбакам. Позже я узнал: нам повезло. Вместе с нами был задержан настоящий подпольщик. Вот почему нас и вызволили... Потом я воевал, был ранен, дошел до Вены. Но все сложилось так, что я больше никогда не встречал Вали и ничего о ней не слышал.

Женщина молчала. Она словно забыла о его присутствии и, подвинув к себе бумажный пакет, брала булавки и прокалывала материю. Агнеса нетерпеливо ерзала на стуле. Уж как-то очень навязчиво тикали часы.

— Все это очень похоже, — грустно сказала женщина. — Но я никогда не жила в Таллине. При немцах я была в Пярну связной между подпольем и партизанами. Меня тоже пытали... А сейчас, простите... Болит голова.

Кажется, у нее была заготовлена первая фраза. И, может быть, она твердила ее сегодня утром, и по дороге к нему, и вчера вечером. А может быть, она придумала

эту первую фразу еще тогда, у мотоцикла. Когда уронила его чемодан, и всплеснула ладошками, и посмотрела так, будто они были знакомы двадцать лет, и он вопреки логике и рассудку спросил, не жила ли она в Таллине в тысяча девятьсот сорок втором году.

Но она постучала в дверь и сказала:

— Можно?

А он ответил:

— Нет.

Потому что в это время заряжал кассету, стоя перед кроватью на коленях, и руки его прятались под одеялом, и холодная пленка скользила между пальцами.

Агнесе пришлось ждать за дверью две минуты. И когда она вошла в комнату, то первая фраза уже была неуместна. А без этой фразы она не знала, с чего начать, потому что та фраза казалась ей ниточкой, с которой разматывался клубок.

Может, она должна была открыть дверь и сказать, как выдохнуть:

— Я пришла.

Но теперь, когда она две или три минуты торчала возле порога, говорить это было бессмысленно.

— Я увидела у вас свет. И зашла.

Ложь была наивной, словно детский рисунок. Агнеса догадалась об этом, лишь произнесла последнее слово. Естественно, Грибанов заряжал кассету в темноте. И щелкнул выключателем, уже открывая дверь.

— Завтра уезжаю, — сказал он.

— Как?! Совсем? И вы больше никогда не приедете сюда? — спросила она с печалью в голосе.

— Жизнь корреспондента как ветер, туда-сюда... Прикажут, приеду, — ему не хотелось разговаривать и тем более проявлять любезность.

— Если я прикажу?

— Вы не прикажете, Агнеса. Это вам просто сегодня кажется.

— Я не видела вас два дня. Я раньше не знала, что два дня — это так много.

— Мне пришлось съездить в Никель.

— И вы нашли то, что искали?

— Так бывает всегда... И вы найдете.

Она расстегнула пальто. И он помог снять его. И повесил на вешалку. Пестрый платок повис на спинке кровати, а сама Агнеса села на кровать, коснувшись плеча-

ми стены. Смотрела на него пристально и очень серьезно, будто что-то взвешивала, что-то решала чрезвычайно важное для себя. Он не сел рядом с ней, а остался стоять возле стола, где без всякого порядка лежали объективы, пленки, фотоаппараты.

И ему не понравилось... Его покоробило, как от фальшивой ноты: она сказала вдруг капризно:

— Я хочу, чтобы вы подошли ближе.

Нет, нет. Будем надеяться, это была не та, первая фраза. Первая фраза представлялась ему красивой, как сама Агнеса. Он сказал:

— Не надо. — И тут же сам оплошал: произнес вяло, без гордости: — У меня дочь перешла в девятый класс.

Агнеса смежила ресницы.

— Можете считать, что вы меня очень обрадовали.

В коридоре захныкала маленькая девочка:

— Мама, я посадила кляксу.

Зашлепали шаги. Женщина певуче заметила:

— Пальчики у тебя непослушные.

Через минуту молчания он сказал ей «ты», ибо, несмотря на то, что он как вкопанный стоял возле стола, а она сидела на его смятом одеяле, между ними уже случилось что-то. Оттолкнувшее, сблизившее? Видимо, всетаки сблизившее, потому что он спросил:

— Ты любишь Санина?

— Здесь больше никого нет, — голос у нее был не звонкий, а глухой. И Грибанов теперь не был уверен, что она красивая.

— Он делал предложение?

— Я не выйду за него замуж. Я тоже хочу много счастья. Я имею право?

— Имеешь... Только оно... — Грибанов мучительно трудно подыскивал слова. — Словно лицо, словно сердце... Его не дашь взаймы, если даже очень хочешь.

— Я умею гадать на картах, — говорила она, словно шептала. А быть может, это говорила и не она, а сама темнота в комнате и там, за окном, — я могу предсказать тебе дорогу.

— Моя дорога лежит на юг. Прямо-прямо на юг. К самому Черному морю.

— Я никогда не видела Черного моря. Оно красивое?

Он хотел ответить: «Как ты...» Но сразу понял, что

это не та фраза. А может, и та, но очень, слишком заношенная. Потому ответил просто:

— Красивое.

— Ты едешь отдыхать?

— Нет. Работать.

— Разве на Черном море работают?

— Как и везде.

— Конечно. Я понимаю. Ты будешь ловить рыбу? Я говорю глупости.

— Ты говоришь хорошо.

— Значит, ты будешь ловить рыбу?

— Нет. Я не умею ловить рыбу. Буду снимать фоторепортаж.

— О рыбаках?

Сдались ей эти рыбаки и рыба.

— Нет. Там в городе Туапсе живет на пенсии один интересный человек, ветеран, герой. Мне поручили сделать о нем репортаж.

— Интересно, — прошептала Агнеса завистливо. Потом спросила: — Как его фамилия?

— Восточная. Не помню точно. Таиров или Каиров... У меня все в блокноте записано...

Ему снились снежные вершины: голубые, с яркими переливами и пятнами светлых облаков набекрень. Ему снилось, что он летел над ними. А вернее, парил в крутом воздухе, раскинув руки, словно паруса. И был ветер, пахнущий морем, но моря не было видно. А шум, который он слышал, глухой и раскатистый шум доносился снизу, рождаемый ручьями. Они сползали вниз гибкими, искрящимися нитками, нежные, но шумели, как море.

Ему снилась Агнеса в заиндевелом, словно окно, платке, закрывающем и подбородок, и рот, и нос. Только одни глаза, крупные и ясные, глядели в объектив грибановского «Зенита». И Грибанов знал, что назовет этот снимок «20 градусов ниже нуля». И что снимок выйдет отличным, и что его запросто возьмет «Смена», а может, и «Огонек», может, «Советская женщина». И Грибанов обязательно напишет короткий текст, укажет имя и фамилию девушки. И, совершенно точно, к Агнесе придут сотни писем от хороших парней. И тогда она не станет встречаться с Саниным, потому что «здесь больше никого нет».

Ему снилось железнодорожное полотно, длинное и желтое. Перрон. Человек в тулупе, толкающий тележку с посылками. Зеленые вагоны, треугольные номера над входом... И всю ночь, словно наяву, он слышал последние слова Агнесы:

— Но почему же она сказала, что никогда не жила в Таллине? Ведь у меня в паспорте записано совсем другое. Я уроженка Таллина. А в Пярну мы переехали после того, как погиб отец...

И ему так хотелось ответить:

— Ты читала Горького, Агнеса... Помнишь: «А был ли мальчик? Может, мальчика и не было?!»

Печенга

СОДЕРЖАНИЕ

Авдеенко Ю. Н.

А18 Сколько зим... Повести. М., «Молодая гвардия», 1975.
320 с.

Остросюжетные повести о борьбе с кулацкой бандой в тридцатые годы, о борьбе чекистов с фашистской агентурой во время войны.

А $\frac{70302-167}{078(02)-75}$ 232—75 Р2

Юрий Николаевич Авдеенко

СКОЛЬКО ЗИМ...

Редактор **С. Шевелев**
Художник **С. Соколов**
Художественный редактор **Н. Печникова**
Технический редактор **И. Соленов**
Корректоры **К. Пипинова, З. Харитонова**

Сдано в набор 27/I 1975 г. Подписано к печати 5/VI 1975
А08151. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага № 2. Печ. л. 10 (усл. 16,
Уч.-изд. л. 17,5. Тираж 100 000 экз. Цена 75 коп. Т. П. 1975
№ 232 Заказ 2523.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адр
издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Суще
ская, 21.

я»,

три-
во

Р2

975 г
16,8
975 г

Адрс
ущев